

Дмитрий Ружников

ХИРУРГ



Дмитрий Ружников

Роман второй

Хирург

Санкт-Петербург
«Геликон Плюс»
2014

УДК 832.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6
Р 83

Ружников Д.
Р 83 Хирург. Роман второй. — Санкт-Петербурга, «Геликон Плюс», 2014. — 492 с.

ISBN 978-5-93682-952-9

Роман «Хирург» — вымышленная история о талантливом военном враче Сергее Сибирцеве. Как и в романе «Поляк», автора интересуют великие события, происшедшие в России в начале XX века: Первая мировая война, революция, Гражданская война. Время — вот что объединяет героев этих книг. Время, о котором мы почти ничего не знаем.

УДК 832.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6

ISBN 978-5-93682-952-9

© Д. Ружников, текст, 2014
© «Геликон Плюс», оформление, 2014

*Великому русскому хирургу
Сергею Юдину посвящаю*

Море Белое — белое! До самого горизонта, которого не видно и где оно сливается с таким же белым-белым небом. Берег — песок белый. Тишина!.. Только чайки белые кричат. Вечность!..

Сёмжа и не деревня даже — так, полтора десятка домов, собранных из принесенных морем бревен, покосившихся и вросших в землю от времени. Зимой по самые покатые крыши заносит снегом, только печные трубы торчат. И все живущие здесь — рыбаки! Голодно и бедно живут: из еды — одна рыба. Хлеб пекут из ржаной муки, а мука — на вес золота. Ни картошки, ни других овощей, только ягода с болот и грибы. И ветер — то с моря, то в море. В полярное лето, конечно, хорошо: светло и днем и ночью. И рыбачить — ой как хорошо. Зимой страшно: темень — хоть глаза выколи, мороз, и ветер воет, воет, и все на печках лежат — ждут, когда солнце из-за горизонта вылезет. Потом весна, и все идут на лед, бить молодняк нерпы — белька. мех ценный, уходит в Архангельск и в столицу империи, блистательный Петербург. Да и моржовый клык хорошо идет, но это когда морж приплывает, а это бывает не каждый год. И так из года в год. Одни люди умирают, другие растут, а море — оно не меняется, потому что вечное! Белое.

Часть первая

Сирота

I

Последние лет пятнадцать все в Сёмже стараются, работают на мезенского лесопромышленника и купца Ефрема Васильевича Ружникова, а когда тот помер, то на его сыновей. Ружниковы и снасть и лодки дают, и всю выловленную рыбу и убитую нерпу забирают, и деньги платят. Товары только они завозят — никого другого сюда не допускают. Старостой деревни назначили ушедшего из рыбацкой артели — по совсем уж плохому здоровью — Ермилу Саватеича Сумарокова. Тот хозяйское добро хорошо стережет, а как не стеречь: если выгонят — ложись на лавку и помирай с голоду...

Откуда, как появились эти люди в Сёмже, никто не ведал. Пришли муж и жена, а может, вовсе не муж и жена, молодые, лет двадцати, ну чуть больше, и с ними маленький мальчик. Может, беглые? Так на севере у людей не принято в душу лезть. А хоть и беглые — с ножом на людей не кидаются, ну и ладно. Непонятно только, как до Сёмжи-то добрались... Дорог-то нет. Заняли кособокую от старости неиспользуемую баньку, хозяин которой давно помер, а на дрова не разобрали, и мужик к Ермиле Саватеичу пришел: так мол и так — возьми в артель.

Саватеич посмотрел, вздохнул:

— А ты, мил человек, хоть море-то пробовал?

— Честно — кроме Финского залива, ничего не видел.

— Не знаю, где твой Финский залив, но залив не море. И что ты умеешь? Да и так вижу — ничего... И на кой ты мне ляд?

— Умею работать, не белоручка, — просивший руки показал — все в мозолях, а пальцы тонкие-тонкие, длинные,

не мужицкие, и на запястьях шрамы. «От кандалов?» — подумал Саватеич.

— Все смогу. Не дай, Ермила Саватеич, от голода погибнуть. Не один — семья: жена да сын Сергей, — просивший говорил прямо, не лебезил.

— Откуда ты пришел, не ведаю, только после того, как отловимся, съезди с мужиками в Мезень и стань на учет в управе да у надзирателя появишься.

— Хорошо!

На том и порешили. Ермила, как молодой человек ушел, перекрестился — все-таки не свой, не рыбак. «Господи! — подумал. — Как бы чего...»

И как в воду глядел. Во время первого же шторма от волны, с которой не только рыбаки — дети рыбацкие с ног не упадут, парня за борт и смыло. Он в тяжелых, из шкуры морского зверя сапогах и такой же куртке сразу на дно и ушел.

А женщина, симпатичная, большеглазая, тонкая — не в поморских баб, даже не плакала: как узнала о гибели своего мужика, ребенка из баньки выгнала и в петлю залезла!..

И из всего барахла в баньке нашли только одни книги: толстые и непонятные. И никаких документов. Женщину похоронили поодаль от погоста — самоубийца! А мальчонка стал по деревне скитаться — да кому он нужен, и свои-то детишки в нищете живут. Хорошо — лето, а так бы замерз! Так по дворам и ходил: кто кусок рыбы даст, а кто и хлеба ломоть. Где спал — неизвестно. В дома не пускали — потом не выгонишь, а так помрет, ну значит, Бог прибрал...

Через месяц после смерти пришлых людей приехал в Сёмжу Дмитрий Васильевич Ружников, купец и управляющий лесопильным заводом в Мезени. Дмитрий Васильевич у Ермилы Саватеича расположился, чай пьет, выслушивает, как дела идут, в чем есть какая надобность и нужда — хотя вроде все, что нужно и что просили, привез, даже диковинку — лампу керосиновую. Правда, рыбаки плюются — воняет.

— Да ваша, Ермила Саватеич, рыбака-то к весне почище этого керосина воняет, а туда же — нос воротите, — купец

погладил огненно-рыжую бороду, за цвет которой прозвали его Митька-красный. — Зима наступит — радоваться свету будете, только дом не спалите.

— Ты, Васильевич, вроде уж наш человек, помор, и знать должен, что нет по весне лучше той рыбки. Ты когда-нибудь видел, чтобы ненцы цингой болели? А все почему? Потому что сырое мясо оленьё едят да кровь пьют, а с рыбой поступают лучше нас: в яму по осени скидывают, она там вся сопреет за зиму, от костей отойдет, и по весне эту кашу рыбную и едят. Вот у них воняет так воняет. А у нас так, запах один... А керосинка твоя нам ни к чему, со свечой-то оно привычнее, а зимой спать надо, а не свет жечь. Книжки-то все равно никто не умеет читать, да и зачем? Пустое это... Впрочем, Дмитрий Васильевич, есть тут у меня кое-что, — Ермила Саватеич полез за книжками, что от пришлых людей остались. — Вот... Непонятные.

Ружников взглянул, и от удивления брови вверх поехали: книги-то — Плутарх, Гегель, Маркс.

— Ого! Откуда такое богатство, Ермила Саватеич? Морем принесло?

— Да нет, — замылся Сумароков, про себя уже жалея, что вырвалось слово, и рассказал всю историю прибившихся к Сёмже людей.

— А мальчонка-то где же? — внимательно, не перебивая, выслушав, спросил Ружников.

— Да вон, по улице идет, — Ермила махнул рукой в сторону окна. — С ним наши-то дети не играют. Как прокаженный он. И вроде жалко — человек все-таки, а с другой стороны, куда и к кому?

В маленькое оконце избы был виден мальчишка лет пяти-семи, в одной грязной рубашке и босиком. Мальчик грыз какую-то кость — у собаки, наверное, забрал.

— Как же ты так, Ермила Саватеич, не по-людски! — в сердцах вскрикнул Дмитрий Васильевич. — Ведь дитя божье! Эх! А получается, ты того мужика взял не к себе, а к нам в работники?

— Да, грех на мне, Дмитрий Васильевич, простите, если можете. Никак не ожидал я, что он совсем-то моря не зна-

ет. Непривычно как-то, чтобы взрослый человек воды не знал. Черт попутал. Уговорил он меня. А когда его жена, бросив ребенка, в петлю залезла, совсем мы ничего не поняли и испугались, документы поискали, но, кроме книг, ничего и не нашли. Неужто беглые?

— Беглые не беглые, а думаю, на всем этом и наша, ружниковская, вина есть... Заберу-ка я с собой мальчишку.

— Ох, заберите, Дмитрий Васильевич, снимите грех с души.

— Я пойду за ним, а ты скажи своей Марфе, чтобы приготовила все для мытья в бане, да какие-нибудь рубахи и штаны пусть найдет. У соседей попросит. Я за всё заплачу. Знаешь, как мальчишку-то зовут?

— Отец-то, утопленник, называл его Сергеем.

Дмитрий Васильевич вышел из избы и подошел к ребенку. Мальчишка посмотрел на него какими-то огромными небесно-голубыми глазами и спрятал кость за спину. Видно было, что мальчику зябко — ноги и руки были в цыпках и синие. А худой был — ребра под рваной рубахой выпирали, и живот большущий.

— Здравствуй! — сказал, подойдя, Дмитрий Васильевич. Мальчик сжался, словно ожидая удара. — Ты не бойся меня. Пойдем со мной, я тебя накормлю.

— И хлеба дадите?

— Конечно, и хлеба, и сахара.

— А сахар — это что? — спросил мальчик.

— Пойдем, покажу, — и Дмитрий Васильевич протянул руку.

— А мясо? — Мальчик показал кость.

— Отдай собакам. Я тебе нормального мяса дам. Пойдем.

Мальчик бросил кость и протянул грязную, синюю от холода маленькую ручку. Дмитрий Васильевич взял его ладошку и ужаснулся — она была холодная, как лед.

Когда вошли в избу, тетка Марфа, жена Сумарокова, перекрестилась, и слезы побежали из ее глаз. Сам Сумароков сидел, потупив глаза. По-видимому, суровый разговор

произошел в доме, пока Дмитрий Васильевич ходил за ребенком.

— Так-так, тетка Марфа, ты еще ему ухватом промеж лопаток пройдишь. Видимое ли дело — божье дитя на улице оставить помирать! Господь-то наказать может! — Ружников перекрестился на образа, и все перекрестились. — Ты, тетка Марфа, вымой его хорошенько в бане, хламье его сожги — вшей поди там... Накорми, но не перекармливай, с голодухи-то у него живот может завернуться, — погладил по голове ребенка и добавил с теплотой в голосе: — Вот, Сережа, и кончилась твоя беда... А мы с тобой, Ермила Саватеич, пока пойдем, посмотрим, что у тебя в ледниках да амбарах.

Мальчик вцепился в руку Дмитрия Васильевича — не оторвешь.

— Ты смотри-ка, каких он страхов у вас насмотрелся! А еще поморы! — Ружников за руку с мальчиком подошел к столу. — Давай, ты мне руку отпустишь, а я тебе, как обещал, сахара дам.

Мальчишка недоверчиво посмотрел огромными голубыми глазами, потом осторожно отпустил руку и все смотрел, подняв голову, на ту единственную спасительную соломинку в его горькой жизни, готовый в любой момент схватить обратно эту добрую руку. Дмитрий Васильевич взял со стола головку сахара, нож и ударом отколол кусок. У Ермилы Саватеича слеза жадная на глаз выскочила. Дмитрий Васильевич заметил:

— Что, жалко? Я тебе, Саватеич, взамен этого кусочка целую головку дам, у меня с собой есть, — повернулся к мальчику. — На, Сережа, ешь. Да помойся, пока я по делам схожу. Пойдем, Ермила Саватеич...

Мальчик вытянул язык и, закрыв глаза от счастья, стал лизать сахар...

Пока рыбаки разгружали с черной от смолы, с высокими бортами большой лодки доставленные припасы, Дмитрий Васильевич с Ермилой Саватеичем сходили в ледник и амбары и приказали грузить на лодку бочонки с выловленной и засоленной рыбой.

Купец на Сумарокова взглянул и тихо, чтобы не слышал никто, сказал:

— Пока тут и без нас управятся, а мы пойдем-ка, Саватеич, туда — покажешь, где семья-то погибшая жила. Может, чего найдем — документы какие?

— Свят, свят! — закрестился, испуганный предложением, Ермила Саватеич.

— Ты, Ермила Саватеич, живых бойся, а не мертвых. Пошли, пошли.

Сумароков в баньку не входил, стоял поодаль, серел лицом. В низкой полуразвалившейся баньке было одно тряпье. «Как в такой тесноте и повесилась?» — удивился, пожившись, Дмитрий Васильевич. Нашел еще одну книгу «Мифы Греции», а за печкой нашлась тонкая тетрадка, всего в несколько страниц, открыл, наклонился, чтобы разобрать строчки — ни имени, ни фамилии и первая фраза: «Приехала Маша с Сережей. Бросила все-таки своего генерала. К побегу все готово...» Немножко полистал при тусклом свете из малюсенького, с ладонь, оконца, сунул в карман и вышел.

— Все, пойдем Ермила Саватеич, вот еще одну книжку нашел, и больше ничего.

Ермила, не в одном поколении солью морской насквозь пробитый помор, перекрестился испуганно, как будто с того света явившегося увидел. Удивился про себя Дмитрий Васильевич: «Ишь ты, никакая буря не испугает, а тут покойник?.. А Ермиле знать о тетрадке не стоит».

Занялись делами и к вечеру вернулись в избу. Мальчик, помытый, свернувшись калачиком, спал на сундуке, сунув маленький кулачок в рот.

— Кое-как от стола оторвала — и ест, и ест, и ест. И куда в него столько влезло-то? А креста-то у него нет! Может, он не нашей веры? — причитала жена Ермилы Сумарокова.

— Ты, тетка Марфа, парня не загуби. Он с голодухи-то есть будет, пока не помрет. И насчет расходов не причитай. Из привезенного муки пшеничной мешок да головку сахара себе возьмете. Хотя вообще-то вас наказывать надо за

дита... Неужели бы уморили? А еще православные люди. А что креста нет, так это не его вина — окрестим.

Ночь летняя, северная, как день, светлая — работай весь день, тогда и зимой выживешь. Всей деревней — и взрослые, и дети — трудились: выгружали-грузили приплывшие лодки. И оплату получили сразу: хочешь — деньгами, хочешь — товаром. Радости! Кланялись купцу.

У реки, на сходнях, Ермила Саватеич провожал Дмитрия Васильевича.

— Куда вы его сейчас? В сиротский дом?

— Саватеич, ты о чем? Какой сиротский дом? У меня будет жить... пока родных найдем. А не найдем — все равно у меня. Виданное ли дело, чтобы на севере дети бездомными сиротами становились; во все времена по семьям разбирали! Прощай, — и обратился к мальчику, который опять крепко держался за руку: — Ну вот и все... Поклонись, Сережа, этой земле — в ней твоя мать упокоилась.

Мальчик поклонился, слезы стояли в больших голубых глазах, и так, за руку, не отпуская ее и не оборачиваясь, пошел в лодку...

Пока плыли от моря по реке в городок Мезень, мальчик молчаливо и с интересом рассматривал проплывающие пустынные берега, а Дмитрий Васильевич читал тетрадку. Записи были сделаны карандашом, криво, как бывает, если пишут быстро и тайно и не за столом. Многие листы были выдраны, а из нескольких оставшихся нельзя было понять, кем они написаны, только несколько имен, да и не имен вовсе — каких-то прозвищ или кличек. Понятно было только то, что писавший был осужден за покушение на «его превосходительство», а приехавшая женщина — мать Сережи — была то ли дочерью, то ли женой какого-то генерала, от которого она убежала, и что зовут ее Маша, она очень красивая, и писавший ее очень сильно любит, а мальчику Сереже пять лет. С каторги неизвестный убежал, когда Маша с сыном приехала к нему, а почему и как они оказались здесь, на берегу Белого моря, не было ни строчки. Была одна странная фраза: «М. повезли дальше, в Сибирь. Но его не удержат — убежит! Он железный человек

и надежный друг!» И кто такой «М.»? Сережа тоже не мог ничего сказать — ребенок, по-видимому, так настрадался, в таком ужасе и страхе прожил последние месяцы, что ничего вразумительного ответить не мог, помнил только, что жил в каком-то большом городе, в красивом доме. И все! «Может, отойдет со временем от страха и вспомнит? Надо сообщить в Архангельск, пусть ищут, — решил Дмитрий Васильевич. — Ну а если родственники не найдутся, то окрестим: имя есть — Сергей, отчество — пусть Дмитриевич, а фамилия... фамилия... пусть будет по месту, где нашли, — Мезенцев. Сергей Дмитриевич Мезенцев, — Дмитрий Васильевич посмотрел на мальчика. — Что-то ждет тебя, Сережа, в наступающей жизни? Но то, что от меня зависит, я сделаю. А дневник сохраним; когда вырастет — отдам».

Околоточный надзиратель со слов Дмитрия Васильевича составил бумагу и отправил ее в Архангельск, а так как сам был не шибко грамотен, хоть и на офицерской должности, то не со зла — а может, и схитрил, чтобы не отвечать за неизвестных погибших, — написал, что в деревне Сёмже умерли «мужик и женка», а то, что люди эти были пришлыми и неизвестными и что с ними был ребенок по имени Сергей, не указал. Бумажка в губернском городе Архангельске легла на стол в полицейском управлении, а потом и под сукно, откуда ее списали в архив, не сообщив о случившемся в Петербург; а что сообщать-то — таких случаев по империи каждый день тысячи... Ну умерли двое... Вот бумагу казенную, с печатью, надзиратель испортил, подлец. Наказать бы!

Так и не получив ответа, Дмитрий Васильевич через полгода окрестил привезенного мальчика в своей «ружниковской» церкви Вознесения Господня, назвав Сергеем Дмитриевичем Мезенцевым, и крестик православный на шею повесил...

Не нарадуется Дмитрий Васильевич на своего приемного ребенка. Пусть и пять лет от роду, а сразу определил его в свою школу, что при заводе открыл для детей рабочих. Мальчик с заводскими детьми и пошел. И как пошел — на

лету все схватывает. А Дмитрий Васильевич, как свободное время есть, помогает и по письму, и по арифметике, а потом заметил, что мальчишка очень любопытный, все спрашивает: «Это зачем? Это почему?» К семи годам от книг не оторвать. И понимал Дмитрий Васильевич, что все это дано мальчику не им, а неизвестными родителями и Богом, а он лишь инструмент в руках Творца...

Радость пришла в дом и душу Дмитрия Васильевича. Закоренелый холостяк, он с таким упоением отдавал свою любовь этому маленькому мальчику, даже баловал, что не принято было у поморов, ходил с ним за руку по городу и заводу. Если ехал куда-то по делам — брал с собой. Любил, как любят родное дитя... Может, даже и больше.

II

Прошли годы.

Сережа вытянулся в худенького подростка с большими голубыми, красивыми, но печальными глазами. Отличался он необычайной сообразительностью и умом. И странная у мальчика появилась и дальше уже не отпускала страсть: при всей своей хрупкости фигуры, при этих длинных тоненьких пальчиках, при этом необыкновенном, удивительном, небесного цвета задумчивом взгляде, он любил море... И даже не море — паруса! И в кого, неизвестно. Поморские дети с пеленок паруса знают, с молоком матери впитали их шелест, а тут — кто? — найденыш, и вдруг к морю тянется... Дмитрий Васильевич для него особую лодку построил: маленькую, легкую, но стойкую на ветер, и с парусом. На ней и катался с заводскими мальчишками по реке малый Сергей. А подросток — с рыбаками в море поплыл; и на Соловках, и на Груманте, и Печоре-реке побывал, и в шторма попадал, и удивлял рыбаков не удалью и пустым бахвальством, а не по годам взвешенностью и разумной смелостью. Говорили уважительно: «Молодец, под ногами не мельтешит». Дмитрий Васильевич переживал сильно, но не препятствовал — знал: на севере от моря только сил у человека прибавляется... И смелость и смекалку — все

оно дает, море. Станный рос приемыш у Дмитрия Васильевича: умный, а с замашками поморскими... Но все равно — какой из этого мальчика помор? Отличался от своих сверстников утонченными чертами лица, тонкой, высокой фигурой и пальцами — длинными-длинными и необыкновенно подвижными. Дмитрий Васильевич говорил:

— Тебе бы, Сережа, только на роялях играть. Какой из тебя рыбак — сетка пальчики перережет! С такими пальчиками доктором хорошо быть! Все равно не помор ты, Сережа, не помор! Хотя море любишь. Ей-богу, это удивительно!

И как все мальчишки деревень и маленьких городов, мальчик научился драться: не махать кулаками, не подставлять лицо и грудь, глупо крича: «На, бей!» — а с расчетом, с единственным ударом, от которого противник сразу валится с ног. Таких в драках не любят и боятся — рубаху на груди не рвет, первым не нападает, не кричит для храбрости, а как-то так жестко смотрит, уклонится от удара, и раз... и у нападавшего нос в крови. А больше не бьет. Не по-северному как-то...

Когда к сорока годам закоренелый холостяк Дмитрий Васильевич вдруг в начале XX века влюбился без памяти в молоденькую девушку Анну Маслову, что была младше его на двадцать лет, три года ухаживал и все-таки уломал отца Анны, Кириллу, выдать за него младшую дочь, с уговором, что уйдет «во двор» к Кирилле, в деревеньку Ому, то встала перед ним проблема: что делать с подросшим Сергеем? Конечно, самое простое — взять с собой. А то можно оставить в Мезени у братьев. Но понимал Дмитрий Васильевич, умом понимал, что учить надо дальше — больно уж голова светлая. А в Оме даже школы нет. И кем вырастет — простым его помощником? Да и в Мезени останется — недалеко пойдет. Значит, к брату Афанасию, в Петербург... И, так подумав, сказал мальчику:

— Как ни тяжело мне принимать такое решение, надо тебе, Сережа, ехать учиться дальше, и лучше сразу в Петербург... Едем к брату моему, двоюродному, к Афанасию Ефремовичу... Там тоже море, правда, не наше Белое — Балтика.

И еще подумал Дмитрий Васильевич, что придет время, когда необходимо будет сообщить мальчику все о его настоящих родителях. А где-то, может, живут и родственники Сережи? Генералы в деревнях не живут, а в России и городов, где генералы живут, раз-два и обчелся, и по тетрадке понятно, что не из Сибири ехали погибшие, а в Сибирь — вот сразу полстраны, пусть пустой, отметай. И о матери придется рассказать... Решил: пусть станет взрослым, профессию выберет, тогда он ему и расскажет все, а так по малолетству может и свихнуться на желании все бросить и искать родных! Да и где они, родные, где тот, кого называли в тетрадке «генерал», что за все эти годы так и не объявились? Не знал же Дмитрий Васильевич, что в мезенских землях искать не стали — надзиратель по своей глупости с бумагой напортачил.

Собирался Дмитрий Васильевич недолго — семь-то пока нет, и в зиму, на лошадях, двинулся в Архангельск. Триста верст лошадки — обоз с рыбой — за неделю прошли с легкостью, метелей не было, и дорога была накатанной. А вокруг леса заснеженные стеной! Мороз... Солнце красное... Красота!

Вот так же отсюда, с севера, один великий помор из родного дома ушел и дошел аж до Москвы — так учиться хотел!

В Архангельске остановились у приказчика Трофимова, что лавкой в Гостином дворе управлял. Сергей с детьми Трофимова ходил по городу и удивлялся широкой набережной, вмерзшим в лед Северной Двины морским кораблям, большим каменным домам, скачущим с гиканьем по широкому, заснеженному Троицкому проспекту, в морозном инее, тройкам лошадей с колокольчиками и сидящими в расписных санках веселыми, розовощекими от мороза и водки людьми. Что-то смутное, родное в этом было, где-то там, в тумане совсем уж раннего детства. И женщина, красивая и добрая, нечетко вспоминалась. Он все прошедшие годы не задавал вопросов о матери, а вот перед самым отъездом из Мезени вдруг обратился к Дмитрию Васильевичу:

— Свозите меня, батюшка, на могилу к маме.

Помнил, значит!..

Дмитрий Васильевич просьбу выполнил и съездил с ним в Сёмжу. На могилке постояли. Крест новый поставили. Сережа поплакал, что-то шептал про себя — детские губы тряслись да слезы капали с подбородка. Другую могилу посетили — Ермилы Саватеича Сумарокова, что умер несколько лет назад, и после вернулись домой. По дороге Сергей все молчал, а потом, видимо, внутренне собравшись, спросил:

— Она была красивая?

— Я не знаю, — честно ответил Дмитрий Васильевич, — но судя по тебе — очень красивая. Когда вырастешь, я, что знаю о ней, тебе расскажу. Ее уже не вернешь, а тебе жить надо... твоя жизнь вся впереди.

А из Архангельска двинулись вообще по диковинной дороге — железной, что называлась по строителю, в честь отца — Ивана Федоровича, а затем и сына — Саввы Ивановича, Мамонтовской. Хотя Савва-то не в отца был — больше в театрах посиживал да по заграницам катался, а потом взял да и купил какие-то развалившиеся заводы. Подсунули любителю искусств залежалый товар — попался на крючок жуликам, что в министерствах сидели, и в тюрьму сел, а государевым мужам только этого и нужно было — разорили и в казну железную дорогу забрали!

В России во все времена с государством надо ухо остро держать и сладким речам не верить! Рот откроешь от этих речей, а тебе карманы-то в этот момент и вывернут. Хорошо, если только карманы, а то и головы лишиться можно... Запросто! Россия!..

Очень нужную дорогу для севера и для империи построили купцы Мамонтовы. И город северный, что до Петра Великого единственным российским морским портом был, после постройки новой морской столицы — Петербурга не пропал благодаря этой дороге.

Земля северная необыкновенно красива, в окно поезда леса, реки, озера; сотни верст проедешь, прежде чем какую-нибудь деревню или городок встретишь. Тишина... Космос!.. Так до Вологды, а потом до Ярославля и доехали,

и затем уж, на развилке, повернули на Петербург. Во все глаза смотрел на пробегающие за окном просторы Сережа Мезенцев, всё вопросы задавал: «Зачем?.. Как?.. Отчего?..» Повезло ему с Дмитрием Васильевичем — тот любил учить, а не поучать, да и сам был очень грамотный — с удовольствием отвечал.

Зимний, в морозном тумане Петербург был великолепен — как сказка. На вокзале встречал брат, Афанасий Ефремович — обнялись, расцеловались по русскому обычаю троекратно и поехали на Петербургскую сторону, в дом на Большой Посадской улице. Ехали на санках, запряженных серыми тонконогими лошадьми, и до того был красив зимний Петербург, что Сергей смотрел, открыв рот. Радостно, с замиранием сердца, думал: «Я здесь буду жить!» Потом стыдился своей мысли: «А как же отец?» Считал Дмитрия Васильевича отцом и был прав — только его доброту и теплоту помнил, а мать где-то там, вдалеке, смутно, даже лица вспомнить не мог.

Афанасий Ефремович недавно женился, и жена только-только принесла первенца — сына, но дом, точнее, семикомнатная квартира в большом многоэтажном доме немца Вальда, позволяла жить не теснясь, поэтому Сергею была отведена своя комната, и он, предварительно показав на экзаменах превосходные знания, был зачислен в гимназию.

Дмитрий Васильевич пробыл в Петербурге неделю, погулял с Сергеем по городу и отбыл обратно в Мезень, взяв слово, как он считал, с приемного сына, что тот будет старательно учиться всем наукам, помогать Афанасию Ефремовичу и его семье по дому и по работе, и пообещав, что сам будет время от времени наезжать в Петербург. Напоследок сказал:

— Надеюсь, когда-нибудь наведишь теперь уже родные тебе северные места, — с тем и уехал.

Гимназия находилась недалеко от дома, рядом с Александровским императорским лицеем, что по указу императора Николая I Павловича в 1843 году был перенесен из

Царского Села в Петербург, на Каменноостровский проспект. И это большое, тяжелое, безвкусное по своему архитектурному стилю четырехэтажное здание закрывало солнце стоявшей рядом двухэтажной гимназии. Блеклой тенью выглядела гимназия по сравнению с Лицеом, и лицеисты снисходительно, а больше презрительно и свысока смотрели на гимназистов. Они имели право так смотреть на всех, ну, может быть, кроме учащихся Пажеского корпуса, поскольку те, как и они, были не простыми людьми, а детьми высшего сословия — потомственными дворянами! Свободомыслие первых лицеистов — Пушкина, Кюхельбекера, Пущина — в коридорах и залах Лицея давно уже не витало. Да и лучшие выпускники, что учились с военным уклоном, приравнялись к выпускникам Пажеского корпуса. Учеба в Лицее была той единственной ниточкой для потомственных, но бедных дворян, позволяющей не выпасть из своего сословия!

Времена высоченных, под потолок, боярских шапок с восшествием на царский престол реформатора, сломавшего где топором и кнутом, а где милостями весь патриархальный устой сонной Руси, закончились с «Табелью о рангах» царя Петра!

Сергей учился прекрасно, с переходом в новый класс приносил похвальные грамоты. И если тяжело давалось слово Божие, то латынь, иностранные языки, математику проходил с легкостью. Преподаватели нахвалиться не могли на умного подростка. Одно смущало — мало улыбался и почти всегда был грустным. Все понимали: этому юноше прямая дорога в университет...

Дома помогал дядьке — выходных не видел. Тот нахвалиться не мог, столь сметлив и расторопен был приемный мальчик брата Дмитрия. И не только по торговым делам помогал, но и по дому — особо истопнику, инвалиду без ноги Василию. С удовольствием таскал на старом корыте уголь со двора в подвал к паровому котлу, обогревавшему весь дом, колот и носил дрова к камину в квартире дяди. Собственник дома, немец Вальд, от печек одним из первых в городе отказался — современный дом построил. Немец!..

Истопник Василий Сидоров, мужик лет сорока, с окладистой бородой, малопьющий, сильно верующий человек, ногу потерял на японской войне — в казацких пластунских частях служил, за геройство получил солдатский Георгиевский крест и был большим знатоком рукопашного боя, которому его научили пленные японские солдаты. И Сергея научил: как уклоняться от палки, кочерги и ножа, как одним ударом отправить человека на землю, да так, что тот долго не мог подняться. Говорил:

— Главное в драке, как в бою, — спокойствие!

— Дядька Василий, а за что у тебя награда? — спрашивал мальчик.

— За ногу, что японцам оставил.

— И все же...

— За спасение казацкого войскового старшины Петра Краснова. Я, раненый, его с поля боя на себе вынес, а ногу мне потом в лазарете отняли — гангрена. Мне крест лично генерал Сибирцев вручил. Вот ведь как — граф, а простого солдата уважал: из солдатского котла запросто мог похлебать, снарядам и пулям не кланялся, мог и впереди солдат в атаку пойти. За это его простые солдаты любили. Солдат — он видит, кто из начальников за отечество воюет, а кто за кресты... Спасибо, барин, за дрова...

— Ну какой я тебе барин. Покажи лучше еще какой-нибудь прием...

И страсть к морю у Сергея тоже не прошла: накопил, работая у дяди, денег на небольшую яхту и вступил в императорский яхт-клуб, что располагался на Крестовском острове. И светлыми летними ночами, когда погода позволяла, катался по Финскому заливу, уплывая к Кронштадту, а то и в сторону Выборга. День мог плыть под парусом и не уставал — так любил воду, скорость, качку...

Когда Сергею исполнилось семнадцать лет, на несколько дней приехал в Петербург постаревший Дмитрий Васильевич, закрылся с ним в его комнате, рассказал все, что знал, о его матери и передал хранившуюся у него тетрадку. Потом обнял, расцеловал, по-старчески поплакал и попрощался, как будто навсегда попрощался.

Так и произошло — больше они уже не увиделись...

Юноша весь вечер плакал в своей комнате и тихо, сквозь слезы, повторял: «Мама... Маша... Мама!..» А когда слезы чуть утихли, думал: «Кто этот генерал? Отец? Родственник? Где он? Где живет? Не хотел найти? Не сумел? Почему не искал?..» А потом опять плакал и шептал: «Мама... мама...» Так и заснул, уткнувшись мокрым лицом в подушку, а встал утром совсем другим человеком — взрослым!

III

Гимназию Сергей окончил с медалью и все были уверены: далее университет, а он все изменил — поступил в Императорскую военно-медицинскую академию, что еще Петром Первым была основана как медицинская школа на Выборгской стороне новой российской столицы.

Вот же государь был: хоть никогда и не жалел ни народ свой, ни солдат, а понимал, что империи военные врачи-хирурги нужны, чтобы этих солдат обратно в бой возвращать — страна-то не бездонная.

С первого же дня учебы в академии Сергей понял: хирургия — это его судьба. Форма и шинель очень шли ему, подчеркивали высоту и стройность фигуры, а большие, необыкновенной голубизны глаза под черными ресницами, строгость и утонченность лица приковывали внимание встречавшихся на улицах юных барышень — те оглядывались, радостно-удивленные. Друзей юноша почему-то не имел, но со всеми курсантами был ровен, доброжелателен и считался с первого дня учебы хорошим товарищем — честным и справедливым. Однажды заступился за такого же, как сам, первокурсника — юношу из бедной семьи, когда курсанты с последних курсов стали насмехаться над его бедностью. И когда Сергей потребовал прекратить издевательства, недостойные звания ни врача, ни мужчин, то двое — здоровые ребята — бросились в драку, однако в несколько секунд легли в пыль улицы. Сергея хотели исключить из академии за драку, но выступили против такой

меры сокурсники, а потом в деканат пришли побитые курсанты и признались в своей вине. Его оставили в академии, но предупредили о недопустимости драк. А среди курсантов он получил хлесткое прозвище «Боксер».

При необычных обстоятельствах подружился он с лицеистом, князем Николаем Голицыным-младшим, отец которого, тоже выпускник Александровского лицея, был членом Государственного совета.

По Большой Монетной и Лицейской улицам не только одни лицеисты и гимназисты праздно шатались. В тот вечер лицеист князь Николай Голицын со своими друзьями, такими же лицеистами, прогуливался по Каменноостровскому проспекту. Молодые люди цеплялись к добропорядочным гражданам, а за одной, уж больно смазливой и довольно легко одетой дамочкой компания свернула на Лицейскую улицу. Дамочка шаг чуть-чуть прибавила, молодые люди тоже, и когда ближе к Архиерейской улице откуда-то из подворотни появились двое рослых, крепких, одетых в рабочие куртки и шапки мужчин, дамочка остановилась, повернулась и, улыбнувшись, прокуренным баском проговорила:

— Молодым людям пора вывернуть карманы.

— Правильно, Маня, пора, — сказал один из парней и засмеялся: — Хотелось бы без насилия, — и вытащил нож.

Друзья Коли Голицына развернулись и побежали, а князь, воспитанный в духе рыцарства и бесстрашия, остался на месте. Он, может быть, и испугался, но потомственная фамильная гордость заиграла в крови.

— Странно, — сказал парень с ножом, — ты-то чего не побежал? Так сильно испугался, что ли? Штаны менять надо?

— А с чего это вы решили, что я испугался? — с дрожью в голосе ответил Голицын.

— Значит, смелый? Тогда, смелый, выворачивай карманы, — человек с ножом шагнул к Голицыну. Николай хотел повернуться и бежать к огням Каменноостровского, но ноги стали ватными, да и глупо подумалось: «Как это я, князь, побегу? Никогда!»

— Ну чего застыл, лицеист? Или помочь? Маня, сползай дворянчику в штаны. Только не зацепись, — и все громко засмеялись.

Голицын вспомнил картинки из какого-то запрещенного в его среде журнала и стал, как ему казалось, в боксерскую стойку.

— Я боксом занимаюсь — не подходите...

— Чего-о?.. — удивился мужчина с ножом. Перекинул нож из одной руки в другую и ударил Голицына в лицо кулаком. Из Колиного носа потекла кровь, и он зашатался.

— Добавить или хватит?

И вдруг откуда-то из-за спины Голицына раздалось:

— Двое на одного! Нечестно как-то! — и подошел тоненький высокий юноша в шинели и фуражке.

— Еще один! — со смехом сказал мужчина с ножом и махнул в сторону юноши лезвием — так, больше для страха. Дальше никто и не понял, что произошло: юноша как-то странно отклонился, а потом выкинул руку в сторону лица нападавшего и тот, охнув, упал.

— Тебе тоже хочется? — спросил юноша второго парня.

— Да вроде нет... — дрогнувшим голосом произнес тот. — Ты чего с ним сделал? Как это ты?..

— Тогда забирай его и мотай отсюда, — и, повернувшись к Голицыну, юноша тихо произнес: — Пошли быстро, пока они не очухались.

И молодые люди быстрым шагом, почти бегом, устремились к Каменноостровскому проспекту. Когда выскочили на освещенный проспект, остановились и нервно рассмеялись.

— Николай, — протянул руку Голицын. — Спасибо тебе.

— Сергей, — пожал протянутую ладонь юноша. Рукав шинели был распорот и запачкан кровью.

— Вот, гад, шинель попортил, — грустно сказал Сергей и, достав платок, протянул Голицыну: — Возьми, а то кровь из носа по лицу размазал.

— Спасибо. У тебя тоже кровь, — Голицын показал на руку Сергея.

— Чепуха — царапина. Пойдем ко мне. Я тут рядом, на Посадской, живу.

— Пойдем. Как это ты его?! — уважительно спросил Голицын. — Что это — бокс?

— Нет, это прием японской борьбы.

— Здорово! Покажешь?

— Хорошо. Пойдем.

Молодые люди пошли в дом на Большой Посадской улице, где жена Афанасия Ружникова, увидев кровь, чуть не упала в обморок, но кормилица детей, женщина из деревни, спокойно осмотрела рану на руке Сергея, помыла теплой водой с мылом и, сказав: «Повезло, барин!» — забинтовала чистой тканью. Голицын обмыл лицо от крови, и сразу стал виден набухающий синяк под глазом.

— Приложите ложку, барин. А дома бодягу пусть положат, — все так же спокойно сказала кормилица. Ложку приложили, но юноши, посмотрев друг на друга, рассмеялись и ложку положили на стол, потом выпили чаю, и Сергей пошел проводить своего нового товарища.

— Ты из лицеистов? — спросил Сергей. — Я тебя, когда учился в гимназии, видел несколько раз.

— Да. А ты где учишься? По шинели — военный...

— В Военно-медицинской академии, на первом курсе. А ты почему один-то по улицам гуляешь?

— Да не один я был, — тихо ответил Николай и вздохнул: — Трое нас было.

— Хорошие у тебя друзья.

— И все дворяне, — прошептал Голицын.

Сергей посадил Голицына на трамвай, и тот уехал домой.

Князь Николай Дмитриевич Голицын, прошедший разные высокие государственные должности от губернатора Архангельской, Калужской и Тверской губерний до действительного тайного советника и члена Государственного совета, был одним из самых всесильных людей в России и входил к самому императору, но когда сын Николай рассказал о происшедшем на Лицейской улице, побелел лицом и, с трудом справившись с волнением, спросил:

— Ты молодого человека поблагодарил?

— Да, я даже дома у него был.

— И кто он?

— Я понял, что он сирота. Учится в Военно-медицинской академии. А живет у брата приемного отца.

— Значит, хорошие люди, раз такого юношу воспитали. Редко такое с сиротами происходит. В основном они на той стороне находятся, что на тебя напали. Пригласи его в гости к нам.

— Он может и не пойти.

— Почему?

— Ну... мы дворяне, князья, а он кто?

— А он кто? Он хороший, смелый человек. Государство российское не на одних дворянах держится. Петр Великий мужиков дворянством жаловал. Мы хоть и из столбовых, от Рюриков род ведем, но заслугами предков хвастаться не стоит. Надо заслуги уважать и преумножать — вот в чем польза государству. Пригласи. Скажи, что я его хочу видеть. Да и поблагодарить его сам хочу.

Князь Голицын, несмотря на высочайшие государственные посты, в быту был прост и детей своих особо не баловал, но и в строгости не держал; считал, главное в человеке — образование и честь. Когда сын привел в дом Сергея Мезенцева, поил их собственноручно чаем, показал дом с многочисленными картинами и портретами своих знаменитых предков. На стене одного из залов висела картина, на которой был изображен сам хозяин дома в расшитом золотом по подолу, рукавам, воротнику и даже карманам камзоле.

— Это я на картина Ильи Ефимовича Репина «Торжественное заседание Государственного совета», — сказал Голицын-старший. — Каждый член Государственного совета, за свой счет, разумеется, заказал свой портрет. А саму картину император передал в Русский музей, что он открыл в честь своего отца Александра Александровича в Михайловском дворце. Сходите, молодые люди, — не пожалеете.

В библиотеке князь показал Сергею вошедшие в моду фотографии, вставленные в деревянные рамки. На одной из них были запечатлены три седых бородатых генерала.

— Это, — с гордостью в голосе сказал Голицын, — генералы времен царствования Александра Александровича Романова. В центре мой отец, Голицын Дмитрий Борисович, справа — граф, генерал-лейтенант Сергей Александрович Сибирцев, слева — Николай Иванович Краснов, генерал, атаман Войска Донского. Эта фотография сделана еще до японской войны. И батюшки моего, и атамана Краснова уже на этом свете нет. А Сергей Александрович и в японскую отличился. Генерала от инфантерии получил за храбрость, а все-таки отправили в отставку. Как-то нехорошо, некрасиво получилось. Сибирцев, как Суворов, ни одного сражения в своей жизни не проиграл; император даже хотел ввести его в Государственный совет, а он так резко выступил по поводу нашего поражения в войне, что уж какой там Госсовет...

Николай Дмитриевич попросил Сергея приходиться к ним в гости и разрешил пользоваться книгами своей обширнейшей библиотеки, а когда младший сын, проводив Сергея, вернулся, сказал:

— Ты, пожалуйста, Сергея не обижай! Сдается мне — не купеческого рода он. Сирота — а кто родители? Видно же сразу, что в этом юноше много заложено, и не только природный ум, но и внутренние качества: тонкость натуры, черты лица, руки. Я на его руки посмотрел и залюбовался — только по клавишам рояля пробежаться. А он с такими руками — и на нож?! Сила внутренняя должна быть, чтобы на такое пойти! Этот юноша далеко пойдет! Дружи с ним. Я такой дружбе буду только рад...

Коля Голицын-младший был, как и все его братья и сестра, необычайно образован и воспитан. Провожая своего нового товарища, успел рассказать историю улицы, где находился их дом. Оказалось, что это была самая аристократическая улица Петербурга — Сергиевская, ведшая свое название от стоявшего в конце улицы собора Святого Сергия Всея Артиллерии. Они шли по тихой, но очень хорошо освещенной электрическими фонарями улице, и Голицын с гордостью показывал на небольшие двухэтажные здания и рассказывал, кто в них живет.

— Это особняк Трубецких-Нарышкиных. Я там был. Там такая уникальная коллекция посуды. Тысячи предметов из серебра и золота, и все с вензелем графа Нарышкина... Кстати, на этом месте стоял дом Абрама Ганнибала, прадеда Александра Сергеевича Пушкина... А это дом Кочубея, министра внутренних дел... Это дом Апраксиных... Это князей Баратинских... А это дом графа Сибирцева, того, что ты видел на фотографии у отца. Только сейчас здесь живет какой-то миллионщик, сибирский промышленник. Граф-то, как в отставку вышел, дом продал и все деньги на солдатские инвалидные дома отдал, а сам уехал куда-то под Ораниенбаум и много лет уже не показывается. Батюшка мой ему звонит, приглашает — не едет. Говорят, обиделся на всех...

IV

Весной 1914 года Сергей с товарищами пошел послушать лекцию в Первый женский медицинский институт, что был открыт по настоянию самого Сергея Сергеевича Боткина вместо закрытых женских медицинских курсов. Институт располагался на Архиерейской улице в Павловской больнице на Петербургской стороне, недалеко от дома Сергея на Большой Посадской улице.

На лекции в этот институт курсанты Военно-медицинской академии шли, прогуливая занятия у себя, даже когда читались лекции по основному предмету — военно-полевой хирургии. Как же — полсотни красивых барышень в одном месте, и каких барышень — будущих врачей! Конечно, для юношей столицы самое желанное место — Смольный институт благородных девиц, но будущие врачи там не пользовались успехом. Там властвовал Морской корпус имени Петра Великого. Куда там каким-то врачам. Поэтому-то все юноши столицы старались попасть в стены Павловской больницы. И уж тут военные хирурги обгоняли даже университетских студентов... Профессора, читая лекции, разрешали посещать их и будущим хирургам из академии, считая, что военный хирург должен быть всесторонне

образован в своей профессии и уметь оказывать помощь женщинам и детям.

Сергею эта девушка сразу показалась какой-то необыкновенной, и даже белый мешковатый халат не мог скрыть тонкость фигуры, а косынка — роскошные волосы. На него смотрели большие карие глаза, из которых, казалось, вот-вот брызнут искры смеха.

— Сергей! — осмелившись, сказал он и протянул руку.

— Таня, — и протянула навстречу свою тоненькую ладонь.

Потом была лекция, на которой они только делали вид, что слушали самого знаменитого акушера империи Дмитрия Оскаровича Отта, а сами все шептались. Седовласый лектор не выдержал и попросил удалиться, добавив:

— Я вас запомнил, молодые люди. Советую появиться у меня завтра в Повивальном институте на Васильевском. Часиков этак в одиннадцать. Я вам покажу, как надо заниматься повивальным делом в России, и господина будущего военного хирурга прошу прийти. А то они в своей академии ни черта не смыслят в женских болезнях — только раны обрабатывать умеют, да и то руки не всегда моют! И чтобы, как сейчас, в форме был... И попрошу не опаздывать! А сейчас идите, милуйтесь...

Они ушли гулять по весеннему городу, по набережным, к Троицкому мосту, а через него на Марсово поле, к построенному на месте смертельного ранения императора Александра II изумительному по красоте собору, метко прозванному в народе Спас на крови, и дальше по Екатерининскому каналу на сверкающий Невский проспект и направо, к Дворцовой площади, к Зимнему дворцу, к Атлантам и по Миллионной улице обратно к Марсовому полю...

И шел 1914 год, и все в Российской империи было хорошо. И была весна, и было солнце, и еще не было луж, а лежал сырой снег, но уже птицы, не смолкая, пели, и дворники еще махали лопатами, но уже посыпали тротуары песочком, чтобы жители не поскользнулись... и был мир. И были двое молодых людей, которые стеснительно держались за руки и гуляли по удивительному и прекрасному

Санкт-Петербургу — столице гигантской и стремительно развивающейся Российской империи.

О любви не говорили — об этом говорили их глаза; много говорили о будущей профессии — профессии врачей, о том, как будут помогать страждущим — простым людям в городах, военным на поле боя, и совсем не говорили о политике, а уж о какой-то там грядущей войне и подумать не могли...

На следующий день на Васильевский остров, к Отту, они пришли без опоздания. Профессор был в прекрасном расположении духа и с удовольствием стал показывать свой, единственный в мире, институт для повивального дела: чистые, с высоченными потолками палаты, коридоры без окон, залы для приема родов, уникальную систему вентиляции, когда воздух забирался в сад и после очистки и подогрева поступал в здание, скрытую в стенах систему парового отопления, а когда заиграл орган и полилась прекрасная музыка, молодые люди остановились, замороженные... Отт приказал одеть их в стерильные халаты, маски и головные платки, и они увидели таинство рождения новой жизни. Рожала женщина, первый раз, и ей помогали, строго и в то же время ласково говоря:

— Тужься... еще, еще... Тужься... раз, два, три... Еще...

А она кричала:

— Ой, мамочки, не могу!.. Помогите!..

— А мы для чего здесь? Чтобы тебе помочь... Подыши...

— Ой, мамочки, как давит...

— Не останавливайся, тужься...

И молодые люди увидели, как появилась из чрева макушка, и повивальные сестры уже помогали, и вот выскочила голова, а ее уже поворачивают, чтобы плечи пошли, и уже плечо, а за ним и ручка вышла, и опять кричат:

— Тужься! Немножко осталось. Давай, милая...

— А-а-а! — закричала женщина, и быстро-быстро вышел весь ребенок. И совсем он не был похож на ребенка — синий, в слизи, глаза закрыты, веки опухшие, не дышит и пуповина торчит у матери между ног. Расторопные сестры пуповину пережали зажимами, перерезали и понесли ре-

бенка в сторону, к столику, и теплой водой его обмывают. И вдруг он закричал, и синева пропала, и лицо стало красным, и орет, не останавливаясь, и столько счастья в этом крике — мальчик, и глаза открыл, и задышал, и тело порозовело, и стал похожим на маленького-маленького человечка. И сразу — радость у всех на лицах, глаза светятся: у плачущей матери, у усталых сестер, у восхищенного Отта и у изумленных увиденным Сергея с Татьяной. Новый человек родился!..

— Ну что, молодые люди, как вам институт? — спросил Дмитрий Оскарович и сам же ответил: — Он, конечно, единственный в мире, но надо, чтобы он не стал единственным в России!.. Идите и учите повивальное дело. Поверьте мне — вам это в жизни очень пригодится. Особенно вам, господин военный хирург. Уж поверьте мне, старику.

Знакомство с Таней что-то разорвало, перевернуло в душе Сергея. Он вдруг из замкнутого, тихого, немного нелюдимого юноши превратился в открытого и доброго товарища, стал все чаще и чаще улыбаться и смеяться, чему несказанно всех обрадовал. Но появилась и рассеянность, мечтательность, что вначале встревожило преподавателей; но они были людьми умными и быстро поняли, с чем это связано. А товарищи, посмеиваясь, говорили: «Не перейти ли тебе, Сергей, учиться в женский институт, поближе к той прекрасной особе?» Пропуски в учебе Сергей быстро восстановил и опять стал лучшим на курсе, но и с девушкой отношения не порвал... И всем было понятно, что молодой человек влюбился!..

Так бывает со всеми молодыми людьми, но каждый из них считает, что это необыкновенное чувство посетило только его одного и только у него оно такое необыкновенное, непохожее и тем более не сравнимое с тем, что описывают писатели в различных романах или рассказывают друзья.

В один из дней Татьяна спросила у Сергея:

— Сережа, я все забываю спросить твою фамилию.

— Мезенцев, — услышала в ответ.

— Какая необычная фамилия, — удивилась. — С каким-то названием, мне знакомым, сочетается.

— Река такая на севере — Мезень, в честь нее и фамилия.

— А, вспомнила. У моего деда завод лесопильный в Мезени.

И рассказала, что фамилия у нее Русанова и ее дед — Николай Иванович Русанов, знаменитый промышленник, купец и почетный дворянин. Молодые люди засмеялись — как же мир тесен!

И еще Сергей узнал, что у Тани есть жених — старше ее на пять лет, «слюнвявый, прыщавый урод», как она его назвала, Николай, сын Аристарха Ильича Семенова, управляющего всеми финансовыми и торговыми делами Русановых. «Все так считают, кроме меня», — засмеялась Таня. А на просьбу Сергея рассказать что-нибудь о своих родителях не ответила, замкнулась, осунулась лицом и вдруг заплакав, прошептала сквозь слезы: «Потом... когда-нибудь... потом...» Сергей настаивать не стал и предложил пойти в парк на еще не растаявший каток, где выяснилось, что он прекрасно катается — сказывалось катание зимой, в детстве, по замерзшей реке на «снегурках», привязанных к валенкам, — и полное неумение кататься у Татьяны. Молодые люди с хохотом падали, поднимались, опять падали, и в этом смехе было столько беспечности, радости, счастья... А потом, ехали на Невский в знаменитую булочную Филиппова и пили горячий чай с вкуснейшими булочками. И оба необъяснимо понимали, что любят друг друга.

Николай Иванович Русанов, почетный дворянин, лесопромышленник, заводчик, миллионер тихонько доживал свой век. Было ему далеко за семьдесят и, всю жизнь неумный и энергичный, он как-то резко сдал, отошел от дел после смерти единственного сына Алексея. Сын умер от странной болезни — наркотиков! Ну от водки — куда ни шло. А тут надежда и опора отца во всех делах, умница, трезвенник вдруг как-то быстро, но тайно для всех, пристрастился к опиуму и кокаину, а потом и морфию и «сгорел» за каких-то полтора года. И не смогли помочь!

Врачи лучших европейских клиник удивлялись, что на их пациента не действуют самые современные лекарства и новейшие психиатрические эксперименты. Как будто не лекарства принимал, а продолжал принимать наркотики. Сам знаменитый доктор Сергей Бехтерев пробовал лечить, и в Европу к Фрейдю в клинику возили, и у Юнга были — бесполезно... Умер.

А Николай Иванович Русанов, всегда бодрый и энергичный, за время болезни сына резко состарился, сгорбился, замкнулся, и было видно, что болезнь, а потом и смерть единственного сына и наследника сломали его, забрали все оставшиеся силы и всякое желание руководить созданной за десятилетия промышленной империей и создавать новые богатства. К чему?.. Зачем?.. Он отошел от дел и передал управление заводами и торговыми делами своему многолетнему помощнику Аристарху Семенову. Благо тот все дела своего хозяина хорошо знал. Правда, Аристарха недолюбливал покойный сын Николая Русанова — так чего удивляться, обыкновенная зависть к талантливому человеку. Да и то в последний год жизни Алексей, наоборот, только Аристарха и признавал. Жена сына Наталья, почти не жившая в Петербурге — врачи не разрешали: больна была легочной болезнью, все время кашляла и от сырости задыхалась, — когда умер любимый муж, почти сразу уехала в Италию, «на воды», а точнее, в горе, насовсем — настолько ей стал ненавистен этот город на болоте. А дочка Татьяна с матерью ехать отказалась, осталась с дедом в Петербурге и, окончив гимназию, поступила в странное для дворянки учебное заведение — только что открытый Первый женский медицинский институт.

V

За два года до описанного выше знакомства Сергея с Татьяной Аристарх Семенов призвал к себе в кабинет сына Николая.

— Скажи-ка, Колька, — спросил он, — тебе нравится хозяйская дочка Танька?

— Симпатичная конечно, но еще молодая, всего-то шестнадцать лет.

— А я тебе, Колька, не про свадьбу говорю... Я к тому, чтобы ты не забывал, кто ты есть! Если бы не мой батенька-подлец, не мы, а Русановы прислуживали бы нам. Дед твой, сволочь, разорил семью и в петлю залез. И Русанов бы залез, да я его спас, и не просто от разорения, я его от позора спас. Что-то моего отца никто не спасал. И что в итоге? Я, Аристарх Семенов, — управляющий при сыне Русанова! А ведь Русанов-то старший обещал, когда я его спас, своей правой рукой сделать. Заводы лесопильные под мое руководство отдать. Когда в Мезени Ружниковы от полного разорения вывернулись, втридорога заплатив за это, он про обещания-то забыл. Денег я ему тогда заработал, у-у-у... Господи, да мне бы десятую часть тех денег — я бы сейчас миллионером был. А миллионером почему-то он и его сынок. Я и тебя в честь него назвал — крестный он твой, а что толку? Нищие мы.

— Да какие же мы нищие, папенька? Вон и дом какой, да и деньги есть.

— Дурак! Неужели ты думаешь, что это все я заработал у Русанова? Как же, жди!.. Не у Русанова, а на Русанове!.. Ты же взрослый и должен это понимать. Батеньку моего разорили карточные мошенники, а я их потом нашел, и они стали мне помогать. Русанов отца моего знал и меня помощником к себе взял. А когда у него мезенские лесопильные заводы сгорели и он, как мой батенька, тоже к петле потянулся, я его и спас. Нашел тех шулеров, и они обыграли Андрейку Ружникова, а через него и всю их семью разорили и денег Русанову не на один завод заработали. Все было мной сделано: через векселя, через подставных людей, через купленный суд. Ружниковы потом годами из кабалы вылезали — все продали, чтобы свой лесопильный завод спасти... А я как простым служкой был, так и остался. Забыл про меня Русанов. Забыл!.. Мне всего-то шестнадцать лет было, когда батюшка нас нищими оставил. А я уже через полгода Русанова спас. Уж тридцать лет прошло, а я все жду благодарности. Дождусь ли?.. Как же — на смертном

одре!.. Хозяин-то совсем стар, седьмой десяток вытоптал, вот-вот на погост снесем. А как снесем и сын Алексей станет единственным во главе всех дел — так нас и выкинут. Держимся только на хозяйском слове... Да, есть у нас дом, есть деньги, не так много, как хотелось бы и как заслуживаю... но это все не то. Пойми ты — не то! Надо, чтобы все было наше! Всё! Значит, пока не поздно, надо принимать меры... При старом хозяине надо стать единственными управляющими его богатствами. И без Алексея!

— О чем это вы, батюшка?

— О том, что все эти богатства должны быть моими, а потом твоими... Сына надо с дороги убирать! А внучку русановскую, как единственную наследницу по завещанию хозяина, за тебя выдать.

— А жена сына?

— Наталья-то? Она не жилец — чахотка у нее. Долго не протянет. Да и не станет хозяин на нее свои богатства переводить. Он в случае смерти сына ее будет считать виновницей. Если, конечно, все будет так, как я задумал. Понял сейчас?

— Понял... Только страшно... Очень!..

— А ты ничего не слышал. Пока. Твоя задача — девушку не упустить!..

Странные события стали происходить в доме Русановых. Сын хозяина, тридцативосьмилетний Алексей, прежде за всю жизнь ни разу не чихнувший, не курящий, практически непьющий — так, бокал шампанского или рюмка водки, сильный, здоровый мужчина, любящий отец и муж, вдруг стал меняться в своем поведении: стал вспыльчив, раздражителен, срывался на прислугу по любому поводу, забросил дела, закрывался в своем кабинете и не выходил сутками, стал неряшлив, забывчив и нечистоплотен. Всех от себя отгонял и признавал только одного человека — не жену, не дочь, не отца... Аристарха Семенова!.. Даже когда положили в больницу к знаменитому доктору Бехтереву, признавал и ждал прихода только Аристарха. Поэтому и старались передать что-нибудь вкусенькое, домашнее через него. А Аристарх, казалось, не спал и не бывал дома —

все время около Алексея. Русанов-отец тратил деньги, возил сына по всем лучшим клиникам Европы, там старались лечить и никак не могли понять — почему этому больному из России становится только хуже и хуже...

Так длилось более года. В конечном итоге сознание Алексея Русанова помутилось совсем — его поместили в один из закрытых сумасшедших домов в Швейцарии, больше похожий на виллу в горах, где за ним ухаживал, как за маленьким ребенком, только что горшок не выносил, пятидесятилетний Аристарх Семенов. Станный пациент никого больше не воспринимал: выл, плакал, рыдал и успокаивался, только когда появлялся Аристарх, — радостно, как малое дитя, тянул руки к Семенову и начинал смеяться. Алексей умер и был доставлен безутешным Аристархом Ильичом в Петербург, где и был похоронен в семейном склепе на кладбище в Александро-Невской лавре.

Чуть-чуть отойдя от горя потери единственного сына, Николай Иванович Русанов вызвал к себе все это время безутешно плачущего Аристарха Семенова.

— Аристарх, я на долгие годы забыл о тебе, а ты все это время был мне предан. Тридцать лет назад ты меня спас. Сейчас, я знаю, готов был жизнь отдать за моего сына, но господь рассудил иначе. Я бы все деньги отдал лишь бы найти и наказать того человека, который толкнул моего сына на эту смертельную дорогу. Но сына мне уже не вернуть. Я прошу тебя, Аристарх, взять на себя все заботы о моих заводах и капиталах. Сам понимаешь: только покажи слабинку — и все пойдет прахом. Это со мной уже было, ты лучше всех знаешь. Вводи в курс дел своего сына, моего крестника Николая... Наталья уезжает в Италию. По-видимому, навсегда. Денег для нее не жалею. Хотя в первую очередь ее и того, кто пристрастил моего сына к этому смертельному зелью, я считаю виноватыми в смерти моего сына. Это она не уберегла Алексея! Но она мать моей внучки. Скажу тебе одному: я составил завещание в пользу Татьяны. После моей смерти она наследница всех моих дел и капиталов, и я прошу тебя — будь при ней вместо отца! Сиротиночка моя, — Русанов старчески заплакал, — бед-

ная моя девочка... Странно то, что она выбрала совсем не женскую профессию — поступила в этот непонятный женский медицинский институт. Хочет стать врачом и лечить людей, а должна бы выйти замуж и рожать детей. Что происходит в мире?.. Аристарх, помогай ей! И прошу, приходи ко мне в любое время, если нужен мой совет, а так я тебя жду с докладом каждый понедельник. Я переезжаю на следующей неделе в загородный дом — туда, в Ораниенбаум. Вот туда и приезжай. Бумаги на твое имя я все приготовил... Этот кабинет, как я уеду, твой!..

Старик заплакал, и верный Аристарх Семенов стал его утешать, клясться, что все дела его будут в полном порядке, и благодарить своего хозяина за доверие...

— Поезжайте, Николай Иванович, отдохните — все будет хорошо. Я вам обещаю.

— Я тебе верю, Аристарх, как тогда, верю... Ты единственный...

В делах, совершенно запущенных за два года, пока болел Алексей, с приходом Аристарха Семенова сразу наступил порядок. Почувствовалась грамотная, жесткая рука. Были выявлены махинации с финансами, и большинство работников были с позором выгнаны со службы. Остались только самые надежные, нужные и преданные Аристарху люди. Ни одна копейка, ни одно бревно и доска на заводах, ни один куль муки на мельницах, ни одна шкурка ценного меха, ни один вексель не проходили мимо зоркого глаза Аристарха. И сына Николая он вводил в дела, но замечал — нет в нем его, семеновской хватки. Тихий какой-то. «Убогий!» — зло думал и ругал за это свою тихую и беспрекословно ему подчинявшуюся жену. «Это ты, твое семя виновато!» — кричал на нее дома. А та, опустив голову и со слезами в глазах, пряталась в своей спальне. Аристарх, как стал управляющим всеми делами Русанова, к жене в спальню не заглядывал. Покрикивал только: «Карга старая!..» Но работу знал и любил. Допоздна сидел с бумагами в кабинете и уже с утра, когда все еще спали, уезжал на заводы. Дважды за один год съездил в Мезень, выправил там все дела. На стоящем ниже по течению реки «ружниковском» заводе управляющим

был какой-то веселый и шустрый малый. Аристарх с вертким малым быстро нашел общий язык. Посидели тихо вдвоем, что да как... и договорились. И потихоньку русановский завод стал все больше и больше поставлять пиленой доски за границу. Бревна, предназначенные заводу Ружниковых, странным образом не доплывали по реке и заворачивались к заводу Русанова. И эти дополнительно распиленные бревна уже нигде не фигурировали и по бумагам не проходили, и деньги за их продажу Аристарх брал себе, не платя в казну ни копейки налогов. Аристарх сильно рисковал, понимая, что если его махинации откроются, то скорее всего он пойдет на каторгу и будет до окончания своей жизни рубить лес для этих или других заводов. Об этих деньгах не знал никто, включая сына Николая. Аристарх складывал их где-то за границей империи, «на старость».

А старый Русанов не мог нахвалиться на своего управляющего:

— Ты, Аристарх, чем-то напоминаешь меня в молодости. Молодец! Расскажи, как там мой завод в Мезени? С него я начинал своя путь — мальчишкой еще. Ружниковы-то еще своим заводом управляют? Эх, разорить бы их. Да это уже не в моей власти, скоро помру. А вот ты, Аристарх, может быть, и сможешь... А может, и не надо? Все-таки Ефремка-то покойный точно не виноват был... Господи, как время-то быстро пролетело. Уж Ефремки давным-давно нет на свете... Задержался я... — Русанов, промышленник и почетный дворянин, заплакал...

— Я хотел бы поговорить с вами, Николай Иванович, по одному щепетильному, я бы сказал, «сердечному» делу.

— Как ты сказал? Сердечному? Ну и завернул... Я тебя, Аристарх, слушаю.

— И я не вечный Николай Иванович...

— Ну-ну, прекрати... — перебил Русанов.

— Я не вечный. Мне уже пятьдесят. Я стараюсь делать все, чтобы ваши капиталы не только сохранялись, но и множились...

— Да, ты молодец, Аристарх... Но к чему ты заговорил о неизбежном? Тебе-то еще ой как рано.

— Кто после нас, Николай Иванович, будет капиталы-то ваши сохранять?

— Так сын твой, да и внучка моя, надеюсь, за разумного человека замуж выйдет...

— Сына моего всё стараются переманить в другие доходные дома, говорят: талант у парня! Да и если женится, то сразу — отрезанный ломоть. А внучка ваша вдруг за какого прохвоста, прощелыгу или карточного шулера замуж выйдет — и разорит он ее и весь ваш род? Вспомните молодость-то вашу.

— Ты к чему это? — задумчиво, но со страхом в голосе, спросил старый Русанов.

— А к тому — не поженить ли нам их?

— Кого?

— Внучку вашу Татьяну и вашего крестника, моего сына Николая...

И вдруг Русанов задорно и молодо засмеялся:

— Ой, уморил, ой, насмешил ты меня, Аристарх. Шутишь? Или нет? Как это дворянку, миллионершу, мою внучку — и за твоего сына? Да разве они ровня? Да неужели ты думаешь, что я свои капиталы зарабатывал, свое почетное дворянство заслужил, чтобы вот так взять и отдать замуж единственную наследницу за первого попавшегося?

— Как за первого попавшегося? Что такое вы говорите, Николай Иванович? Сын-то мой не первый попавшийся, он же у вас на глазах вырос, крестник ваш. И разве он не достойная пара вашей внучке? А если полюбят друг друга?

— Полюбят?.. Как это полюбят... и без моего согласия? Не бывать этому, — Русанов задохнулся, выговаривая. Чуть отдышался, вытер выступившие слезы и уже спокойнее сказал: — Ну если только по любви. И об этом скажет мне она, а не ты... И даже если скажет — я этого не хочу!..

У Аристарха лицо перекошилось от злости, но он быстро сменил гнев на улыбку и сказал:

— Хорошо, Николай Иванович, — а когда вышел, тихо рассмеялся и прошептал: — Скажет, ой как скажет. И не она — ты скажешь! Потому что я так хочу!

VI

Род Сибирцевых — у-у-у какой древний. Из беглых крепостных крестьян, что на Дон убежали, а оттуда с Василием Тимофеевым сыном Алениным, Ермаком, в 1581 году от Рождества Христова пошли Сибирь для Московской державы завоевывать, чтобы та уже не Московской, а Великой Россией стала. Отсюда и фамилия такая пошла. До этого прозвище имелось, но какое — не помнит никто. Потом предки, согласно семейным летописям, с казачками князя Трубецкого Москву от поляков освобождали. Трубецкой-то за такие заслуги перед отечеством в самой Троице-Сергиевой лавре похорон удостоился — так что еще неизвестно, кто Москву освободил: Минин с Пожарским или Трубецкой? Одно правда: кабы не Трубецкой, Пожарский битву за Москву не выиграл бы... А Сибирцевы затем в той же Москве уже стрельцами стали — надолго. До сотника дослужился Афанасий Сибирцев. В оба похода под Азов ходил — полумертвый вернулся, но выжил. И «Софью в государыни» кричал, а потом подговорил своих товарищей и ушел одним из первых к будущему царю Петру и сотню стрельцов с собой привел. Петр в губы целовал, за уши драл и присвоил Афоньке сразу звание сержанта своей гвардии. Царь-то сам поручиком в ней состоял. Ухватил предок Сибирцевых судьбу за чуб и уже не отпустил и выиграл. Потом, в многолетних петровских баталиях весь израненный, Афанасий Сибирцев и поручика, и дворянство получил. Первый русский император умный был — издал «Табель о рангах» и обезопасил себя от вечной боярской грызни: кто из них «старше» да к Рюрику поближе. Не стало боярского старшинства — появились заслуги перед отечеством. Не без изъянов, конечно. Так ведь Русь!.. И пошло у Сибирцевых: в роду все мальчишки, и все — военные. Нарва, Берлин, суворовские походы... Крым... Аустерлиц, Бородино, Париж... Балканская война... Славный военный род — в генералы вышли, а при Екатерине Великой — еще и в графы. Невероятной ловкостью и силой обладали все Сибирцевы: в казачестве могли на скаку противника

одним сабельным ударом разрубить на две половинки, генералами пушки могли тащить вместо лошади и стройными были от молодости до глубокой старости, да необычной голубизны глаза сверкали. Правда, до старости мало кто доживал: в войнах за царя и отечество головы чаще складывали.

У графа и генерала от инфантерии Сергея Александровича Сибирцева родилась дочь, и больше детей не было. И понял граф, что роду его конец, потому дочь не любил, за родное дитя не признавал. Считал, что был бы сын, так и умирать на поле боя не страшно, а так... одни ранения. Он даже не сильно и плакал, когда жена от болезни умерла. Нет, любил, конечно, но за девку ругал. И все воевал. Дочь Маша воспитывалась няньками и отца не особенно и знала, а уж об родительской ласке и говорить не приходилось... А когда выросла и влюбилась в неизвестно кого и родила сына, которого назвала в честь своего отца Сергеем, то генерал Сибирцев вместо радости от рождения внука, посчитав это насмешкой и над собой, и над всем своим знаменитым родом, так застрашал бедную девушку, что она от него сбежала вместе с ребенком. «Ну и черт с ними!» — сказал генерал и поехал на очередную войну. Правда, чтобы разговоры досужие сбить, немного поискал дочь — не нашел и плюнул. А там война с Японией — не до дочек, когда за спиной триста лет войн и сражений, и пошел кровь проливать, думая: «Убьют — и ладно! Все равно роду конец!» Никак не мог примириться с мыслью, что внук не только его имя носит, но и фамилию. Считал — незаконно!

Войну с позором проиграли, и генерал Сибирцев впервые и первым из всего своего славного рода возмутился, сказав, что он присягал еще Александру Освободителю, а не нынешнему бездарному военному руководству. Государь Николай Александрович, хотевший его ввести в Государственный совет, посчитал, что это сказано в его адрес, и отправил генерала в почетную отставку. Поблагодарил и подарил икону на память — любил император иконы и собственноручные фотографии дарить, слабость у него была такая.

Сибирцев оскорбился, дом в Петербурге продал и все вырученные деньги на солдат-инвалидов потратил, а сам уехал в свой загородный дом под Ораниенбаумом и там закрылся, никого не принимая... Дом этот он купил еще до русско-японской войны. В нем какое-то время жила дочь с маленьким сыном. Отсюда и убежала. Дом хороший: деревянный, двухэтажный, большой — пять комнат, гостиная, столовая, кухня, веранда: сараи и сосны. Тишина — одни птицы поют. Сосед — какой-то промышленник, вообще не появляется. В доме было по-современному: телефон, титан для нагрева воды, ручная колонка, чтобы воду нагонять в титан и большую бочку под крышей — были раковины, унитазаы и ванная комната. Не было одного — счастья...

И только в этот момент наступившего одиночества Сибирцев до боли в сердце вдруг понял, как он одинок и как он виноват перед дочерью... «О, боже, что же я наделал? Где моя дочь и где мой внук Сергей?» — подумал и впервые в жизни испытал страх и перекрестился на подаренную государем иконку. «Сколько же лет прошло, как пропали? Господи, больше десяти!» Достал, пылившийся на антресолях, заброшенный туда в злости за побег портрет дочери с маленьким сыном, написанный самим Репиным, и повесил в гостиной комнате на видное место, как посчитал — себе в укор до конца дней... Развесил многочисленные сабли, шпаги, шашки — золотом украшенные, с орденами на расписанных темляках, не купленные для красоты — подаренные Сибирцевым государями и государынями за воинскую храбрость и доблесть. Мундир генерала от инфантерии со всеми орденами свернул и спрятал глубоко в сундук. Замкнулся и еще больше отдалился от светского общества, которое и раньше не понимал и не любил. Любил-то одно — войну! Войны для него не стало — не стало и смысла в жизни. И соседей не любил — какой-то купец, лесопромышленник, хотя и дворянин, и фамилия вроде хорошая, русская — Русанов... а не свой, порохом не побитый. Была у Сибирцевых вотчина с домом и крестьянами на Дону, подаренная к графскому званию еще государыней Екатериной, но Сибирцевым бы повоевать, славы да на-

град, а крестьяне так, да и помнили, откуда корень их рода произошел. Сергей Александрович, как в отставку вышел, землю барскую крестьянам раздал, а дом отдал своему денщику Василию, что много десятков лет верой и правдой служил на всех войнах своему генералу. В Ораниенбауме из слуг — горничная Фекла, расторопная местная баба, и Федор — на все руки мастер: и истопит, и починит, и дров нарубит... Генерал даже за лопату взялся: посадил яблоньки и березки. Все покоя искал и не находил... И так-то бородатый — под императора Александра Александровича, а тут совсем бороду «лопатай» отпустил. Одни голубые глаза видны. Пристрастился к чтению, особенно к Толстому, но его учение непротивления злу насилием не понимал и не воспринимал. За событиями военными следил внимательно. И газеты, чего не делал с юности, стал почитать. Много узнал. И многому удивлялся.

VII

Прошло несколько лет такого затворничества, когда в один из дней к графу Сибирцеву приехал профессор Петербургского университета Илья Петрович Боков. Граф, как всякий русский генерал, интеллигентов не любил. Особенно после позора с дочерью — считал, что именно учеба на Бестужевских курсах повлияла на нее и привела к ее побегу из родного дома. Но профессор Боков был известным человеком в петербургском обществе, отличался независимостью взглядов, во многом несовпадающих с мнением властей, особенно в вопросах государственного устройства России. Попав в опалу, Сибирцев, газеты и книги читая, вдруг с удивлением узнал, что в России далеко не все ратуют за царя, особенно студенчество и преподаватели университетов, а фамилия профессора Бокова наиболее часто упоминалась в газетных статьях. Профессор настоятельно просил о встрече, и Сибирцев согласился принять его. Генералу захотелось послушать умного человека — одиночество стало угнетать графа, и он уже неоднократно подумывал о конце своих дней.

Илья Петрович Боков, известнейший петербургский ученый, философ, преподавал в университете уже не один десяток лет, слыл большим умницей и великолепным оратором и был необычайно популярен среди студенческой молодежи. Появившиеся после русско-японской войны крики к свержению монархии не поддерживал, но ратовал за конституционное переустройство страны, полную свободу крестьян, создание народных предприятий, а в философии утверждал, что Бог — воплощение силы, красоты и добра. И был противником разрушения этой связи, утверждая, что противопоставление человека природе, возвышение над ней приведет к гибели человечества. Культуру, духовность, свободомыслие считал главным завоеванием человека. В противоположность Льву Толстому считал, что насилию надо сопротивляться. Чиновников считал «убогими» людьми и полагал, что государство и религия должны быть едины. На его лекции студенты, и не только родного университета, ходили толпами — на скамьях жались, в проходах сидели и стояли. Изумительный рассказчик, худой, высокий, с аккуратной бородкой и лысой головой, профессор, живо жестикулируя необычайно длинными пальцами, излагал, не запинаясь, без единой бумажки, свои мысли. Когда его сын, подающий большие надежды в науке, студент университета, оказался участником убийства министра Плеве и был осужден на каторгу, профессор растерялся — не мог в это поверить, а когда через несколько лет дошла весть, что сын бежал с каторги и пропал, а жена профессора, узнав об этом, упала на пол и умерла, — Илья Петрович, в горе, уволился из университета, закрылся дома и только ходил каждый день на кладбище к могиле жены, где сидел тихо на скамеечке, разговаривал — всё хотел умереть. Спасли студенты: пришли на квартиру и стали умолять вернуться на кафедру. Понял: сына не вернуть, а что-то доброе, необходимое людям сказать еще можно, — и вернулся.

Когда раскланялись, поздоровались и прошли в гостиную, Илья Петрович сразу подошел к портрету дочери генерала и сказал:

— Сергей Александрович, это и есть ваша дочь Маша и ваш внук Сергей?

— Профессор! — возбужденно вскрикнул Сибирцев. — Илья Петрович, вы знали мою дочь? И внука?!

— Он и мой внук, Сергей Александрович!

— Что?! О Господи! Скажите, быстрее скажите, что вам известно о них. Я не знал, что ваш сын это... отец Сергея... она не говорила... О, если бы я только мог все изменить! Что вы знаете, говорите!

— Я и сам узнал об этом недавно. Мне прислал письмо друг моего сына, в котором он все рассказал о вашей дочери Маше и Сергее. Что она приехала к моему сыну на каторгу и они бежали вместе...

— Как на каторгу?

— Мой сын участвовал в покушении на министра внутренних дел Плеве...

— На Вячеслава Константиновича?..

— Да. И мой сын, и его друг были сосланы за его убийство на каторгу.

— Боже мой! Но прошло столько лет. Где теперь их искать? Живы ли они? Боже, что же я наделал?

— Не вы один, Сергей Александрович. Мы... оба! Давайте искать вместе. У вас же есть связи в Министерстве внутренних дел. Надо все выяснить об этом побеге. Откуда бежал мой сын? Когда? Поступали ли в это время какие-то сведения о неизвестной семье? Это наша с вами отцовская обязанность — найти детей и внука...

— Да-да-да! Как вы правы, Илья Петрович. Пойдемте в кабинет, там уютнее, и поговорим. Я пока распоряжусь накрыть стол. Если бы вы только знали, Илья Петрович, как я рад вашему приходу! Господи, у меня появился смысл в этой жизни. Я уже собрался умирать, а теперь нет — у меня есть цель в этой жизни, и я не буду Сибирцевым, если ее не добьюсь!..

Сергей Мезенцев и в Петербурге свою страсть к парусникам не забросил. К Дмитрию Васильевичу за деньгами не обращался — все свободное время, все каникулы ра-

ботал в торговом доме у Афанасия Ефремовича и честно заработал на небольшую, под одним парусом яхту, на которой в белые летние ночи плавал по Финскому заливу. Таких влюбленных в яхты молодых людей в столице империи было много — целый клуб организовали, и никаких званий и регалий... Сам дядя императора, Михаил Александрович, в клубе состоял.

И Татьяну в такие белые ночи катал. Либо от яхт-клуба, если она была в городе, либо приплывал за ней в Ораниенбаум, если гостила у деда, — заберет, и вместе плывут вдаль, к финским берегам, к Выборгу. У Татьяны дед в последний год безвылазно жил на даче под Ораниенбаумом, а она его каждое воскресенье старалась навещать. Очень любила деда. Единственный, кто у нее остался, — мать была далеко, в Италии.

— Сережа, давай я тебя познакомлю с моим дедом, — говорила девушка. — Он у меня хороший, да и Колька Семенов от меня отстанет. Все время по пятам за мной ходит и поет: «Выходи за меня замуж... Выходи замуж!..»

— А ты что? — в голосе Сергея прозвучала нескрываемая нотка ревности.

— Да ты на него бы посмотрел — урод.

— А он что делает в вашем доме?

— Он сын управляющего Аристарха Ильича Семенова. Тот после смерти папеньки все дела под себя подмял, — Таня, не скрываясь, заплакала. — Бедный папа. Как мне его не хватает.

— Он что, болел?

— Он умер странно и загадочно — от наркотиков. Он в жизни даже не пил и не курил, а тут раз — и... вылечить не могли. Дедушка по всем клиникам Европы возил — нигде не смогли помочь. Когда папа умер, Аристарх и привез из Швейцарии.

— А почему Аристарх?

— Так папа, когда болел, только его признавал и одного его к себе допускал.

— Странно. Психиатры считают, что такое отношение бывает у больных только к людям, от которых они зависят.

— Да ты что? Аристарх в нашей семье тридцать лет. Мама говорила, что он деда от разорения спас. Вот и сейчас все дела дедушкины ведет. Некому после папеньки. Дедушка старый, да и после этой смерти папы ничего не хочет — закрылся в своем доме в Ораниенбауме и никого не принимает. Только меня и Аристарха.

— А твоя мама?

— Она у меня болеет. Врачи говорят: чахотка. Она живет в Италии. После смерти папеньки она уехала и приезжает иногда, только чтобы увидеть меня и сходить на могилу к папе, и сразу уезжает. Ненавидит этот город. И Аристарха ненавидит. А дед почему-то считает ее виновницей смерти папы. Он, конечно, неправ, но его невозможно переубедить. Ты думаешь, почему я учусь в медицинском институте? Я очень хочу спасти людей...

— И кто же хочет тебя выдать замуж за этого Колю? Дед? Мама? Или Аристарх?..

— Не знаю и знать не хочу.

— Поплыли, Таня.

— Да, Сережа, поплыли, туда — вдаль, к тем островам. Там так хорошо, так тихо и покойно...

Загородный дом Русанова старый, построен давно, еще в молодости Николая Ивановича. В этом доме родился единственный сын и много лет счастливо жили Алексей с женой Натальей и маленькой Таней. Сейчас в этом доме жил старик Русанов. Не любил он этот дом — к лени приводил этого неумного и трудолюбивого человека. А вот на старости лет пришлось, точнее, сам переехал из города, до того тяжело стало среди камней жить. Да и не жил уже, так, существовал. Но о внучке тревожился — хотел дожить до счастливого дня, когда поведет ее к алтарю как невесту. Казалось, только это держало и не давало умереть.

— Внучка, куда ты каждую ночь, как приедешь, убегаешь из дома? — спросил Татьяну Николай Иванович Русанов. — Я за тебя очень беспокоюсь.

— Кто тебе об этом сказал?

— Аристарх.

— Понятно. А ему его сынок, Николай?

— Может быть, а что в этом плохого? Они за тебя тоже беспокоятся.

— Дедушка, я не ребенок, чтобы за мной следили.

— Ну о чем ты внучка? Они, как и я, за тебя переживают. Ты же одна.

— Конечно, одна: папенька умер, а мама уехала... на-совсем. Ты Аристарха вместо папеньки над своими делами поставил, а он потом приберет все твои заводы себе. Ладно, это твое дело, но не моим же родителем он стал? Да еще со своим сыночком.

— Кстати, как тебе Николай? Нравится?

— Дедушка, ты его давно видел?

— Он мой крестник, и этого достаточно.

— Он за мной ходит — не оторвать. Лучше бы спортом занялся — прыщей меньше бы стало, да и соплей тоже. А ведь мужику двадцать пять. Дед, ты какой был в двадцать пять?

— У-у, Танька, — вдруг заодно и молодо сказал Русанов. — Я сутками работал, чтобы стать богатым человеком. Я ведь из простой семьи, у меня батя кузнецом в деревне был, а я своим трудом стал и миллионщиком, и почетным дворянином. У меня тогда и в мыслях заводов не было, я только очень хотел вырваться из своего крестьянского, безграмотного, закабаленного круга. И вырвался!..

— Какой ты молодец, дедушка!

— Не юли! Я еще совсем-то ум не потерял. С чего я начал? Где ты, любимая внучка, бываешь по ночам?

— Я катаюсь на яхте по заливу.

— А-а?! Что ты делаешь?

— Катаюсь на яхте.

— С кем?

— С Сергеем.

— Это кто?

— Он будущий военный хирург. Учится в Военно-медицинской академии.

— О господи! Ты с ума сошла? Тебе сколько лет?

— Девятнадцать, дедушка. И ты не думай ничего плохого. Он очень хороший.

— Хороший? Да им всем нужно только одно — мои деньги!

— Дед! Может быть, Аристарху и его сыночку и нужны твои деньги, но Сергей не такой. И почему ты обо мне не подумал? Может быть, ему нужна я? Дедушка, ты свою жену любил?

— А-а? Как ты можешь? Я твою бабушку до ее последних дней любил. Может, мало — работа да деньги для меня всегда были на первом месте, но я считал, что, давая ей достойную жизнь, я доказываю ей свою любовь. Я так думал... Сейчас уже у нее не спросишь... Не уходи от вопроса — что у тебя с ним?

— Не знаю, дедушка... но мне кажется, я его люблю... — покраснев, тихо проговорила Татьяна.

— Я запрещаю тебе плавать по заливу. Запрещаю!.. Ты единственная моя наследница и подвергаешь себя такому риску. Что с тобой? Ты всегда была разумной и взвешенной девушкой. И вообще подумай, а не пора ли тебе замуж? Скажем, за Николая Семенова.

— Никогда! Я скорее вообще не выйду замуж, чем за сыночка Аристарха.

— Дался тебе Аристарх. Не за него же предлагаю замуж выйти. Пойми — без Аристарха все мои богатства могут превратиться в пыль!

— Дедушка, ты что, хочешь меня продать ради сохранности твоих денег? Дед!..

— Не моих, а твоих денег. Я хочу, чтобы ты была богата и счастлива.

— Дедушка, ты попутал счастье с деньгами...

— Без денег счастья не бывает...

— Для твоего крестника — может быть, но только не для меня...

— Ладно, поговорили. Я устал, уходи... — и в спину уже уходящей внучке: — Приведи его сюда в следующее воскресенье. Я на него хочу посмотреть. Хирург, говоришь? Интересно. Но только прекрати плавать на лодке.

— Это не лодка, дедушка, — яхта. А это не одно и то же.

— Ну ступай-ступай... Может быть, и не одно и то же, а вот море везде одинаковое — грозное!

А в доме Семеновых происходил другой разговор.

— Ты олух, размазня! — кричал на своего сына Аристарх Семенов. — Я узнаю от нанятых мною людей, что Танька встречается с каким-то парнем. И серьезно встречается — можно сказать, любовь у них, а ты все ходишь вокруг да около.

— Батюшка, она меня видеть не хочет. Я к ней, а она от меня.

— Ты, такую мать, ничего не можешь без меня! Ничего!.. Можно подумать, это я должен жениться.

— Батюшка, я не знаю, что мне делать? Может, ничего этого и не надо? У меня же есть девушка, которая мне нравится.

— Что ты сказал? Какая девушка? Кто она?

— Ну, одна девушка из простой семьи. Зовут Авдотьей.

— Из простой семьи? Ты — недоумок! Ты на какие деньги с этой Дуней жить собираешься? На мои? Вот тебе!.. — Аристарх сунул фигу сыну в лицо. — Вот — видел? Женись на Таньке, а потом все Маньки, Дуньки — твои. Всё. Про девку свою забудь. Только Танька. Ходи за ней день и ночь, не давай ей встречаться с этим парнем. А я узнаю все о нем... Пошел вон!..

Аристарх Семенов заходил по комнате, от злости погрыз крепкими зубами кулак и как-то сразу успокоился. Посмотрел на окно и прошептал:

— Пора действовать...

Прошло три месяца и Русанов, встревоженный, вызвал к себе в неурочное время Аристарха Семенова.

— Аристарх, мне звонила невестка. Ты почему-то не посылаешь ей денег? В чем дело, Аристарх? Я просил тебя ее в деньгах не ограничивать.

— Николай Иванович, ситуация с деньгами далеко не такая, как вначале думалось. У вас оказалось очень много долгов, которые наделал ваш покойный сын. Он... во время болезни... подписал разных векселей на очень большие

суммы. И я даже не знаю, сколько их. Кредиторы идут и идут. Похоже, вы разорены...

— О чем ты, Аристарх? Ты же говорил, что у нас все хорошо? И как Алексей мог подписывать долговые бумаги?

— Я тоже этого не знал, хозяин, но ситуация такова, как я вам говорю. Нам нужны деньги. Необходимо либо занимать у друзей, либо брать ссуды в банках.

— Даже так? И о какой сумме идет речь?

— На сегодня — три миллиона рублей.

— О господи! Сколько? Не может быть!

— Да, такая сумма, Николай Иванович. Что прикажете делать?

— Узнай, скольким все-таки мы должны и кто они? Составь список с фамилиями и суммами и передай мне. Переговори с банками о возможности долгосрочных ссуд. С друзьями я переговорю вот по этой штуке, — Русанов показал на телефон и продолжил: — Правда, я не уверен, что они у меня еще остались. Большинство уже... там. Господи, за что мне такое? Лучше бы я умер. Аристарх, спасай! Вся надежда на тебя. Спасешь — проси что хочешь!..

— Вы знаете, чего я хочу.

— Чего?

— Если я спасу вас от разорения, вы отдадите свою внучку Татьяну за моего сына?

— Хочешь все мое богатство под себя забрать через эту женитьбу? Я же тебе сказал, что только если об этом скажет сама Татьяна.

— Ну что ж, Николай Иванович, пусть ваша внучка тогда по миру и идет. Я-то как-нибудь с сыном переживу. Я ведь хотел ее и вас спасти. Не обессудьте и прощайте...

Старый Русанов посмотрел долгим взглядом на Аристарха, тяжело вздохнул — как заплакал и потом тихо-тихо произнес: «Хорошо... — а когда Семенов вышел, как-то беззащитно, пусто глядя перед собой, добавил: — А ты, Таня, говоришь, хирург...»

VIII

Иван Меркулов, профессиональный революционер, проживал в тихой Швейцарии и изнывал от, как ему казалось, безделья. Вся и работа — помогать пересылать работы Владимира Ульянова, по партийной кличке Ленин, тайными каналами в Россию. И всё! Каково это террористу и беглому каторжнику. Два года назад он в очередной раз бежал с каторги, и товарищи по партии социал-революционеров, ее боевому крылу, возглавляемому Борисом Савинковым, помогли перебраться за границу, что при полном попустительстве министерств внутренних и иностранных дел российской империи было плевым делом. Он с легкостью попал из Финляндии в Швецию, а оттуда в Германию и дальше в Швейцарию. Здесь, в любимом всеми русскими революционерами раю, он и познакомился с Владимиром Лениным, возглавлявшим большевистское крыло российских социал-демократов. В названии партии было еще слово «рабочая», но особо рабочих в этой партии не было, да и партия не имела никакого политического веса в России. На нее даже царская охранка внимания не обращала. Вот «савинковцы» — те да, для государства были врагами, и их боялись... А эти, большевики, были какие-то тихие, убогие, всё лозунги, цитатки из книжек заумных произносили и обращались, как к Библии, к книгам какого-то неизвестного никому еврея Карла Маркса. Потому, наверное, в этой партии и состояли в основном одни евреи. В общем — ерунда! Детская игра какая-то. И Иван, эсер-максималист, тоже считал, что ерунда, но, встретившись с Лениным, послушал его, и тот, как маг, загипнотизировал Ивана своими речами, особенно нажимая на его университетское образование.

— Вы же, Иван Матвеевич, умный и образованный человек, — говорил, немного картавя, Ленин, — и должны понимать: не Герцен, а мы, большевики, разбудим Россию. Не его «Колокол», а наша «Правда» — вот тот звон, который поднимет русский народ на борьбу с самодержавием.

— Неужели, Владимир Ильич, вы верите, что газетками и книжками можно свергнуть царя? Только террор и страх может разрушить империю.

— Ну хорошо, всех вы расстреляли и взорвали, а дальше что?

— Как что? Страна свободных людей: земля крестьянам, фабрики рабочим.

— И дальше что?

— Ничего — свобода!

— А вот и нет, батенька. Плохо вы знаете историю рода человеческого. Появятся новые помещики и новые фабриканты. Снова будете стрелять?

— Будем!

— Ничего у вас не получится, и знаете почему? Потому что за вами нет революционных масс, нет идеологии — одни выстрелы. Да, вы считаете себя героями, и нынешняя молодежь готова вам подражать — как же, такое бесстрашие: на смерть идут ради свободы народа! На Руси всегда к таким людям уважение было. Но где лозунги, которыми вы сможете повести за собой не сотни молодых людей, а тысячи, миллионы, весь трудовой российский народ? Где? Нет их!

— Как это нет? А земля крестьянам, фабрики рабочим? Это что, не лозунги?

— Мы уже договорились, что они ни к чему не приведут. Что значит земля, отданная крестьянам? Тогда зачем надо было бросать бомбы и стрелять в Столыпина? Он же как раз был за то, чтобы землю отдать крестьянам. И скажу вам прямо: если бы его не убили, то он очень, очень далеко продвинулся бы в разрешении крестьянского вопроса. А Россия — крестьянская страна. И тогда ни вы — эсеры, ни мы — социал-демократы не смогли бы даже подумать о завоевании власти. Крестьянин бы нам не позволил этого сделать.

— Вот видите, Владимир Ильич, вы сами себе противоречите!

— Ничуть! Главное, кто эти лозунги будет реализовывать?

— Как кто? Народ!

— Чепуха! Что такое народ? Это неорганизованная толпа. А кто его может организовать на борьбу, на восстание? Партия, и только партия! Наша партия. Партия социал-демократов, большевиков. Потому что за нашей партией идеология!.. А ваши бомбы вторичны. Один листок «Искры», одна страница «Правды» сделают в десятки, нет, в тысячи раз больше, чем все ваши бомбы.

— Мне помнится, «Искра»-то не ваша, а плехановская.

— Плехановской она стала в девятьсот третьем, а до этого она три года была общей газетой. И создал ее я.

— Но и среди большевиков я встречал на каторге таких же террористов, как я.

— Прошу пример.

— Меня на каторгу в Сибирь отправили. С нами рядом ссыльных везли. Один был ваш — большевик, а посадили как уголовника за бандитизм, за нападения на карету казначейства и на богатых граждан. Правда, повезло — отправили в ссылку в Вологду.

— И как звали того бандита?

— Сейчас вспомню... Иосиф... Джугашвили.

— Такого не знаю. Но сами понимаете: в семье не без урода.

— Точно! Думаю, на кого он был похож: маленький, сухой, злой, рука скрюченная, и взгляд как у зверя — желтый... На дьявола он был похож!..

— Тем более не наш. Зачем нам дьявол? Мы ни в бога, ни в черта не верим. К нам многие примазываются. Вот и этот бандит, наверное, тоже — партией же прикрыть свои истинные намерения легче... Я там, в Сибири, тоже в ссылке был. Необыкновенный край. А охота какая!.. И Наде там понравилось... Как же было там хорошо!.. Иван, скажите: у вас есть друзья?

— У меня было два друга, мы вместе учились в Петербургском университете.

— Почему были?

— Они погибли. Одного вы должны знать — Егор Сазонов.

— А-а! Это тот, который взорвал министра внутренних дел Плеве?

— Да, первой же бомбой. Я тоже там был. Нас всех отправили на каторгу. Егора в Сибирь, где он погиб, приняв яд, а меня с моим другом Владимиром Боковым отправили в Архангельскую губернию. Потом меня отправили дальше, а к Володе приехала жена с сыном, и он убежал. Чтобы запутать следы, убежал на север и пропал. Я больше ничего о нем не слышал.

— Что-то знакомое в этой фамилии — Боков.

— Его отец — известный профессор Петербургского университета Илья Петрович Боков.

— Да-да, вспомнил. Я изучал его труды по философии. Занятные. Необычные. «О сопротивлении злу насилием» — это он с критикой философии Льва Толстого. И что это за философия мира? Единство человека и природы. Нет, нет и нет, человек — венец природы, и он должен ею управлять! А тут любовь к природе, к своему дому, к заводу. Чепуха! У пролетариата нет своего дома и своего завода. А это: Бог — воплощение силы, красоты и добра. Чуть! А какой-то союз государства и религии? Мы, коммунисты, не можем признать такой философии. Первое, что мы сделаем, захватив власть, — отделим церковь от государства. Мы ее вообще уничтожим. Пока будет существовать церковь, будет существовать борьба с нашей идеологией; тайная ли, явная ли, но будет! При всем моем уважении к Бокову как человеку, у которого сын пошел на смерть ради идеалов свободы, философия профессора Бокова не только нам чужда и вредна — она смертельно опасна! Пусть сегодня такая философия разрушает чуждый человеку самодержавный строй, но разрушать наш будущий коммунистический строй мы не позволим. Мы никому этого не позволим! Вот так-то, батенька! Такая у нас, у коммунистов, философия. Ни Толстых, ни Боковых мы не потерпим!.. А что жена вашего друга?

— Маша была из очень знатной семьи. Ее отец — генерал, граф. А когда она родила от Владимира сына, без венчания, отец ее вообще невлюбил — не признавал ни

ее, ни внука. Когда нас отправили на каторгу, она от него сбежала к Владимиру. И все пропали... странно, как в воду канули.

— И что — никто не искал?

— Не знаю. Отец Маши, граф Сибирцев, тот точно не искал, а отец Владимира, может, и искал, не знаю. Он же о внуке ничего не знал. Я ему перед отъездом сюда, в Швейцарию, письмо послал и все в нем рассказал и о сыне, и о Маше, и о внуке Сергее. Хоть какое-то утешение для старика. Я сам без отца рос, так когда мы с Владимиром подружались, Илья Петрович относился ко мне как к своему сыну...

— Жалко. Очень жалко, когда погибают такие молодые люди. И это еще раз доказывает, что террором ничего не добиться. Необходимо захватить власть. И даже не захватить, а суметь ее удержать. А вот для удержания власти потребуется террор.

— Против кого?

— Против несогласных.

— А конкретно?

— А дворяне, а помещики... класс угнетателей. Это будет классовая борьба!

— Вы хотите сказать — война?

Ленин задумчиво посмотрел на Меркулова и, не ответив, спросил:

— А последний раз за что вас отправили на каторгу?

— Я участвовал в покушении на премьера Столыпина. Жаль, он живой остался — дом разлетелся на куски, а он живой. Не его бы адъютант, мы бы до кабинета добрались и бомбу бы прямо в него бросили. Я говорил товарищам, что у жандармов каски другие. Вот к нам тот генерал из охраны и придрался. Говорят, у премьера дочка с сыном инвалидами стали, а над Столыпиным только чернильница пролетела, забрызгав мундир чернилами.

— И чего вы добились? Особых скорорешательных судов, «стольпинского галстука» вы добились. Без защиты и без присяжных! А ведь суд — это та же трибуна! Вспомните дело Веры Засулич.

— Здесь я с вами, Владимир Ильич, пожалуй, соглашусь. Все наши боевые группы были разгромлены. Мы считаем, что в наших рядах, на самом верху, был предатель!

— Не знаю. Возможно. Значит, конспирация у вас была никудышная. Берите с нас пример... Но до Петра Аркадьевича вы все-таки добрались в Киеве.

— Вы имеете в виду Дмитрия Богрова?

— Конечно.

— Он не имеет никакого отношения к нашей партии. И никакой он не Дмитрий, он — Мордко Гершкович, еврей.

— Как это?

— Он анархист и в придачу был секретным осведомителем охранного отделения; у него даже кличка в охране была — Аленький.

— Да? Но он же сделал то, что вы хотели сделать!

— Если бы это сделали мы, то это было бы справедливо. Десятки наших товарищей пошли на каторгу и были казнены ради этой идеи, а совершил какой-то секретный агент охранки!

— Это говорит только об одном — это был заговор против Столыпина. Заговор царя! Вот вам еще одно доказательство, что ваша борьба бессмысленна. И чем кончил этот Богров? Как и ваши товарищи — веревкой.

— Ничего подобного, он покончил самоубийством в гостинице «Мадрид».

— Да?! Погляжу на вас, Иван, и начинаю вам верить.

— И правильно делаете, Владимир Ильич. Он ввязался не в свою борьбу и был наказан.

— И палачом были вы? Правильно?

— Возможно, — тихо ответил Меркулов.

— Вот она, разница в методах борьбы. Согласны?

— Может быть, вы и правы, Владимир Ильич, но все-таки когда же тогда может произойти революция в России?

— Я думаю, мы с вами не доживем. Наши дети — возможно, да.

— Так долго?

— А революции с ходу не делаются. Это не крестьянское восстание Пугачева. Это социальное переустройство всего

мира, потому что революция будет во всех странах практически сразу! И к ней надо самим готовиться и готовить трудовые массы. А вы, батенька, что думали: бомбу бросили — и революция? — Ленин задорно засмеялся. — Нет, мой друг, партия, и только партия, с идеологией, с железной дисциплиной может совершить такую революцию...

IX

Сергей уже дошел с Таней до калитки в ограде загородного дома Русановых, когда сзади раздался крик:

— Барышня, барышня! — молодые люди повернулись — к ним подбежала женщина. — Извините, господа, я горничная вашего соседа, графа Сибирцева. Скажите, у вас работает телефон? У нас в доме почему-то молчит, а надо вызвать врача.

— Я вас знаю, вы Фекла. Что-то случилось с Сергеем Александровичем? — встревоженно спросила Таня.

— Он спускался с крыльца, упал и сейчас не может встать.

— Да, конечно, пойдёмте быстрее, — сказала Таня и стала открывать калитку в доме Русановых.

— Пойдите, девушки, а больной-то где? — спросил Сергей.

— Вот дом графа Сибирцева, — Таня показала рукой на соседний дом.

— Сидит, бедный, на ступеньках... — всхлипнув, опять заголосила горничная.

— Тогда давайте сделаем так: я пойду и осмотрю больного — все-таки я будущий хирург, и как лечить травмы, меня учили, а уже потом позвоним вашему доктору. Согласны?

— Сережа прав, пойдёмте, Фекла, к вам, — согласилась Таня.

— Тогда пойдёмте быстрее, — всхлипнула Фекла и, не дожидаясь, побежала к дому Сибирцевых.

Граф сидел на нижней ступеньке крыльца, опираясь спиной на перила; лицо было бледным, глаза закрыты, пра-

вую поврежденную ногу он придерживал руками, а рядом стоял и плакал какой-то бородатый мужик в косоворотке.

— Сергей Александрович, ваше сиятельство, этот молодой человек доктор, и он хочет вам помочь, — сказала горничная Фекла.

Сибирцев открыл глаза и, увидев Татьяну, кивнул ей головой, при этом его губы скривились от боли. Он посмотрел на Сергея и тихо произнес:

— Ну что ж, приступайте, молодой человек, я к вашему брату привычен, сколько шрамов на теле — сам не помню.

— Принесите подушки, — попросил горничную Сергей, и когда та сбегала в дом и принесла ворох подушек разных размеров, улыбнувшись, сказал:

— Потерпите немного, ваше сиятельство, сейчас легче будет. Таня, помоги мне. Я сейчас аккуратно приподниму ногу, а ты подложи под нее подушки.

Действия Сергея были ровными, без торопливости, только лицо выражало напряжение. Он, подложив ладони под голень и стопу, тихонечко приподнял ногу. Граф застыл.

— Клади подушки, только не спеши и не задень ногу, — сказал Сергей, и Таня с боязнью положила подушки. Сергей медленно опустил на них ногу. Сибирцев открыл глаза, на которых выступили слезы, улыбнулся и произнес:

— Надо же, как хорошо. Как будто и не падал. Спасибо, молодой человек.

— Подождите благодарить, ваше сиятельство, я еще ничего не сделал. Позвольте, я осмотрю ногу.

— К вашему брату только попади! — скривив губы, хохотнул Сибирцев. — Делайте, доктор, что считаете нужным. Ишь ты, на ровном месте упал. Все, совсем старой клячей стал.

Осматривать было нетрудно, Сибирцев спускался по крыльцу в халате и тапках. Сергей же серьезно произнес:

— Хорошо, что не надо резать брюки и сапоги.

— Что вы, юноша, жалко бы было вдвойне: сапоги и брюки не простые — генеральские, — и граф опять коротко засмеялся.

Сергей быстро кончиками пальцев, легонько нажимая, провел по ноге ниже колена, потом приобнял руками голень, нажал — граф ойкнул.

— Наружная лодыжка? — сказал Сергей. И посмотрев на графа, повторил: — Похоже, ваше сиятельство, что вы сломали наружную лодыжку.

— Это серьезно?

— Сейчас мы, с вашего позволения, перенесем вас в дом, и я наложу вам шину, — Сергей повернулся к горничной и спросил: — В доме есть какой-нибудь диван?

— Обижаете, молодой человек, конечно, есть! Фекла, иди, приготовь, — ответил за горничную Сибирцев.

— Теперь все помогайте мне, — сказал Сергей.

— Федор, это и тебя касается, — граф недовольно посмотрел на мужика в косоворотке, — а то стоишь, как истукан. Помоги доктору.

Сергей обнял графа, с легкостью поднял на руках и, осторожно ступая, пронес в дом, где положил на большой кожаный диван, на котором Фекла уже расстелила простыни, одеяла и подушки. Сбоку шел Федор и придерживал лежащую на подушке сломанную ногу графа. По лицу Федора градом бежал пот, и он шептал:

— Не больно, ваше сиятельство... Не больно?

— Помолчи, Федор, и без твоих причитаний тошно, — отвечал Сибирцев. — А я думал, что потяжелее. Меня как ранят, так всегда два солдата с поля боя выносили: либо на носилках, либо сидя на ружье. Вы, молодой человек, необычайно сильны. Наверное, гантелями занимаетесь?

— Нет, — положив на диван Сибирцева, ответил Сергей, — под парусом люблю ходить на яхте, — и сам спросил: — Какие-нибудь деревянные досочки длиной сантиметров по шестьдесят найдутся в доме? И если есть, бинты; если нет, то можно простыни и ножницы.

— Федор, Фекла, быстро несите! — приказал Сибирцев.

— А шестьдесят сантиметров — это сколько? — спросил Федор. — У меня в сарае штакетины есть.

— Два фута, чуть меньше аршина. Давайте я с вами схожу, — сказал Сергей, и они с Федором ушли.

Когда Сергей вышел, Сибирцев внимательно посмотрел на Таню и спросил:

— Жених?

— Нет, друг.

— Хороший у тебя друг. Чувствуется, дело свое понимает и знает. Я вас, докторов, всю жизнь боюсь. Ты-то, Таня, зачем на доктора пошла учиться? Мужское это дело.

— Папенька умер — и пошла.

— Да-а, горе... — вздохнул Сибирцев.

Вернулись, Фекла, держащая в руках простыни и ножницы, и Сергей с Федором с двумя ровными досками шириной около вершка и длиной чуть меньше аршина.

— Хорошо там у меня пила была — отпилили, — сказал Федор. В его голосе звучала гордость, что это он нашел и отпилил нужной длины доски.

— Не загордись! — засмеялся Сибирцев.

Сергей взял ножницы и, надрезав в нескольких местах простыню, резкими движениями разорвал ее на длинные полосы.

— Сейчас, сударыни, мне потребуется ваша помощь.

— Чувствуете, как он вас, девушки, красиво, по-русски, назвал: сударыни, — опять хохотнул Сибирцев.

— Слушайте меня и делайте так, как я скажу: дайте ваши ладошки и вот так, аккуратненько, поднимите его сиятельству ногу... Держите... — Сергей приложил доски к ноге с двух сторон. — Федор, прижмите вот здесь... Держите? Молодцы... Я буду бинтовать, а вы руки переставляйте, чтобы я вас к их сиятельству не прибинтовал... Ваше сиятельство, вы пальчики на стопе на себя подтяните. Вот так, хорошо. А на сустав мы наложим «замочек»... Не давит, ваше сиятельство? Говорите, потому что еще отек будет... — Сергей очень ловко и быстро обмотал полосками ткани ногу с прижатыми к ней досками и, закончив, сказал: — Все, кладите.

Ногу положили на подушки, Сибирцева накрыли теплым пледом.

— Скажите, Фекла: лед в доме есть? — спросил Сергей.

— В леднике есть, барин, — ответил Федор. — Я сейчас принесу.

— Принесите, Федор. А вам бы, ваше сиятельство, посмотреть ногу в икс-лучах Конрада Рентгена. У нас в академии такой аппарат есть.

— Это что — туда, в академию, меня везти надо? А без этих новомодных штучек никак нельзя?

— Почему? Можно. Надо наложить гипс на четыре недели.

— А вы, молодой человек, можете это сделать?

— Если вы мне доверяете, ваше сиятельство, то я завтра приду с Таней и наложу вам гипс.

— Я полностью вам доверяю, молодой человек. Где вы живете? Есть ли у вас в доме телефон?

Сергей продиктовал номер.

— Фекла, запиши... Как вас зовут юноша?

— Сергей. Сергей Мезенцев, ваше сиятельство.

— Для вас, Сергей, я Сергей Александрович Сибирцев. Таня, у вас прекрасный друг, — граф обратился к горничной: — Фекла, напоите молодых людей чаем. Если вы не против, то я отдохну. Вам, Сергей, позвонит мой доктор и привезет вас ко мне...

— Но, ваше сиятельство, неудобно...

— Не спорьте, не спорьте... так положено.

Федор принес лед, и его, завернув в полотенце, положили к поврежденной ноге. Сергей с Татьяной пошли в столовую, и оба обратили внимание на висевшую на стене картину с молодой, очень красивой женщиной с ребенком. У женщины и ребенка были очень грустные, большие голубые глаза. «Какая красивая...» — екнуло сердце у Сергея. Выпив чаю, Сергей еще раз заглянул к графу. Сибирцев спал. Спросив у Феклы, есть ли в доме обезболивающие порошки и, получив ответ: «Пирамидон», попросил дать их графу, когда проснется и, почему-то еще раз взглянув на портрет, вместе с Таней ушел.

А Сибирцев проснулся ночью не из-за боли — он привык переносить боль, — а от мысли, что этот молодой человек так напоминает ему его дочь: лицом, глазами. И, вспомнив

дочь, старик перекрестился, сердце сжалось от тоски, и он тихо заплакал. Он не замечал, что за неплотно прикрытой дверью столовой стояла Фекла и, глядя на плачущего графа, тоже подвывала, утирая фартуком бегущие из глаз слезы.

На следующий день рано утром Сергею позвонил личный доктор графа и, представившись Разумовским Павлом Петровичем, спросил, когда он может за Сергеем заехать. Они договорились, что встретятся на Выборгской стороне в четыре часа дня, около главного здания академии.

Выпросить мешочек гипса и бинты не составило особого труда: в академии поощрялось, чтобы курсанты оказывали медицинскую помощь всем нуждающимся, и не только в стенах академии — необходимая практика для будущих военных хирургов.

Доктор Разумовский приехал на личном автомобиле, и они поехали в Ораниенбаум по шоссе, идущему вдоль Царскосельский железной дороги... Разговорились. Выяснилось, что Павлу Петровичу сорок два года, он окончил медицинский факультет университета, занимается частной практикой и, как понял Сергей, был на очень хорошем счету у своих клиентов — так несколько хвастливо рассказал Разумовский. Во всяком случае, наличие личного автомобиля подтверждало это. Выглядел Павел Петрович как доктора в пьесах умершего, но все еще очень модного писателя Чехова: высокий, плотный, ухоженный, с красивой бородкой «под царя»; речь у Разумовского была ровной, неспешной, великолепно пошитые пальто и костюм, белоснежная рубашка с бриллиантовыми запонками, ухоженные ногти — все говорило о том, что он очень хороший доктор. По дороге Павел Петрович, не называя имен, рассказывал различные веселые истории из своей практики, но ненавязчиво говорил много поучительного для Сергея. Разумовский сообщил, что он старается каждый год уезжать в Европу в лучшие клиники для знакомства с современными способами лечения больных.

— Там, Сергей Дмитриевич, — по принятому в медицинском сообществе правилу Разумовский называл Сергея по имени-отчеству, — много необычных технических но-

винок, очень хороший медицинский инструмент, а о перевязочных материалах, лекарствах я просто не говорю. Если у вас будет возможность, обязательно поезжайте в Европу, лучше в Германию.

— Я же военный хирург, у нас особый подход к лечению раненых, принятый еще с времен великого Пирогова, — этапность. Так что, пока мне разрешат что-нибудь серьезное сделать, я должен стать большой медицинской величиной, а это годы службы.

— Но вы же можете остаться работать в академии или крупной столичной больнице.

— Я надеюсь, что так и будет. Хочу выйти из академии по первому разряду.

— Прекрасно! Будет нужна помощь, не стесняйтесь, обращайтесь ко мне за помощью. Я буду рад вам помочь.

Дорога была пустынной — редкие машины ехали навстречу, и Разумовский, не отпуская руль, продолжил:

— Поймите, Сергей Дмитриевич, больной очень внимательно, болезненно и настороженно относится к каждому слову, сказанному врачом. Старайтесь при больном не говорить диагноза, как можно больше его расспрашивайте, как, где и что он чувствует. Он сам должен перед вами раскрыться, понять, что только вы, и никто другой, можете ему помочь. Но никакого панибратства. И запомните: всякую фальшь больной чувствует и, что удивительно, как малое дитя, хочет верить всякому обману... Болезнь что-то делает с человеком. Безусловные рефлексы, по Ивану Петровичу Павлову, превалируют. Мне иногда кажется, что многие болезни нематериальны, что они находятся где-то в понятии психиатрии, я бы сказал, души. И конечно, лучше быть личным доктором, как я, чем хирургом. У вас слишком тяжелая работа. А военным хирургом вообще может быть человек определенного склада ума... Бесстрашный, что ли. Быстрый... Я бы точно не смог бы.

— Профессор Павлов у нас преподает, и его лекции о рефлексах — это величайшее достижение медицины. А психиатрия — это, конечно, очень интересно, но я-то будущий хирург, мои пациенты — это раненые на поле боя.

— Согласен, коллега... За разговорами как быстро до-
ехали.

Граф Сибирцев встретил их приветливо, хотя усталость на лице говорила, что ночь он не спал. Разумовский сразу же развел какой-то порошок и дал графу выпить. Сергей накатал гипсовые бинты, с помощью доктора Разумовского снял вчерашние доски и, намочив бинты теплой водой, обернул ими ногу от стопы до колена, оставив свободными только пальцы. Спросил:

— Не давит, Сергей Александрович? Пошевелите паль-
чиками, — после чего положил загипсованную ногу на по-
душки.

— Так быстрее спадет отек и меньше будет болеть.

— А как же я буду... это... ну вы понимаете...

— Не беспокойтесь, Сергей Александрович, я привез с
собой посудину, которую в медицине называют «уткой», —
весело сказал Разумовский и развязал принесенный из ма-
шины пакет. Заблестела белая эмаль необычного тазика с
носиком.

— Я буду ходить... под себя... в эту?..

— Придется, ваше сиятельство.

— Фекла, где ты? — крикнул граф. — У меня в кабинете
в столе лежит пистолет — принеси.

— Бросьте, бросьте, Сергей Александрович, я покажу
вашей прислуге, как управляться с этой посудиною, и по-
верьте, это не так и сложно и не самый худшее, что может
быть. Спросите моего молодого коллегу, и он вам скажет,
сколько лежат и делают это «под себя» больные с перелома-
ми и ранениями позвоночника. Годами! Да и не ваши орди-
нарцы с адъютантами будут вам в этом помогать, а ласко-
вые женские руки, — Разумовский повернулся и крикнул в
дверь зычным голосом:

— Фекла, не скрывайся, мы же знаем, что ты за дверью.
Скажи, у тебя дети есть?

— У меня нет, а у сестры четверо, — раздалось из-за
двери.

— Ну тогда нечего и переживать. Для нее это то же са-
мое, что ухаживать за малым дитем.

— О господи! На восьмом десятке — и как дитя! Но Фекла же женщина?

— Хотите, я пришлю мужчину-санитара?

— Не надо.

— Позвольте, где у вас уборная? — спросил Сергей и на графский зычный голос: «Фекла, покажи!» — ушел, но быстро вернулся и сказал:

— Сергей Александрович, через три дня вы уже сможете сидеть и вас прислуга может переносить в уборную, благо она у вас современная, с ванной и ватерклозетом, а уже через две недели вы сможете самостоятельно ходить с костылями.

— Коллега, спросили бы меня — я бы вам сразу сказал, что у Сергея Александровича это устройство самое современное: испанской фирмы Unitas. Я себе дома такой же установил. Хорош, — сказал доктор Разумовский и, хохотнув, продолжил: — На войне-то, ваше сиятельство, таких устройств, наверное, не было?

— Там, дорогой Павел Петрович, иногда и кусточку с листочком будешь рад! На старости лет есть хоть что-то, не напоминающее войну.

— Вот-вот, я к тому и говорю... — растягивая слова, весело, как пропел, произнес доктор Разумовский.

Сибирцев внимательно посмотрел на Сергея и очень серьезно сказал:

— Вас, молодой человек, мне послал Бог... — и опять зычно скомандовал: — Фекла, где ты? Неси сюда коньяк и закуски. Мне-то, господа эскулапы, немножко можно?

— Нужно, — ответил Разумовский.

— Вот и хорошо. Присаживайтесь, господа, поближе к дивану... и рассказывайте, что в столице делается. Мне вдруг интересно стало. Уж и не знаю почему? Наверное, сломанная нога подействовала да ваш приход... Налейте, Павел Петрович.

Больше месяца Сергей старательно навещал своего первого больного. Иногда приходил с Татьяной, иногда один. В доме он стал своим человеком. Через неделю ста-

рый генерал, подогнув поврежденную ногу, бодро ковылял по дому с костылями, через две начал приступать, а через три спросил:

— Может, хватит, доктор, эту гирию таскать?

— Через недельку, ваше сиятельство, снимем. Обещаю.

На снятие гипса, как на торжество, собрались доктор Разумовский, Татьяна, прислуга в лице Феклы и Федора, а также приехал профессор Илья Петрович Боков. Боков, увидев Сергея, как-то странно изменился в лице.

Сибирцеву не терпелось.

— Ну-с, Сергей Дмитриевич, освобождайте меня побыстрее, как это у Пушкина сказано: «Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода нас примет радостно у входа...» Фекла, ванна готова?

— Да, ваше сиятельство.

— Снимайте, снимайте скорей, а то у меня чувство, что я весь запаршивел. Уж куда в молодости — сражения, бои, наступления, отступления, но баня должна быть всегда. Чистому-то и помирать не страшно. А тут дома, а только вшей не хватает. Что там ваши протирки — спирт только переводите. Быстрее, быстрее, господа...

— Вы, ваше сиятельство, моего молодого коллегу не торопите. Он будущий военный хирург, и для него каждое неправильное движение — это чья-то солдатская жизнь.

— Прекрасно сказали, Павел Петрович, — сказал профессор Боков, а сам опять внимательно посмотрел на Сергея и, увидев его длинные пальцы, побледнел.

Гипс был снят. Сибирцева перенесли в ванную, где Федор помог ему раздеться и уложил в пахучую воду.

— О господи, как хорошо! Как на свет вновь народился! Подбавь горячей, Федор! — кричал на весь дом граф.

Из ванной комнаты чистого, распаренного, завернутого в большой халат Сергея Александровича Федор перенес в кожаное кресло, установленное во главе со вкусом накрытого в столовой стола.

— Господа, простите меня, что сидя, но я хотел бы выпить в первую очередь за молодого человека, за Сергея... Федор, подай... — Федор подал маленькую, уместающуюся

на ладони, продолговатую коробку. Сибирцев, опираясь одной рукой об стол, поднялся и протянул коробку Сергею. — Это тебе, Сергей. Счастливые родители, что имеют такого прекрасного сына.

— Спасибо, ваше сиятельство, — сказал Сергей и тихо и грустно добавил: — К сожалению, я сирота.

Наступила гнетущая тишина.

— Можно, ваше сиятельство, посмотреть? — нарушил тишину юноша.

— О да, конечно! Я хотел об этом и сам попросить.

Сергей открыл деревянную коробку: на тонкой ткани лежал складной нож с металлической блестящей надписью Victorinox на коричневой деревянной рукоятке.

— Швейцарский армейский нож?! — вскрикнул Сергей. Он покраснел, глаза заблестели, и весь он стал похож на маленького мальчика, получившего неожиданно самый дорогой в жизни подарок. — Вот это да! Большое спасибо, Сергей Александрович.

— Вот и хорошо, что тебе понравился мой подарок. Я бы хотел, чтобы он пригодился тебе как хирургу. Как военному хирургу. Господа, прошу выпить за Сергея... Извини, Сергей, но я все как-то забываю твою фамилию.

— Мезенцев, ваше сиятельство.

— Прекрасно. За Мезенцева Сергея.

Сидели хорошо, шумно, весело, а Сергей стеснялся — он никогда не бывал в таком изысканном обществе — дворян, профессоров, известных докторов. Таня это заметила и старалась его отвлечь, рассказывая институтские истории.

— А где вы, Сергей живете в Петербурге? — спросил Сергея профессор Боков.

— На Большой Посадской, у двоюродного брата моего приемного отца.

— Что вы любите читать?

— Очень люблю Льва Николаевича Толстого и Антона Павловича Чехова, а больше всего — книги по медицине.

— А я Толстого не люблю! — сказал Сибирцев. — Я прочитал его «Войну и мир». Он пишет, что наши потери при

Бородине составляли на некоторых участках боя девять к одному! А общие наши потери были столь ужасны, что ни о каком продолжении битвы не могло быть и речи. Армия бы погибла! Мой прадед, полковник, при Бородине был тяжело ранен, но выжил и потом дошел до Парижа. Русская армия выиграла эту великую битву! Выиграла! Иначе и быть не могло!.. А Чехова совсем не понимаю. Так, полистал, да думаю, ни один военный человек его не поймет! Чушь какая-то!.. Впрочем, о чем я? Ах старость, старость и память, которая от тебя убегает, как птица-тройка. И чем больше лет, тем дальше и быстрее она от тебя убегает... Простите, господа, за мою старческую болтовню. Это я от радости. Ощущение — как после ранения выжил.

— А что вы, Сергей, еще любите кроме медицины, Толстого и Чехова? — опять спросил Илья Петрович и очень внимательно посмотрел на юношу. Было видно, что профессор волнуется.

— Яхты.

— Похвально, молодой человек... Вы, как все, только любите или... это... плаваете?

— Плаваю. Или, как бы вам ответил моряк: хожу. Мне очень нравится море. Не знаю почему, но я его люблю.

— Вот и мой сын любил море... — почему-то грустно сказал Боков.

— Господа! — прервал всех Сибирцев. — А что вы думаете о предстоящей войне?

— Как войне? — удивленно спросил профессор Боков.

— Да-да, дорогой профессор, войне. Войне с германцами, к которой мы не готовы!..

— Но почему, ваше сиятельство, вы решили, что у нас будет война с Германией? У императоров очень теплые, семейные отношения. Да и императрица... — спросил Разумовский.

— Если вы, Павел Петрович, насчет немецкой крови, так у нас после Петра Великого только одна немецкая кровь и прибавлялась, и это нам не мешает все время воевать с немцами. Будущая война нужна не нам, ее жаждет молодая, сильная Германия.

— И все равно, Сергей Александрович, почему вы так думаете? — спросил как-то странно загрустивший Боков.

— Я старый солдат и, поверьте мне, разбираюсь не только в военных картах — война начнется из-за Балкан. Рвется там, где тонко!.. А там, как рваное одеяло. Мне так жаль, что не удастся повоевать, а вот тебе, Сергей, надо к ней готовиться. Сколько тебе еще учиться?

— Через год, в пятнадцатом году, выпуск.

— Дай бог, успеешь окончить. Всё, прекратим. Расскажите-ка лучше, господа, что происходит в столице...

Разговор с радостью перешел на полунамеки о похождениях царственных особ, особо доставалось Матильде Кшесинской; от пикантных подробностей о любвеобильной знаменитой танцовщице у Тани начали гореть щеки и уши. Сергей это заметил и обратился к смеющемуся Сибирцеву:

— Позвольте, ваше сиятельство, нам с Таней удалиться.

— Я тебя, тезка, еще при знакомстве просил называть меня Сергей Александрович. Мой дом, Сергей, для тебя всегда открыт. Я тебя жду. Жаль, проводить не могу. Подойдите ко мне, молодые люди, я хочу пожать ваши руки.

Когда Сергей с Татьяной ушли, Илья Петрович Боков, вздохнув, задумчиво сказал:

— Такой приятный молодой человек. Сирота, — посмотрел на портрет женщины с ребенком и грустно и тихо произнес: — Где-то наши дети и внук? Он мне так напомнил сына — особенно в профиль и эти необычные руки.

— Да, у молодого человека пальцы хирурга, — сказал доктор Разумовский. — Впрочем, и голова тоже.

Сибирцев тоже посмотрел на портрет, на глазах у старого человека появились слезы, и он хрипло произнес:

— У него глаза моей дочери... и моего внука.

Сергей же, когда закончилось лечение Сибирцева, стесняясь графского титула и генеральского звания старика не появлялся. Понимал — не ровня!..

Июнь — прекраснейшее время в Петербурге. Не жарко, дождики прохладные, небо светлое, Нева чистая, корюшкой весь город пропах. Финский залив не зря зовется Маркизовой лужей — уж больно мелок. То ли дело Нева, стремительная, глубокая — иногда лота до дна не хватает, а на заливе палкой можно дно достать, а то и корабельным килем в песок уткнешься. Фордевинд здесь редко поймает — галсами не только из-за ветра будешь идти, но и из-за многочисленных мелей. Сергей за время плавания на яхте не только выучил фарватер залива, но и столь ловко «ловил ветер», что бакштаг редко покидал его парус. Зимой научился кататься на очень модном буере. Необычная узкая лодка на коньках вызывала восхищение своей скоростью — столь высокой, что при полном парусе появлялось ощущение, что она летит надо льдом. Сергей старался принимать участие в ежегодных гонках на буерах между Стрельной и Петродворцом. Выиграть было безумно трудно, но призером один раз он все-таки стал, и великий князь Михаил Николаевич, сам заядлый яхтсмен, с удовольствием вручил кубок молодому человеку.

Острова под Выборгом в июне, в свете белого неба и сероватой воды, сказочные. А запах сосен!.. У одного из безлюдных островов пристала яхта, и юноша с девушкой пошли, держась за руки, в лес. Они прожили на острове три дня, ловили рыбу и готовили ее на костре, гуляли по острову, дышали морским воздухом, пропитанным запахом сосен... И была любовь двух молодых людей — великое чувство, подаренное человеку Богом, но редко бывающее у людей. Эти три дня они были как в раю: он, она и необыкновенная природа во всей своей красоте.

Когда они, утомленные и счастливые, возвращались домой, она спросила:

— Почему мы плывем так быстро?

— Мы идем полным парусом, — ответил он. — Это счастливый ветер.

— Хорошо, пусть он будет нашим счастливым ветром. Я тебя очень люблю, Сережа.

— И я тебя. Хочешь, я уберу парус?

— Нет. Мне надо домой — дед беспокоится, да и скоро должна приехать мама. Она не стала мне говорить всего по телефону, но голос у нее был тревожный. Поплыли быстрее, Сережа...

— Хорошо, Таня.

— И еще я хочу тебя познакомить с моей мамой и дедом.

— А это удобно?

— Дед у меня хороший, а мама, я думаю, будет только рада.

— Пойми, ты дворянка а я... я не знаю, кто я. Я даже не знаю, кто мои родители.

— Ну при чем здесь титулы? Теперь они уже не играют той роли, как раньше. Вспомни графа Сибирцева. А мой дед из простых кузнецов в дворяне выбился... Трудом своим.

— Какой молодец. Хорошо, Таня...

Через день Таня провела Сергея к своему деду.

— Как вас зовут молодой человек?

— Сергей. Сергей Мезенцев.

— Ишь ты, какая фамилия. Прямо как у меня заводы — на реке Мезень. Кто ваши родители?

— Я сирота.

— Откуда ты? — вдруг, приподнявшись в кресле, спросил громко Русанов.

— С севера, с Мезени.

— Неужели... — тихо проговорил Русанов. — Неужели приемьш ружниковский, у Митьки... — и спросил: — А отчество твое не Дмитриевич?

— Да, Дмитриевич.

— О-о! Господи! Приемьш Митькин... О-о! — и голова Русанова стала запрокидываться, он вытянул руку в сторону Сергея и через выступившую изо рта пену прошипел: — Ружников приемьш... Митька Красный... Ефремка... Всё семья...

Потом замолчал, покраснел, вздохнул и, закатывая глаза, просипел:

— Во-о-н...

— Что с тобой, дедушка? Тебе плохо? О чем ты говоришь? — ничего не понимая, спросила Таня.

— Приемыш... Ефремка... пожар... — и Русанов потерял сознание.

— Сережа, Сережа, что с ним? Он умирает? — закричала Таня.

Сергей подошел к Русанову, взял руку и, пощупав пульс, сказал:

— У него обморок. Давай перенесем его на диван, — и с легкостью подняв на руки старика, перенес на стоявший в углу кожаный диван. — Накрой его пледом. И положи холодное полотенце ему на лоб.

Таня побежала в столовую и принесла графин с полотенцем, смочила и положила на лоб деда. Русанов, казалось, заснул, дыхание его стало ровным, лицо порозовело.

— Что с ним, Сережа? Почему он так расстроился, когда увидел тебя? Он называл какие-то имена, но я ничего не поняла...

— Я сам не понял. Потом тебе все скажу, — тихо, расстроенным голосом произнес Сергей. — Я пойду. Укутай его потеплей, и пусть поспит, а когда проснется, напои его горячим чаем. Я к тебе завтра не приду — твой дед этого не хочет! Давай увидимся на нашем месте, около твоего института. До свидания, я пойду.

И Сергей Мезенцев, задумчиво склонив голову, ушел. Дойдя до ораниенбаумского лодочного пирса, где стояла его маленькая яхта, отвязал канат и, расправив парус, поплыл в город. Он был так расстроен, что не заметил, что весь путь от русановской дачи до берега залива за ним, хоронясь, шел какой-то мужчина довольно неприятной наружности.

Сергей приплыл на Крестовский остров, причалил яхту и поехал на трамвае домой на Петербургскую сторону. Сидел, прижав горячий лоб к прохладному стеклу, и думал: «Почему он назвал меня приемышем? Он что — знает моего приемного отца? Кто такой Ефрем? Отец Афанасия Еф-

ремовича? О каком пожаре он говорил?.. Надо обо всем спросить у дяди Афанасия...» Расстроенный, он доехал до Посадской улицы и вышел. Был светлый летний петербургский, чуть прохладный вечер. Уже отцвела сирень, а в воздухе все равно кружился ее аромат. Но ничего этого молодой человек не замечал.

После ужина и вечернего чая Афанасий Ефремович закурил сигару и предложил, хотя было тепло, разжечь камин — так, для удовольствия. Когда огонь охватил березовые дрова, крупный, высокий, с аккуратной бородой Афанасий Ефремович уселся в кресло и, пыхтя сигарой, стал, как кот, прижмуриваться на огонь.

Сергею не хотелось в этот момент его тревожить, но он не удержался и спросил:

— Дядя, я могу с вами поговорить?

— Да, Сергей, я тебя слушаю.

— Скажите, кто такой Николай Иванович Русанов?

— Господи! — подскочил с кресла Афанасий Ефремович, и пепел с сигары просыпался на его халат. — Откуда тебе известно это имя?

— Я его сегодня видел, и он назвал меня приемным. И еще он поминал Ефрема, какой-то пожар... и от всего этого ему стало плохо... Скажите, что вы знаете о Русанове?

— Зачем, Сергей, тебе это и где ты с ним мог познакомиться? Он, насколько мне известно, уже не у дел. А после трагической гибели его сына Алексея, царствие ему небесное, — Афанасий Ефремович перекрестился, — вообще нигде не появляется. Говорят, уехал из города. Где ты его мог увидеть?

— В Ораниенбауме, в его загородном доме.

— О господи! Что ты там делал?

— Я знаком с его внучкой Таней.

— С кем? С внучкой? Дочерью Алексея Николаевича Русанова? Где и как ты мог с ней познакомиться?

— Она студентка Женского медицинского института.

— Внучка Русанова, промышленника, дворянина, миллионера Русанова — и студентка этого непонятного института? И Русанов это позволил?.. Впрочем...

— Дядя, я вас спросил совсем о другом. Расскажите мне о Русанове и что нашу семью с ним связывает.

— Хорошо, что ты сказал «нашу». Я ведь все знаю — мне Митрий рассказал о тебе и твоём появлении в нашей семье... Принеси мне, пожалуйста, коньяк и сигары. Разговор у нас будет длинным. И прикрой поплотней дверь. Это старая и запутанная история. У Николая Ивановича Русанова завод лесопильный в Мезени появился еще до того, как наш отец, Ефрем Васильевич, даже задумывал строить свой завод. Отец-то наш из крестьян был, а Русанов — он дворянин, промышленник... Отношения сразу стали плохими, но как-то они терпели друг друга. Русанов жил здесь, в Петербурге, и на завод изредка приезжал. Но однажды у Русанова завод сгорел. И причину нашли, и виновных: пьяные рабочие курили за штабелями сухих досок. Тех рабочих осудили и отправили на каторгу, а Русанов все же решил, что это поджог и виновник — отец наш, Ефрем Васильевич. Но догадки да крик к делу не пришьешь, вот он и отомстил. Правда, тоже не доказано, но слухами земля полнится. У него в работниках тогда появился молодой Аристарх Семенов. Папаша у Аристарха тоже заводы имел, но все спустил на игре в карты, а после в петлю залез. Семья разорилась, а Аристарха, по доброй памяти к его отцу, Русанов к себе взял. Вот этот Аристарх и развел на картах уже нашего дядьку Андрея, да так, что тот векселей на имя Ефрема Васильевича выписал на полмиллиона рублей. Полмиллиона! Отец наш с братом Василием Васильевичем все, что могли, продали, заложили, а долг отдали — никто не верил, что отдадут, но свой завод спасли; понимали — без завода они вновь крестьяне. Ну а потом выправились — пока Русанов свой завод три года восстанавливал. Аристарх-то, говорят, Русановым был уже назначен управляющим на нашем заводе. Уже сколько лет прошло: и батенька, и брат мой Иван давно умерли, и Дмитрий Васильевич, твой приемный отец, уж давно женился и уехал из Мезени, а Русанов, рассказывают, как услышит нашу фамилию, так впадает в безумство. Самому-то, наверное, уж к восьмидесяти, все уже давно быльем поросло, мы и то не помним, а он нет, никак

не уймется. Я слышал, что у него единственный сын, Алексей, странно умер. Русанов на него все надежды имел, а тот умер, поговаривают, от опиума. Неужели от него можно умереть? Вот сам-то Русанов и отошел от дел и все управление своими делами передал Аристарху Семенову. Я почему об этом знаю — Аристарх уже несколько раз навещался в Мезень. Он мужик грамотный и жесткий. Говорят, повыгонял всех и дела сразу на заводе наладились. А на нашем заводе брат Петр поставил управляющим какого-то малого — не пойми чего, а сам все в любимой Польше; завод-то потихоньку и хиреет. Спасает одно, что он ниже по реке — кораблям с моря легче подходить, да и мощней будет — Дмитрий Васильевич, молодец, тогда, когда его покойный Иван управляющим поставил, постарался... Завод поднял. У-у-у! Молодец твой приемный отец — жаль, что в Ому уехал. Виданное ли дело — «во двор». Богатый, взрослый, грамотный мужик — и в чужую семью! Любовь!.. Значит, ты познакомился с Николаем Ивановичем Русановым. Я тебя люблю, Сергей, и такое знакомство не одобряю — оно до добра не доведет. Если можешь, расстанься с его внучкой. Беда от всего этого будет. Беда!.. О, господи! — Афанасий Ефремович перекрестился. Икон в комнате не было.

— О чем вы, дядя? Какая беда?

— Ты не знаешь Русанова. А главное, ты не знаешь Аристарха Семенова. У него, как мне помнится, сын. Русанов от дел отошел — Аристарх своего не упустит, все под себя подгробет. Он это умеет! А ты ему мешаешь! Внучка-то — единственная наследница русановских миллионов! Аристарх сделает все, чтобы тебя не было у Русанова в доме. Да еще Николай Иванович с его ненавистью к нашей семье... Боюсь я за тебя, Сергей, боюсь. Подумай над тем, что я тебе сейчас сказал.

— Я ее люблю, Афанасий Ефремович.

— Ты как брат Митрий: тот все тоже — люблю, люблю... Что любовь, когда нищим можно стать?

— Вы неправы, Афанасий Ефремович.

— Может быть, может быть...

XI

В комнате дома в Ораниенбауме сидели двое: закутанный в плед Николай Русанов, старый, седой, только отошедший от приступа болезни, и красивая, но очень худая женщина в темном платье. Женщина все время покашливала, а щеки играли болезненным румянцем.

— Николай Иванович, я знаю, что вы меня не любите. Более того, считаете, что я виновата в смерти моего мужа, вашего единственного сына, Алексея. Вы знаете, я больна и только климат Италии спасает меня. Вы хотите, чтобы я вернулась в Петербург насовсем? Вы хотите, чтобы я здесь умерла? Я не верю, что вы этого хотите...

— Присядь, Наталья. Разговор у нас будет серьезный.

— Что-то случилось с Таней? Я ее еще не видела. Она даже не приехала меня встречать.

— Случилось не только с Таней — случилось со всеми нами. Она влюбилась...

— Что же в этом плохого? Она взрослая девушка, наверное, уже пора.

— По себе судишь?

— Мне было восемнадцать, когда я влюбилась в Алексея.

— Ты дослушай! Плевать я хотел на эту вашу любовь. Дело в том, что мы разорены.

— Как это разорены?

— Скажи, ты знала, что во время болезни Алексей занимал массу денег и подписал кучу векселей на немислимые суммы?

— Он никогда ничего не говорил о работе, а о финансовых делах я не знала ничего.

— Получается, что и я не знал. И вот результат — у нас одни долги.

— Кто это сказал?

— Аристарх Семенов.

— Опять Аристарх! Он как тень ходил за Алексеем, да так, что тот никого не признавал, кроме него. А сейчас говорит, что у нас нет денег? У вас же заводы?

— Я уже заложил два завода, чтобы покрыть часть убытков. Мне без Аристарха не справиться, я слишком стар. Он, единственный, кто может нас спасти. Ты хочешь пойти жить на улицу?

— Нет!

— А что будет с Таней? Я ведь на нее составил завещание. И что она получит — долги?

— Хорошо, пусть делами занимается Аристарх.

— Да, но он согласился это делать только при одном условии.

— Какое еще условие? — со страхом тихо спросила Наталья.

— Не беспокойся — он не требует от тебя выйти за него замуж, — горько и хрипло засмеялся Русанов. — Хотя, по мне, лучше бы это было так. Он предлагает, чтобы Татьяна вышла за его сына Николая.

— Как это вышла?

— А как выходят? Как ты вышла за Алексея.

— Но мы поженились по любви.

— Значит, надо сделать так, чтобы она вышла по любви. И это сделаешь ты!

— Никогда!

— Тогда можешь сразу отсюда идти на улицу. Да ладно ты. На это мне наплевать! Следом пойдем я и Татьяна.

— О господи!

— Господь в этом деле нам не поможет. Если бы было так просто, я бы самую толстую свечку во славу Господа поставил. Пойми, Наталья, сейчас идет речь не обо мне — я стар, мне все равно, где умирать: здесь, в этом кресле, или под забором, — речь идет о твоей дочери. И любовь здесь ни при чем! Да и Николай парень неплохой — она за ним будет как за каменной стеной, а ты сможешь продолжать спокойно и безбедно жить в своей Италии. Даже когда она выйдет замуж, она останется наследницей и все будет принадлежать только ей. Не тебе и не ее мужу.

— Про меня можно было бы и не напоминать. Что же вы от меня-то хотите, Николай Иванович?

— Ты — мать, уговори Татьяну выйти замуж за сына Аристарха. Я тоже поговорю.

— А если она не согласится? Она молода, умна, красива, в конце концов, у нее в будущем необычная профессия — врач.

— Черт бы побрал эти нынешние устремления молодежи! Какая глупость — женщина-врач! Женщина должна быть хозяйкой в доме и растить детей! Вот предназначение женщины!

— За границей достаточно женщин-врачей.

— Вот-вот — за границей! Эта заграница погубит нашу страну. Пусть покупают наш лес и железо, но не лезут к нам со своим, как это... равенством. Мы сами знаем, как воспитывать своих детей! Все это до добра не доведет: сегодня женщины — врачи, а завтра революционерки... Я в страшном сне не мог представить, что закончу свою жизнь нищим, под забором! — старик заплакал и сквозь слезы договорил: — Наталья, голубушка, доченька, убеди Татьяну.

— Может, можно другого управляющего нанять? — спросила Наталья.

— Ты всегда была... — закричал Русанов. — Ты думаешь, я об этом не думал? Да как? Никто же, кроме Аристарха, наши дела не знает, видишь же, без него куда дошло. Нет у нас времени! Срочно надо решать. Иначе нищета! Понятно теперь?!

— Хорошо, я попробую, — тихо ответила женщина.

— Какое попробую! Скажу тебе честно, за ней ухлестывает один молодец, и знаешь кто? Приеммыш мезенский, без роду, без племени, оборванец ружниковский. Она его сюда приводила, а я как узнал, кто он, — выгнал! Она-то, может, по молодости и втюрилась в него, а ему только это и надо. Весь в своего деда Ефремку-убивца. Я, как его увидел, да узнал чей он, так чуть не умер.

— О, боже! Да что же у вас здесь происходит?

— Так ты побольше в Италиях проживай, и не то знаешь! Тебе до дочери и дела нет!

— Как вы можете, Николай Иванович!

— Значит, могу! Всё. Разговор окончен: или идешь и уговариваешь и потом живи себе безбедно в Италии, или можешь сразу отсюда идти на дорогу — собирать подаяние. Для панели ты вряд ли подойдешь — слишком худа. Иди!..

— Вы невыносимы! Как мне хочется побыстрее отсюда уехать.

— Сделай, что прошу, и уезжай. Не держу!

Мать и дочь сидели, обнявшись, на кровати в комнате Татьяны и горько плакали.

— Доченька, я понимаю, что ты любишь этого юношу. Но ты молода, ты не знаешь, кто он, ты не знаешь, сколько горя принесли эти люди нашей семье. Если бы тогда не Аристарх, мы бы были нищими. Да о чем я говорю — тебя бы не было! Пожалей свою мать! Я больна и не могу жить здесь, в Петербурге, я здесь умру! Неужели ты этого хочешь? Просить милостыню мы все пойдем: дед, я и ты. Я не люблю Аристарха, но он единственный, кто может нас спасти от разорения.

— Вы с дедом что — продаете меня? — возмущенно вскрикнула Татьяна и отстранилась от матери. — Как вы можете вот так, легко — выйди замуж? Я не принцесса и не крепостная!

— Хорошо. Пусть остается все как есть, но наша смерть, моя и деда, тогда останется на твоей совести. Пойми, жизнь намного длинней, чем любовь. Ах, если бы был жив Алексей... Но его больше нет, и у нас больше нет защиты в этом мире.

— Вы губите меня! — крикнула девушка и разрыдалась.

— Мы хотим спастись. И ты единственная, кто может нас всех спасти!.. Я тебя прошу — не губи всех. Неизвестно, нужна ли ты будешь ему, если ты станешь нищей? Скорее всего, нет! Я уверена — нет!..

— Он меня любит! И я его!

— Хорошо, пусть любит и ты его любишь. Выйди замуж и продолжай любить. В конце концов, пусть этот брак

будет временным. Когда все выправится — разводишь, дед сказал, что капиталы-то все при тебе остаются.

— Вы о чем, маменька? Как так можно?

— В этой жизни можно все ради этой самой жизни.

— И что — вы с папенькой так жили?

— Я, может быть, и нет, а Алексей ни одной юбки не пропускал. Но речь-то сейчас не об этом. Ты единственная, кто может спасти нашу семью. Пожалей нас...

— Хорошо... — тихо сказала девушка и, уткнувшись в подушку, заплакала...

Сергея! Я тебя очень, очень сильно люблю.

Я не могу с тобой встретиться и не могу всего рассказать, почему я это делаю. Я боюсь! Это против моей воли, но это моя жертва ради моей матери и моего деда. Если бы это касалось только меня, никогда и никто не заставил бы меня это сделать, но... Прости меня, если сможешь простить. Ты самый лучший, и в моем сердце ты останешься всегда самым лучшим. Так распорядилась судьба! Я плачу! Я пишу, потому что боюсь увидеть твои глаза, твое лицо, я боюсь прикосновения твоих сильных и ласковых рук, я боюсь твоих губ... Я знаю, что если я тебя увижу, то никто и никогда не заставит меня предать тебя... Прощай, моя единственная любовь... Прощай! Прошу тебя — не ищи меня, мне так будет легче...

Сергей неделю ждал Татьяну около ее института, но ее не было, он звонил ей на квартиру и на дачу, но никто не отвечал, а когда почтальон принес это письмо, Сергей, прочитав, бросился в Женский медицинский институт и у секретаря узнал, что студентка Русанова Татьяна Алексеевна покинула институт не объясняя причины. Сергей стоял оглушенный и непонимающий, когда к нему подошла девушка, которую он часто видел с Татьяной.

— Вы Сергей? Мне надо вам сказать несколько слов...

— Да, — тихо прошептал он.

— Таня вышла замуж и ушла из института.

— Как же так? — тихо и растерянно произнес юноша.

— Даже мы, ее подруги, об этом не знали и сами в догадках, что же произошло. Но, говорят, что если бы она не вышла замуж за какого-то Николая Семенова, их семья оказалась бы на улице. Они, оказывается, банкроты! Нищие!..

— И из-за денег можно предать любовь? Как это подло!.. Как это противно!.. — голос Сергея дрожал, он отвернулся и, не прощаясь, ушел прочь...

Всего один раз он появился в Ораниенбауме перед воротами дома Русановых, но к нему вышел Аристарх Семенов, долго и тяжело смотрел на Сергея, а потом тяжело сказал:

— Не надо сюда больше приходить, молодой человек. Татьяна Алексеевна — замужняя женщина, и вы своим появлением и своими поступками ставите ее в неловкое положение в обществе. Я вполне понимаю ваши чувства, но прошу вас, не приходите больше в этот дом — он для вас чужой. Прощайте!..

— Скажите, где она?

Мужчина внимательно посмотрел на Сергея, на лице его мелькнуло что-то доброе — чуть улыбнулся:

— Хорошо, скажу: Татьяна с мужем и своей матерью уехали в Италию и приедут не скоро... Через год-два, может быть, больше. Достаточно?

— Да, — прошептал Сергей...

Ему очень хотелось сгореть, провалиться, только бы не чувствовать тот стыд, ту сердечную боль, которую он испытал в эту минуту. Он с затуманенными глазами шел к пирсу, и ему хотелось одного — умереть. Все он делал механически, не понимая, что и для чего делает. Дул довольно сильный западный ветер, и волны, с барашками на мелководье, бежали по заливу. Он не ловил ветер — он шел навстречу ветру, туда, за Кронштадт, к Выборгу, к тем островам, где он узнал, что такое любовь и где он был так безмерно счастлив. Пошел дождь, парус полоскало — он ничего не замечал и уже в темноте доплыл до знакомого острова, ткнулся носом яхты в берег, выпрыгнул и ушел вглубь острова, сел на землю под соснами, где ему казалось, будто он слышит ее голос, и так застыл. Дождь перешел в ливень, ветер уси-

лился, и вершины сосен качались и гудели, а он, положив голову на согнутые колени, и, закрыв глаза, сидел на земле и так, не сдвинувшись, просидел до утра. А утром — шторм стих — с первыми лучами солнца и песнями птиц встал, поднял на яхте парус и поплыл в Петербург, стараясь держаться северного берега залива, ни разу не взглянув на еще сонные окна проплывающего по правому борту Ораниенбаума. Любовь в нем умерла...

Он плыл и еще не знал, что не только в нем — во всем мире перевернулась жизнь, разделившись в этот день на две части: до и после, что Россия, бедная Россия на годы запыляется пожаром и рухнет на колени. Какая уж тут любовь!.. Война!..

Война тихонечко тлела дымком где-то там, в далекой Сербии, на берегах необыкновенного по красоте моря — Адриатики. Люди в России радовались прекрасному лету, отцвели сады, созрели ягоды, вечера темнели, и с теплыми дождями появились грибы. Люди любили друг друга, рожали детей, строили планы на будущее, не понимая и не желая понимать, что кто-то в этом мире, не Бог — простой смертный, считающий себя помазанником Божиим на этой земле, уже чиркал ручкой на приказах и согласно этим приказам в пушки заряжались снаряды, стволы пушек поднимались на угол для самой дальней стрельбы, корабли грузились углем, и топки открыли свои дверцы, чтобы его поглотить, кони живо ели овес и стучали копытами, казаки, гусары, уланы начищали свои сабли и шашки, а самое современное оружие — танки прямо с кальки чертежей уже вырезались из листов бронированной стали, невиданное оружие — аэропланы крутили пропеллерами — все готовилось! Все ли?.. А готова ли была к этой войне Россия? Кто знает?

После убийства эрцгерцога Франца-Фердинанда с супругой Софией 28 июня 1914 года все понимали: это война! «Русские не готовы к войне! Сегодня! Если мы не начнем

войну, то через год-два Россия будет настолько сильна, что раздавит нас не только на суше, но и на море! — кричал министр иностранных дел Германии фон Егов. — Либо мы начнем войну сегодня, либо мы уже не начнем ее никогда!» И когда после убийства эрцгерцога Австро-Венгрия, колеблющаяся, запросила совета у своей союзницы Германии, из Потсдама от императора Вильгельма раздалось: «С выступлением против Сербии не мешкать!» Поняли правильно: Сербия — так, спичка к бикфордову шнуру, ведущему к бочке с порохом, Россия — вот главный враг! Вот где запылывает костер войны!

30 июля 1914 года российский император Николай II подписал указ о мобилизации. И весь мир русских людей изменился, и время расколосось: до войны и война, которая будет длиться долгих четыре года, а потом Россия рухнет, и на ее полях будет уже другая война, но об этом никто не знал и не думал...

Часть вторая

Хирург

I

Не находивший себе места из-за, как он считал, предательства Татьяны Сергей Мезенцев обрадовался войне! Нет, не самой войне, не порыву всего народа пойти и погибнуть за царя и отечество, а возможности уехать, убежать из этого города, от обмана, от обиды на любимого человека. Решение созрело быстро: Сергей покинул академию и, не дослушав одного курса, записался по мобилизации врачом в армию. Военное ведомство было только радо, а преподаватели академии были расстроены и не понимали, как такой талантливый, подающий большие надежды курсант бросает учебу и едет на фронт. Часть товарищей решила, что это не более чем желание получить награды, дворянское звание — война-то всего на полгода — и затем уже окончить полный курс академии, другие завидовали и видели в этом поступке Сергея правильный душевный порыв в дни угрозы родной стране.

В новенькой форме с погонами и знаком зауряд-врача Сергей пришел в дом на Большой Посадской. Дети уже спали. Сергей зашел в спальню к племянникам и всех их сонных расцеловал. Сидели за столом втроем тихо и грустно. Чему радоваться — на войну человек уходит.

— Вы меня простите, что я ухожу на войну и не знаю, вернулись ли я с нее живой. Особо прошу простить меня за это Дмитрия Васильевича. Я ему напишу. Но я постараюсь вернуться...

Дядя понимал, что творится на душе у Сергея, и утром, провожая, сказал:

— И ты меня прости, Сергей, я виноват перед тобой, что так получилось с Таней.

— Что вы, Афанасий Ефремович, в этом никакой вашей вины нет, а вот насчет Аристарха Семенова вы оказались правы.

— Ты не думай плохо о Тане. Она одумается.

— Не надо. Не надо этого... Прощайте...

Зауряд-врач Сергей Дмитриевич Мезенцев был направлен младшим врачом в один из полевых лазаретов 2-й армии Александра Васильевича Самсонова в Польшу.

Перед отъездом в армию Сергей зашел к Голицыным — позвонил Николай, он тоже уходил на фронт. У Голицыных было все торжественно: все сыновья князя Николая Дмитриевича уходили воевать! Все офицерами: кто в инфантерию, кто на флот. Николай в форме подпоручика был весел, с разрешения отца пил шампанское, обнимался с братьями и друзьями и всем желал получить как можно быстрее Святого Георгия.

— Я с этой войны вернусь полковником! Обещаю это всем! Слышите — полковником! А если, не дай бог, меня ранят, я попрошусь лечиться к тебе, Сергей. Ты же меня спасешь? Правда? Как в прошлый раз... — Кто удивленно, кто со страхом крестился на такие слова младшего Голицына, но списывали все на молодость и шампанское. Сергей ушел грустный.

Поезд нес его в Польшу, на войну, и все в этом поезде были пьяные от счастья, что едут на войну!.. Все, кроме Сергея Мезенцева.

II

Анисим Семенович Кольцов, из свободных крестьян, как ушел служить в инфантерию молодым парнем, так тридцать лет и служил и дослужился до первого офицерского звания — прапорщика, когда его, израненного и состарившегося от походной жизни, отправили в отставку. Наградой за безупречную службу аж трем русским императорам были небольшая деревенька на тридцать уже не крепостных душ в Тамбовской губернии, десяток шрамов на теле от ятаганов турецких и пуль японских да пара медалей и

солдатский Георгиевский крест. Всё! Да еще походная жена, которая скоротала с ним эти тридцать лет, и сын Ефим, с детства при армии и дослужившийся к двадцати пяти годам до унтер-офицера; последние пять лет в пехоте вытаптывал в этом звании, не имея никакого служебного роста. Денег не было, чтобы дать кому надо, и связей не было, чтобы без денег получить офицерское звание. А военные заслуги не учитываются — в государстве российском что ни война, то поражение. Так что унтер-офицер Ефим Анисимович Кольцов, как ни старался, а офицерского звания достичь не мог. Так и в «Табель о рангах» он со своим званием не входил, и обращение к нему было самое что ни есть простое: «господин унтер-офицер». Ладно если бы трусом был, так нет — в отца — смелый! Вот и ненавидел Ефим за это весь белый свет и особенно офицеров. Даже к модным в то время разных мастей социалистам стал прислушиваться: те тоже офицерскую кость ненавидели. И уже решил либо порвать с армией и уехать к отцу в деревню, либо попробовать подготовиться и поступить в университет, благо льгота как у военного с выслугой у него при сдаче экзаменов имелась. Он в юнкерское училище пробовал пару раз поступить, да куда там... К краю подошел в своей жизни Ефим, все, как ему казалось, взвесил и понес рапорт командиру полка на отставку. А у того бумага месяц пролежала в куче таких же непрочитанных бумаг, и чиркнул бы, да все некогда — в карты да с дамами легкого поведения закрутился... И вдруг вызвали Ефима Кольцова к полковнику и вместо объявления об отставке зачитали приказ о присвоении офицерского звания зауряд-прапорщика за выслугу лет. А за этим приказом стояло: повышение оклада, получение, пусть самого низшего, 14-го классного чина по Табели и, главное, ласкающее слух обращение к своей персоне «ваше благородие». Ефим был горд и думал, что это связано с его заслугами перед отечеством; он никак не мог знать, что военное ведомство спустило в армию секретный приказ о приостановке увольнения в запас унтер-офицеров и младших офицеров. В Европе запахло порохом. В Генеральном штабе русской императорской армии разрабатывали очередную стратегию войны на

Западе — с Германией. Понимали: на войне убивают, и не только солдат, кто-то должен и командовать! Не до отставок!..

Ефим Кольцов на полученные деньги справил себе форму, шинель, сапоги и, нацепив новые погоны, был безмерно счастлив. Наконец-то будущее рисовалось радужными красками! Не хватало одного — войны! Ефим к войне был готов — хоть сегодня в бой! И когда объявили, что полк, где командиром полувзвода стал зауряд-прапорщик Ефим Кольцов, направляется в составе 2-й армии генерала Самсонова в Польшу, обрадовался...

Этого раненого занесли в палатку, где развернулся полевой лазарет, первым. Еще никто не знал того огромного количества убитых и раненых. Командующий Самсонов был в окруженной части армии, где командиры корпусов и дивизий не понимали, что происходит: кто дрался и умирал, кто сдавался в плен, кто бежал назад, стараясь прорваться обратно за линию фронта, а немцы с двух сторон расстреливали армию, взятую в клещи.

Молодого человека в форме с погонами зауряд-прапорщика внесли в палатку. Штанина на правой ноге выше колена была в крови и разорвана, из нее торчали куски мяса и чуть-чуть подтекала темная кровь. Выше ранения ногу обвивал туго затянутый жгут с засунутой за резину полоской бумаги. Раненый, весь белый от потери крови, смотрел на Сергея Мезенцева огромными, страшными, молящими глазами и повторял:

— Только не отрезайте ногу... Только не отрезайте ногу... Доктор, прошу вас, только не отрезайте ногу... Куда я без ноги?.. Лучше застрелите!.. У-у-у... А-а-а... Как больно... Доктор, только...

Сергей достал из-под жгута свернутый листок, посмотрел время, написанное карандашом, и, сравнив с временем на часах, стоявших на столике в углу палатки, сказал:

— Один час тридцать минут... На стол его...

— Но мы не можем здесь таких раненых... — начала говорить операционная сестра. — Его со жгутом надо отправить дальше в тыл. Так все хирурги делали.

— Я сказал — на стол! Какой тыл? Он полтора часа со жгутом.

— Доктор, — опять застонал раненный.

— Как вас зовут, прапорщик?

— Ефим... Анисимович... Ефим Кольцов, зауряд-прапорщик, — пролепетал раненный и опять посмотрел на Мезенцева полными ужаса глазами и молил: — Доктор, только оставьте ногу... У-у!

— Ефим, я постараюсь сделать все, чтобы сохранить тебе ногу. Скажу честно, тебя нельзя отправлять дальше — начнется гангрена от перетянутого жгута, так что будем оперировать здесь. Потерпи Ефим!

— Доктор... я все вытерплю... только ногу...

И в этом необъяснимом человеческом напряжении, когда перед хирургом лежит тяжело раненный человек и только он один должен решить: отрезать ему ногу или нет, — не было никакого бахвальства и самолюбования — вот мол, я сейчас сам сделаю, — а было только одно желание: сделать свою работу как можно полезнее этому, любящему тебя в этот момент, молящемуся на тебя, как на Бога, умирающему без твоей помощи человеку.

Когда сняли сапог и срезали штанину, то открылась рваная рана с вывернутыми краями, из которой торчали разорванные мышцы и белела расколотая кость.

— Зажим! — приказал Мезенцев. — Снимите жгут.

Когда сняли жгут, хлынула струя темной крови, но Сергей быстро прижал пальцем пульсирующую струю и, чуть отжимая палец, наложил зажим на кровоточащий сосуд. Кровотечение прекратилось.

— Пощупайте у него пульс на стопе, — попросил Сергей. Медицинские сестры в завязанных за спиной халатах, в масках, закрывающих их лица, и косынках с красными крестами казались все одинаковыми и Сергей, только третий день находившийся на службе в полковом полевом лазарете, не мог их различить.

— Пульсирует! — радостно сказала одна из медсестер.

— Вязать. Кетгут... — Сергей наклонился к лицу Ефима Кольцова и сказал: — Повезло вам, господин прапорщик.

— Спасибо, доктор! — прохрипел тот. В глазах раненого офицера стояли слезы.

— Вы потерпите еще немножко, Ефим Анисимович, я наложу швы на разорванные ткани.

— Хорошо, доктор. Я все вытерплю.

Дальше слышалось обычное для хирургической операции:

— Пинцет... Зажим... Скальпель... Ножницы... Шить... Кетгут... Шелк... Дренажи... Повязку... Аккуратно, у него сломана нога... Шину... Всё!..

Ефим Кольцов лежал белый, сырой от холодного пота, сжатые веки подрагивали, по щекам текли слезы, бледные губы были сжаты в узкую линию.

— Все, господин прапорщик. Теперь вас отправят в госпиталь, и я думаю, что у вас будет все хорошо.

— Спасибо, доктор. Я вам на всю жизнь обязан.

— Полно, Ефим, мы в этой жизни обязаны только Богу и своим родителям... Унесите... Давайте следующего... Приготовьте инструменты и перчатки...

Когда Ефима Кольцова вынесли, он спросил у несущих носилки санитаров:

— Как зовут доктора, что мне жизнь спас?

— А-а! — сказал несущий сзади. — Это у нас новенький. Зауряд-врач Мезенцев... как его... Сергей Дмитриевич.

— Как и я, зауряд, — прошептал Ефим и... заснул.

Ефима Кольцова Сергей Мезенцев запомнил, потому что тот был его первым раненым на этой войне. Ни армия, ни тем более медицина к этой войне не были готовы. Сергей оперировал сутками — так много было раненых. Он, как всякий молодой врач, не чувствовал усталости и стремился максимально оказать помощь страдающим от ран солдатам. В других палатках быстро перевязывали, быстро доставали осколки, где могли — отсекали болтающиеся руки и ноги, а то и не оперировали — накладывали жгут и отправляли в тыл, заранее зная и понимая, что это приведет к ампутации рук и ног. Видеть все это доставляемое с поля боя месиво изувеченных тел было кому-то привычно, кому-то тяжело, кому-то страшно, но и те, и другие, и тре-

тъи старались направить раненых в стационарные лазареты. Там, считали, и врачей больше и условия лучше, а уж опыта... забыв, что войны не было десять лет и военной медицины не было десять лет. Но таковы были установки лечения в условиях войны. Раненых были тысячи. Врачи не справлялись, засыпали в коротких перерывах на стульчиках, с дымящейся папироской во рту, падали от усталости; но еще больше раненых солдат оставалось лежать на поле боя, завывающих от боли или молчащих, уже не надеющихся ни на кого, кто бы мог вытащить их, еще живых, туда, в тыл, к своим, к теплу, к этим людям в покрытых кровью белых халатах, которые становились для солдата в эти часы самыми родными людьми, роднее матери, роднее жен и детей. Им, многим, уже на поле боя отказывали: санитары говорили, что время упущено, и не поднимали таких раненых с земли — безнадежные.

Сергей Мезенцев оперировал, оперировал, оперировал. Менял халаты, перчатки, даже галоши были мокрыми от пота. Менялись уставшие сестры, а он оперировал. Да, он делал операций меньше всех остальных хирургов, значительно меньше, и казалось, оказывал помощь меньшему числу нуждающихся в этой помощи солдат, но он оперировал, он старался сделать все, что мог, для этих людей, смотрящих на него полными жалости и надежды глазами и произносящих своими синими губами, как заклинание, как молитву, только одно слово: «Спаси!»

И этого раненого Мезенцев запомнил.

— Сергей Дмитриевич, тут солдатика принесли. Непонятно, почему и живой? Голову разворотило — весь в крови. Подавать или так... сам...

— Давайте на стол, — хрипло ответил Сергей. — Мне только воды попить принесите... Снимайте повязку с головы!

— Господи, — тихо сказала сестра, когда окровавленную повязку сняли. — Да как же он жив-то?

— Живой я, еще живой, — вдруг зашептал раненый с пришивными погонами рядового. — Доктор, спасите меня... У меня мать одна в деревне. Как же она без меня-то будет?

— Как зовут тебя, солдат?

— Иван... Колокольцев. С Сибири мы... — просипел солдат.

— Лежи, Иван, и терпи...

— Мы терпеливые... только спасите...

По-видимому, пуля или осколок ударился о голову по касательной, а то бы Иван Колокольцев, как десятки тысяч русских солдат, уже бы давно лежал мертвым на поле, где немецкая армия Гинденбурга размазывала по земле русскую армию под командованием славного генерала Самсонова. Мозг пульсировал под костями, торчавшими из раны.

Сергей Мезенцев оперировал и уже не замечал, что говорит уже сотни раз произнесенными за эти дни словами:

— Спирт, йод... простынь... Зажимы... Не те — «москиты»! Терпи, Иван... Шить... Кусачки костные... Не те, дайте Люэра... Хорошо... Молодец... Проволочную пилу... Что вы мне подали? Это у нас такая пила?.. Тогда не надо... Выкиньте ее к чертовой матери... Кусачки... Зажим... еще зажим... Шить... Молодец, Иван Колокольцев... Главное для тебя на оставшуюся жизнь — береги голову!..

— Господи, неужели жив? — прошептал раненый.

— Жив, Иван, жив. Пошевели-ка пальцами рук... Хорошо... А ноги чувствуешь?

— Да, даже шевелятся.

— Повезло тебе, Иван...

— Спасибо...

Почти месяц приносили и приносили раненых с поля сражения под Танненбергом. Были отрезаны тысячи ног и рук и зарыты вместе с погибшими, не донесенными до лазаретов русскими солдатами, а если и донесенными, то умершими на операционных столах или, не дождавшись своей счастливой минуты, умершими около операционных палаток. Умерших офицеров было меньше: их первыми выносили с поля боя и первыми оперировали, за их спасение солдаты получали заслуженный Георгий. А где Георгий, там и повышение по службе, и денежки доплатят. За простого же солдата, своего родного Ваньку, ничего не

давали, наоборот, можно было получить пулю вражескую. А жить-то всем хотелось, так что солдаты уповали на русское, православное милосердие. Все надеялись и верили: война вот-вот закончится — и успеть бы Георгия получить!.. Да не одного, а как у Кузьмы Крючкова — через всю грудь!

Миллионная армия еще не шаталась от усталости, еще были патроны, винтовки и снаряды, и кормили сносно: каша, мясо и хлеб по-военному рациону. Ну а то, что раненые и убитые, так на то и война — не повезло. Значит, не судьба остаться живыми!..

Через три месяца войны раненые уже на поле боя кричали санитарам и своим товарищам: «Не бросайте, братцы! Тащите к этому кудеснику — он нашего брата понимает, говорят, руки-ноги не отрезает, а если и оторвало — пришьет. Не бросайте братцы, тащите!.. Ногу-то, ногу чего оставили, с собой возьмите... Пришьет же!»

А про запас носили с собой найденные у убитых немцев перевязочные сумки и пакеты. Все в армии знали: у кого есть такое богатство, того хирурги на стол берут без очереди. Шутили: «Гроб, наверное, тоже с собой носить надо. Как у немцев». Немцы и правда носили в ранцах плотные бумажные мешки вместо гробов — убили, сунули, завязали и в яму... Удобно!..

Раненого унтер-офицера положили на операционный стол. Ранение было нетяжелым: осколок ударил в спину, в лопатку, расколол ее и застрял в кости. Сергей уже заученно проговорил:

— Потерпи, солдат, будет больно... Крючок... Зажим...

— Ой, Господи!

— Всё! Вот твой осколок, — Сергей показал унтер-офицеру зажатый в инструменте маленький острый кусочек металла. — Повезло тебе... Шить...

Когда унтера перевязали и подвесили на косынке руку, он сел на стол, пошарил здоровой рукой в кармане армейских брюк и достал отливающую металлическим блеском, скрученную тонкой косой, проволоку с небольшими колечками на концах.

— Я у немца убитого нашел. Сумку-то с бинтами мы санитарам отдали, а это вам, ваше благородие. Санитары говорят, что это ваш инструмент. Только непонятно для чего.

— О-о?! — радостно удивился Мезенцев. — Проволочная пила Джильи. Ты посмотри-ка, какая необычная! Вроде как с алмазной крошкой... Спасибо, большое спасибо тебе. Это точно наш инструмент — для костей. Только этой, наверное, и железо можно перепилить!.. Вот удружил!.. Хочешь, денег тебе дам?

— Да мы, ваше благородие, рады стараться. Для вас... всегда, пожалуйста. Видите, как вы меня: раз — и готово!.. А от спиртика уж не отказался бы.

— Налейте герою спирта. Полный стакан. А насчет «готово» не спеши. Дальше поедешь лечиться, в госпиталь.

— А воевать-то еще смогу?

— Захочешь — сможешь. Девушки, запишите его данные.

— Семен Винокур, унтер-офицер, — крикнул весело раненый. — Я еще не навоевался. Я еще в прапорщики хочу выйти.

— Будешь, будешь, прапорщиком, Семен, — сказал Винокуру Мезенцев и тихо добавил: — А чем черт не шутит, может, и полком командовать будешь. Людей на смерть посылать... Подавайте следующего...

За эти первые недели и месяцы войны у него появилась отточенность движений рук и уверенность. Его длинные пальцы становились все более гибкими, иногда казалось, что они действуют сами по себе; исполнение операций постепенно превращалось в искусство, если так можно назвать эту кровавую работу. Но он этого не замечал — он лечил раненых солдат. Замечали другие.

III

Выйдя быстро — за два дня — замуж за Николая Семенова, Таня впала в какую-то меланхолию: ходила по дому, ела, что подавали, делала, что просили, — чего сама не понимала, а когда теперь уже муж Николай Семенов сказал,

что они втроем — он, она и мать Тани Наталья — уезжают в Италию, безропотно согласилась. Единственное, что она сделала сознательно, — рыдая, написала письмо Сергею и отправила. До того, как это письмо попало в почтовый ящик, его вскрыл и прочитал Аристарх Семенов — у него по всему дому Русановых и за всеми была установлена слежка. Если бы не просьба Татьяны в письме Сергею ее не искать, то вряд ли это письмо дошло бы до Сергея. Прислуга была так запугана Аристархом, что безропотно выполняла все его приказания. Аристарх прочитал письмо, скривился от прочитанных слов любви и приказал: «Несите на почту», а сам подумал: «Колька-то справится ли с ней? Тихоня! Девка-то, как отойдет от горя, может такого наворочать — всем мало не покажется. Господи, за что наградил таким сыном? Нет, не в меня! Все старая карга со своей кровушкой». Единственная, кто радовалась отъезду, была Наталья. Она понимала, что ради собственного блага совершила подлость, и хотела, уехав, вдалеке от этого «ужасного дома» загладить свою вину перед дочерью. Дед, Николай Иванович Русанов, был расстроен отъездом единственной внучки, но не сопротивлялся, сказав ей на прощание: «Я очень хочу тебя дождаться». Наталья попрощаться к нему не пришла. Мать и дочь сходили на могилу отца, и ранним утром поезд повез их через всю Европу в теплоту Адриатики и Средиземноморья.

Только по прибытии в Рим, расположившись в гостинице, где супругам была отведен совместный номер, Николай Семенов силой взял свою жену; она не проявляла к его желаниям никаких чувств, сопротивлялась, и он, не выдержав, ударил ее в живот. Когда она, охнув, в слезах, захлебнулась от боли, слюняво целуя, быстро изнасиловал ее и еще больше взбесился от этой своей слабости — замахнулся, чтобы ударить ее по лицу, но увидев ненавистный взгляд, испугался и крикнув: «Шлюхи в борделе намного лучше!» — хлопнул зло дверью и ушел. Больше всего его разозлило то, что Татьяна не оказалась девственницей, хотя он знал и сам неоднократно видел, как она возвращалась со встреч со своим доктором только утром, а иногда ее

не было дома несколько дней кряду. «Приеду домой, убью эту сволочь!» — подумал ненавистно о Мезенцеве. Больше он ее взять не смог — она кусалась, царапалась, рычала, как львица. Через неделю таких бесплодных «супружеских обязанностей», он ударил ее в лицо и, увидев, как потекла кровь из разбитых губ и носа, зло прошептал: «Я тебя, блядь, забью насмерть!» И пошел к итальянским проституткам, от которых пришел утром необычайно довольный. В нем что-то происходило — оторвавшись от дома, от опеки отца, он сам чувствовал, что меняется, в нем изнутри — не от головы, не от сердца, откуда-то от урчащего живота поднималась по горлу желчь и злость на всех: на родителей, на жену, на тещу, на итальянских проституток, на всех...

После двух недель, проведенных в Риме, семья переехала на виллу в маленьком городке Специя. У дверей плескалось необыкновенной красоты, изумрудного цвета море, но оно радовало только Наталью. Татьяна окружающей ее красоты не замечала. Николай, по настоянию своего отца, высказанному еще при отъезде из России, стал вникать в возможности торговых отношений с итальянскими компаниями и даже, взяв счеты и карандаш, посчитал, что отправка северной доски с далекого Белого моря, вокруг всей Европы, в Италию может приносить неплохие барыши. Он весь ушел в работу, после которой вечерами пил со своими новыми итальянскими друзьями, а ночи проводил у проституток, и если ночевал дома, то спал в своем кабинете и больше не досаждал жене ни своими желаниями, ни угрозами. Он просто перестал ее замечать. Так текли дни, недели. Когда прозвучали выстрелы в Сараеве, ни Николай, человек далекий от политики, ни Татьяна с матерью Натальей не обратили на это внимания и продолжали жить каждый своей жизнью, пока на виллу не пришли итальянские чиновники и не сказали, что Италия, союзница России по «Сердечному союзу», пока не вступает в войну с Австро-Венгрией, но они предупреждают, что русские уже не смогут вернуться в Россию обычным путем — поездом. И если они захотят вернуться домой, то лучше это сделать, уехав во Францию и уже оттуда добираться до России мо-

рем. Хотя говорят, что немцы не соблюдают законы войны, нападают и топят торговые и гражданские суда. Наталья наотрез отказалась ехать в Россию, заявив: «В этой стране мне делать нечего». Оказалось, что в Италии у нее был довольно состоятельный любовник, винодел. Николай обрадовался, что Наталья не поедет в Россию, но в отношении Татьяны заявил: «Жена всегда должна следовать за мужем». Татьяна не чувствовала подвоха, она очень хотела вернуться и согласилась. Прощаний не было. Мать и дочь закрылись в спальне матери и проговорили и проплакали всю ночь.

— Мама, я беременна, — сказала Татьяна.

— Ну что же, это хорошо. Я, конечно, не люблю ни твоего свекра, ни твоего мужа, но это, я думаю, в какой-то мере загладит мою вину перед тобой.

— Мама, ты меня не поняла. Я беременна не от мужа, я беременна от Сергея!

— О господи! Как?.. Ты уверена?

— Не забывай, мама, я училась на врача и даже посещала Повивальный институт самого профессора Отта. Это ребенок Сергея.

— Николай знает? Догадывается?

— Думаю, что нет, да мне на него наплевать!

— Побойся Бога! Если он узнает — мы вновь окажемся на грани нищеты!

— Хватит, мама! Довольно! Ты уже один раз меня предала и хочешь предать еще раз? У тебя есть твой итальянец, и ты сама говоришь, что он хочет на тебе жениться. Выходи за него замуж. Но больше мне не мешай. Я еду в Россию и ухожу от мужа! Я так решила. Прощай!

— Я все-таки надеюсь, что мы когда-нибудь свидимся. Говорят, эта война продлится не больше полугода. Может быть, ты останешься — потом поедешь, когда все кончится?

— Нет, нет и нет! Я еду в Россию! Я еду к нему!

— А ты ему нужна? Раз началась война, то его, наверное, призвали в армию — он же хирург. Может, уже и убит?

— Мама, что ты такое говоришь? Как ты можешь такое говорить? Его могут призвать в армию только через год,

когда он окончит академию! Почему ты так плохо относишься к нему? Ладно дед — у него какие-то непонятные отношения были много-много лет назад с его родственниками. Но Сергей-то вообще приемный ребенок. Его мать и отец погибли. А в его роду какие-то генералы...

— Откуда ты знаешь?

— Он показывал мне дневник своего отца — всего несколько страниц. Может быть, его родные не знают, что он жив. Да и наплевать мне, какого он роду-племени. Это для вас необходимо дворянство, деньги, свет! Чушь все это! И мне кажется, что ты никогда не любила. Даже моего отца. А я люблю Сергея, и это сейчас самое главное в моей жизни. Прощай!..

Мать и дочь обнялись, еще поплакали, и Татьяна ушла, не оборачиваясь. Мать перекрестила ее, уходящую...

Вечерний поезд побежал из Италии, через горы, во Францию, в Париж, где все были напуганы, паковали чемоданы, штурмовали поезда, идущие на юг страны, понимая, что вот-вот под Триумфальной аркой по Елисейским полям вновь пройдут, как в прошлой франко-прусской войне, тяжелым шагом германские солдаты в рогатых касках. Немцам для этого осталось совсем немножко — они стояли на Марне!..

IV

За полгода боев Сергей Мезенцев приобрел такую известность в полку, что раненые на поле боя плакали и просили своих товарищей не бросать их умирать и нести их к «кудеснику» — так меж собой называли его солдаты. Даже если он не мог спасти руку или ногу и предлагал ампутировать, то они все равно почему-то считали, что он им спасет жизнь, где-то там, у сердца понимая, что не удали он эту руку или ногу — пришлось бы ложиться сразу в «деревянный мундир»...

Вот такого, уже «одетого в мундир» солдатика, раненого в живот, плачущего и молящего, чтобы его несли к кудеснику, принесли к палатке, где была развернута пол-

ковая операционная. Раненый затихал, а потом вновь начинал плакать и ругаться матом, но когда к нему подошел Сергей, тихо спросил у санитаров:

— Это он? — те кивнули головой, и он тихо и жалобно обратился к Мезенцеву: — Доктор, я все вытерплю. Спасите меня. Меня к вам с поля боя нести не хотели. Говорят, времени много прошло да в живот ранило, а я вот упрямый. Спасите, доктор. Нам прапорщик Ефим Кольцов сказал, что если ранят, то только к вам.

— А-а, Ефим. Где он сейчас?

— Так у него нога-то срослась, и он опять вернулся на войну. А мог бы и не возвращаться. Так нет, все воевать хочет. Георгия получил, и в прапорщики произвели. Он и приказал, чтобы к вам несли; санитару одному аж в зубы дал, чтобы нес. Спасите!..

— Правильно и приказал. Так, когда ранение произошло?

— Часа полтора-два, не больше.

— Не ври, говори честно.

— Шесть часов уже, — тихо-тихо прошептал солдатик и страдальчески посмотрел на Мезенцева черными, как уголь, глазами из-под красиво изогнутых бровей. — Что, всё, доктор, деревянный мундир пора надевать?

Сергей посмотрел на красивого солдата, лица которого уже коснулась смерть: кожа была синевато-белой, отчего большие глаза казались неестественно черными, как угли, и тихо спросил:

— Сколько тебе лет?

— Семнадцать, ваше благородие.

— Такой молодой, а награжден за храбрость, — на груди солдата висел солдатский Георгий. — Как зовут?

— Родион, — тихо, но мягко и протяжно произнес раненный в живот солдат.

— Украинец?

— Одессит, — прошептал.

— Вот что, одессит, я тебе ничего не обещаю. Слишком много времени прошло. Но у нас сейчас наркоз появился, так что попробуем.

— Спасибо, доктор, — прохрипел красивый солдат.

— Рано благодаришь. Несите его в операционную.

Странно, но раненый солдат даже не кашлянул на эфир, который капали на маску, — он сразу уснул.

— Намалялся, бедолага, — сказал Мезенцев. И уже привычно: — Йод... спирт... скальпель...

Солдату повезло: осколок пробил живот, прошел насквозь сальник, пробил брыжейку тонкой кишки и, воткнувшись в заднюю стенку живота, застрял в стенке пульсирующей аорты.

— Вот это везунчик! Смотрите все! — Сергей показал на колыхающийся вверх-вниз осколок, потом очень осторожно захватил его зажимом и достал, выдохнул обрадованно, что не началось кровотечение, ушил отверстие в брыжейке — удалять часть кишки не пришлось — и удалил часть сальника.

— Нет, какое везение. И повезло, что его при таком ранении не бросили на поле боя. Может, Бог смилостивился, а может, благодаря тому, что Ефим в зубы санитару дал.

— Очень жить хотел! — сказала операционная сестра.

— И то верно! Шьем.

Когда раненый очнулся от наркоза, Сергей наклонился над его красивым белым лицом и, глядя в черные украинские глаза, сказал:

— Ты, парень, в рубашке родился! Как зовут тебя, герой?

— Родион Малиновский.

— Благодарю своих товарищей, что вынесли тебя с поля боя. А это тебе на память, Родион Малиновский, — Сергей положил на грудь раненого маленький мятый кусочек металла. — Свечку Господу поставь. Ну и Ефиму не забудь.

— А я пока спал, сон видел удивительный, что я всем русским войском команду — аж фельдмаршал, — тихо и радостно сказал красивый черноволосый молоденький солдат.

Окружившие его медсестры сбежали посмотреть на красивого солдата, засмеялись:

— Так нам уже теперь, сразу, за тебя замуж выходить или подождать, когда фельдмаршалом станешь?

— Можно сразу и всем. Я парень крепкий.

— То, что ты крепкий, — это видно. Выздоровливай, будущий фельдмаршал Родион Малиновский... — сказал Мезенцев.

— Говорят, наш полк аж во Францию отправляют. Вот бы успеть. Там, говорят, вместо воды вино дают.

— Ты там не спейся, Родион. А то тебя русские девушки не дождутся, — засмеялся Мезенцев.

— Так я там с французенками амуры крутить буду.

— У-у, какой ты! Может, когда их увидишь, сразу поймешь, как ошибался.

— Страшные?

— Не знаю, я в Париже не бывал, но те, которых я встречал в России, очень отличались от наших женщин. Заболтался я с тобой, Родион. Уносите и давайте следующего.

V

Никто не знал и даже не догадывался, что у Николая Семенова все было готово заранее: он договорился с капитаном голландского торгового судна и под видом матроса должен был переплыть из французского Гавра в нейтральную Швецию, а там до Петербурга было рукой подать. Прошло уже три недели, как они переехали из гостиницы в центре Парижа в маленький, кишаший тараканами отель в рабочем районе за площадью Бастилии. Николаю уже было на Татьяну наплевать, он бы давно уехал, но отъезд сдерживали банки, которые не хотели отдавать со своих счетов все деньги Николая Русанова, а оставлять он не хотел ни одного франка, ни одного золотого русского рубля. Он злился, ждал и пил. Его злила жена и ее уже заметная беременность.

— Когда мы отсюда уедем домой? — спросила Татьяна.

— Куда домой? Везде война.

— Дай мне денег, и я доберусь до России сама...

— Денег?! Каких денег? Моих, семеновских? Вы все: ты, твой дед — старый хрыч, твоя сучка мать хотите только одного — денег, денег, денег! Мы, Семеновы, всю жизнь

гнули спину на вас, буржуев и дворян Русановых, а что взамен? Нет у меня денег!

— Но ты же забрал еще неделю назад все деньги из банка?

— Ну и что? Я, может быть, и должен тебе денег, но я должен денег честной жене, а не шлюхе, беременной неизвестно от кого. Неужели ты думаешь, что проведешь меня и я буду воспитывать этого выблядка? — Семенов показал на живот Татьяны. — Ты меня плохо знаешь.

— Зачем же ты на мне женился?

— Я бы никогда не женился на тебе. Мне и своих баб хватало! Это мой папенька все провернул, чтобы заводы ваши забрать...

— Забрал?

— Э-э-э. Что?.. Да... папенька-то забрал...

— Ну раз все, что задумали и решили, сделали, то отпусти меня.

— Иди на все четыре стороны.

— Я бы ушла — у меня нет денег.

— Хорошо, я подумаю, — Семенов вышел из комнаты отеля.

На следующий день пьяненький хозяин отеля поступался в номер и протянул Татьяне конверт:

— Это просили вам передать, мадам Семенова.

— Мне? От кого?

— Мне искренне жаль, но, как я понимаю, это письмо от вашего мужа... Вы, русские, такие странные: живете в одном номере и пишете друг другу письма.

Таня открыла конверт, в нем лежали двести франков и сложенный вдвое листок. На листке было начертано корявым подчерком одно слово: «Прощай».

Хозяин гостиницы посмотрел на побледневшую красивую женщину. Он все понял и тихо сказал:

— Мадам, ваш муж не оплатил гостиницу на неделю вперед. Мне искренне жаль, но вы должны либо оплатить гостиницу на неделю вперед, либо съехать. Таковы правила.

— Сколько стоит неделя в отеле?

— Сто франков, мадам.

— Я поняла. Где у вас ломбард?

Хозяин отеля объяснил, поклонился и, выйдя из номера, прижал ухо к двери — за дверью было молчание.

— Не мужчина — мразь! — сказал хозяин и пошел на звон колокольчика — какая-то нищая бедолага искала дешевый угол.

Женщина в номере опустила на кровать, стала непроизвольно перебирать края красивой, расписанной цветами шали и шептать: «Подлец, подлец, подлец...» — слезы закапали из ее глаз, она зарыдала и вдруг почувствовала, как ребенок в животе ударил ножкой... раз...другой... Женщина улыбнулась, вытерла кончиком платка слезы и прошептала: «Ты моя любовь...»

По Парижу шла беременная женщина; она была одета не по сезону легко: жакет и юбка; она очень хотела есть, но еще больше есть хотел ребенок в ее чреве: от голода он беспрерывно стучал ножками. Женщина была в полубоморочном состоянии от безысходности. Она в этой своей безысходности приняла единственное, как ей казалось, правильное решение — она шла к мосту через Сену... И дошла бы, но что-то удержало ее, какие-то слова. Женщина остановилась, чтобы понять, что ее удивило. Она была так слаба от голода, что, только сосредоточившись, вдруг поняла, что ее поразило: русская речь.

За столиком уличного кафе на площади Бастилии сидели русские солдаты в красивой форме, у некоторых на груди блестели кресты. Они пили вино и весело смеялись.

Женщина в страхе — не за себя, за своего ребенка — по какому-то внутреннему побуждению подошла к столику и стала рассматривать солдат. Их было четверо, всех больше смеялся и веселился, наверное, самый молодой из них, очень красивый, какими бывают только украинцы: черноокий, с изогнутыми бровями, черноволосый, с матовым отливом кожи на лице. Он что-то, по-видимому, веселое рассказал своим товарищам, и те смеялись и говорили:

— Ну, Родион... Давай, расскажи еще что-нибудь про свою Одессу...

Солдаты заметили внимательно смотревшую на них женщину, прекратили смеяться, и один обратился к своим товарищам:

— Может, поможем этой женщине? Смотрите, она на сносях, — и стал рыться в карманах приговаривая: — Сейчас, мадам, мы вам поможем. Что делать, Бог велел помогать... Да вы, французы, этого не понимаете...

— Мне нужна ваша помощь, — сказала Татьяна.

Солдаты застыли, а потом вразнобой заговорили:

— Э, да ты наша, русская... Чего ж ты себя так довела?.. Не лето, чай... Хочешь поесть?

— Я хочу, чтобы вы помогли мне добраться домой, в Россию.

— Эк куда ты загнула. Мы бы тоже хотели домой, в Россию, да война, барышня, — как в нее, родимую, попадешь. Нас вон и то аж с Дальяна, морем, через весь свет привезли. Месяц блевали в эти моря. А ты — домой.

— Я доберусь, через Швецию. Мне бы денег на поезд, чтобы до Гавра доехать и на корабль попасть.

— О господи! Да ты, барышня, здесь-то как оказалась-то? Замужем? Где муж?

— Я еще до войны в Европу уехала. Замужем. А муж, наверное, на войне. Он врач. Хирург.

— У, барышня, я хирургов уважаю, — сказал красивый солдат. — Меня никто не хотел спасать, а этот спас. Кудесник, — солдат достал из левого нагрудного кармана маленький мешочек, растянул тесьму и вытащил кусочек металла: — Вот, из моего живота достал. Себя не хвалил, только сказал, чтобы свечку большую Богу поставил, так мне повезло. Нет, хирургов я уважаю!.. Твоего-то как зовут?

— Мезенцев Сергей Дмитриевич, — почему-то соврала Татьяна.

— О боже! — вскрикнул красивый солдат. — Так это он меня и спас. Это его там, на фронте, кудесником зовут. Как звать-то вас, барышня?

— Татьяна. Татьяна... Мезенцева, — опять соврала Татьяна.

— Садитесь, барышня. Пойдемте, я вас посажу вон за тот столик, — солдат встал и проводил Татьяну к свободно-му столику, крикнув официанту:

— Эй, холера, неси быстро барышне поесть! — тот стоял, не понимая. — Как же тебе объяснить-то?..

— Я скажу, — сказала Татьяна, по-французски попросила официанта принести ей булку и молока и, повернувшись к солдату, спросила:

— А как вас зовут?

— Родион меня зовут, Малиновский.

— Мне нужна ваша помощь, Родион. Я хочу попасть домой. Помогите мне деньгами.

— Как же вы, барышня, домой-то хотите попасть — война кругом.

— Отсюда доеду до Гавра поездом, а там сяду на торговое судно, плывущее в Швецию.

Что так надо делать, она помнила — так хотел добратся до России ее муж, когда кричал пьяный: «Через Гавр в Швецию!» И с отвращением подумала: «Бывший муж».

— Вы ешьте, барышня, ешьте, а я пойду поговорю с то-варищами.

Родион отошел к солдатам и что-то стал бурно рассказывать, время от времени показывая лежащий на ладони металлический осколок. Татьяна осторожно кусала маленькими кусочками крошащийся белый, мягкий, теплый хлеб и запивала молоком. Даже крошки старалась собрать. Ребенок перестал стучаться и успокоился. «Наелся», — радостно подумала Таня. От еды ей захотелось спать, но она крепилась. Официант смотрел тревожно — что еще придумают эти русские? Это же надо — нищенок кормят! К Татьяне подошел Малиновский.

— Барышня, мы вот тут собрали денег, сколько есть. Мы не знаем, хватит ли вам этих денег, но не обессудьте — сколько смогли, — Малиновский положил на столик перед Татьяной мятые франки и мелочь. — За еду мы рассчитаемся, не беспокойтесь. Вам бы, извините, барышня какую-нибудь одежку купить. Здесь-то осень, а дома зима.

Потом вздохнул, глаза увлажнились, солдат всхлипнул и повторил грустно:

— Зима.

— Спасибо вам, Родион, и вашим товарищам спасибо.

— Да что вы, барышня, неужели мы не русские. Это вашему мужу спасибо. Не он бы — я бы перед вами не стоял...

Таня встала. Официант сделал удивленное лицо, но Малиновский крикнул:

— Не трожь ее! Я заплачу, — и повернулся к Татьяне: — Прощайте, барышня. Когда доберетесь до России, поклонитесь земле нашей от нас, солдат русских. Мы ее не забываем.

Солдаты встали и закивали стриженными головами. По их лицам было видно, что они безмерно рады сейчас, в эти минуты, ими содеянному. Так бывает, когда человек очень хочет что-то хорошее, доброе сделать для другого человека и у него это получается, и тогда он так, как-то по-детски, не скрываясь, восхищенно этому радуется. Как человек, который поставил свечку Богу, прося его помочь родным и любимым людям, и это вдруг происходит; и тогда в душе наступает такое необъяснимое счастье, не за себя и даже не за свой поступок, а за Бога... В такие моменты и умирать становиться не так страшно — человек знает: доброе дело в этой жизни успел сделать. Может, не сам, но все же... И особенно это хорошо для солдата, который каждый день видит только смерть.

Таня отошла от кафе, а сзади неслось: «Счастливого пути, барышня... Домой-то всегда легче — ноженьки сами несут... Мужу-то, мужу поклон передайте...»

Она быстро шла и вдруг остановилась и ужаснулась тому, что всего несколько минут назад хотела сделать совсем другое, противоестественное, воспринимаемое Богом как самый тяжелый человеческий грех... Она несколько раз перекрестилась и произнесла слова какой-то молитвы: «Господи, прости меня...» И поняла: теперь у нее есть цель — добраться до России и увидеть Сергея! «Как я лег-

ко его женой-то стала... Стыдно-то как... Приеду — покаюсь», — думала она и шла, спрашивая дорогу к железнодорожному вокзалу с поездами, отходящими на Гавр. Французы шарахались от нищенки, но кое-кто отвечал — не милостыню же просила.

Около вокзала стояли люди, одинаковые в любой стране, когда наступают дни лишений для народов — война. Люди продавали свои вещи, чтобы потом купить кусок хлеба и спасти, накормить своих голодных детей. Таня долго ходила, приценивалась, отходила, торговалась и в конце концов купила неприметное, ношенное, но, чувствовалось, теплое шерстяное пальто. Рассчиталась, сразу надела, и ей стало так уютно и тепло...

Купив билет и сев в поезд, она прижалась в угол к теплой стенке, где, по-видимому, проходила какая-то горячая труба и заснула. Ей было так хорошо еще и оттого, что в ее животе тихо спал ребенок. Во сне она видела Сергея... он ее целовал и что-то очень хорошее и доброе шептал на ухо. Вагон покачивался, и было такое родное ощущение покачивания яхты на волнах Финского залива. Женщина улыбалась и плакала во сне...

В Гавре была невообразимая толчея от людей, желающих покинуть Францию. Татьяна растерялась — она не знала, как правильно поступить. Она отстояла очередь в кассу и спросила в окошко, может ли она купить билет до Стокгольма; женщина-кассир удивленно посмотрела на нее и ответила, что таких рейсов больше нет — война, а потом тихо посоветовала договориться с каким-нибудь капитаном торгового судна, идущего в порты Швеции.

— А сколько это будет стоить? — спросила Таня.

— Точно не знаю, но, наверное, франков сто — сто пятьдесят, может, больше — как сторгуетесь, — ответила кассир.

Таня мысленно посчитала деньги, что лежали у нее в лифчике, и подумала: «Не хватает... Поторгуюсь». Она отошла от кассы и стояла, задумавшись, когда к ней подошел одетый в хорошее дорогое пальто и шляпу мужчина и спросил:

— Извините, мадам, я случайно слышал ваш разговор у кассы. Я, наверное, смогу вам помочь. Правда, это будет стоить денег. У вас есть деньги, мадам?

— Да, конечно, — непроизвольно по-русски ответила Татьяна.

Мужчина удивленно посмотрел на Татьяну, а потом спросил:

— Вы не француженка?

— Я русская.

— О! Тогда это моя обязанность — помочь нашим союзникам. Наверное, ваш муж воюет?

— Да, он на фронте.

— Пойдемте со мной.

Они вышли из вокзала и пошли за какие-то кирпичные постройки. Татьяна испугалась и остановилась, но мужчина улыбнулся и сказал:

— Мы идем в помещение, где собираются капитаны торговых кораблей. Там мы обо всем и договоримся. Не бойтесь, все так делают.

Татьяна мотнула головой в знак согласия и пошла. Ей хотелось как можно скорей попасть на корабль. Они зашли за угол красного кирпичного склада, мужчина вдруг повернулся к Татьяне и вынул руку из кармана пальто — щелкнула пружина, и выскочило блестящее лезвие ножа. Мужчина произнес по-русски:

— Давай сюда свои деньги! И не вздумай, сучка, кричать — прирежу. В твой живот пику ткну — и все, не будет ребенка.

Татьяна ойкнула и стала руками шарить за пальто, за кофтой.

— Чего ты тянешь? Быстро снимай пальто!

Таня, в страхе, не понимая, расстегнула пальто и стала его снимать, когда произошло что-то необъяснимое: из-за ее спины появился человек, каким-то ловким ударом выбил у бандита нож и нанес ему удар в челюсть. Кость хрустнула, и бандит, отлетев к кирпичной стене, упал без сознания. Перед Татьяной стоял высокий, поджарый, седой мужчина

с необычно жестким взглядом серых глаз. Мужчина потер кулак и спокойно сказал:

— Барышня, здесь не Россия. Здесь нельзя доверять людям.

— Так он, кажется, русский? — крикнула, почти теряя сознание, женщина.

— Так я это еще на вокзале понял, когда он вас разводил. Пойдемте.

— Разводил — это что?

— На бандитском жаргоне: обманывал, заставлял поверить. Так часто при игре в карты делают. Пойдемте, пойдемте быстрее, не дай бог, полиция нагрянет.

Они быстро вернулись на вокзал.

— Что, хотите попасть домой, в Россию? — спросил мужчина.

Таня испуганно насупилась. Она уже не понимала — верить ей или нет этому человеку?

— Не бойтесь, я другой русский. Тоже хочу попасть в Россию, на войну.

— И как попасть?

— Садитесь вот сюда на скамейку и никого не слушайте, а я пойду решать нашу проблему.

— А деньги?

— Ах, барышня, барышня, в этом-то и вся проблема русских женщин — в доверии. Француженка и не подумала бы говорить о деньгах, пока не получила товар, да еще бы и торговалась час. Вот я и пойду торговаться.

— Как вас зовут?

— Иван Меркулов. А вас?

— Татьяна... Мезенцева.

— Всё. Отдыхайте, Татьяна, а я пошел. Может, вам принести что-нибудь поесть?

— Нет-нет, я буду ждать вас... — испуганно ответила Татьяна.

— Ну и хорошо.

Меркулов вернулся часа через два.

— Пойдемте, Таня, я договорился. Через час корабль уходит в Гётеборг.

Таня не шелохнулась.

— Бойтесь? Наверно, правильно делаете. Как это у нас, у русских: «Обжегшись на молоке, на воду дуем». Пойдемте, пароход нас ждать не будет!

Таня поднялась и пошла за мужчиной. Она вдруг поняла, что этот взрослый человек, ее земляк, наверное, единственный сейчас человек, кто может ей помочь, и только от него зависит, сможет ли она попасть домой, в Россию.

VI

Иван Меркулов, революционер, террорист, приговоренный царским правительством ко многим годам каторги, стремился попасть в Россию, и не просто в Россию — он стремился, он желал попасть на войну.

Две недели назад в Швейцарии у него произошел разговор с Владимиром Лениным, после чего он и оказался здесь, во Франции, на берегу Ла-Манша.

— Эта война, — говорил Ленин и нервно ходил по комнате, — империалистическая, хищническая и ничего, кроме страданий, не может принести народам. Воюет обманутый буржуазией солдат — тот же пролетарий, только одетый в солдатскую шинель. И проигрыш в войне приведет любую страну к революции. Так пусть лучше это будет проигрыш России!

— Я с вами не согласен, Владимир Ильич. Как можно желать поражения своей стране, своему народу? Это подло!

— Та-ак. Вы меня назвали подлецом, тов... господин Меркулов? Вы думаете, что я вызову вас на дуэль? Не надейтесь. Все эти замашки галантных юродивых кавалеров вы оставьте при себе. Да и по рангу не положено — я все-таки дворянин. Доказательством моей правоты будет сама история. Самодержавие рухнет, и эта ненавистная народу империя прекратит свое существование! Ступайте, я вас не держу!

— Хорошо. Ни бить по лицу, ни вызывать на дуэль я вас не стану, товарищ Ленин. Я скажу просто: вы предатель русского народа.

— Никакого «русского» народа нет. Это выдумки, чтобы развивать ненависть одних народов к другим. Вы, Меркулов, великорусский националист. Запомните: у пролетариев нет отечества! Вот и идите и защищайте свой народ и свое отечество, а мы, большевики, желаем этому народу и России поражения... Уходите!..

Меркулов ушел.

И сейчас даже себе не мог ответить, почему он помог этой молодой женщине. Может быть, потому что она беременна? Но он был рад, что помогает ей, что-то непонятное, родное, приятное было в ней, и он понимал, что уже не бросит ее и поможет ей добраться до России.

Корабль был старый, дымил черным дымом, скрипел всеми своими заклепками и был заполнен угольной копотью. Капитан выделил русским маленькую каюту, одну на двоих. В каюте была одна железная койка с голым старым матрасом и привинченный к стене столик. Свет падал только из круглого иллюминатора, который находился почти на уровне забортной воды, так что брызги от волн ударялись о стекло. Было душно и качало от небольшого шторма.

— Ложитесь, Таня, и отдыхайте. А я пойду, найду кипятка.

Меркулов вернулся с чайником и двумя кружками. Налил кипятков и, порывшись в карманах куртки, достал яблоко и мятую булку.

— Масла, к сожалению, нет, и сахара тоже, — Меркулов улыбнулся одними губами, глаза оставались такими же строгими. Когда он разрезал яблоко, рукава куртки завернулись и стали видны рубцы на запястьях. Заметив удивленный Танин взгляд, Меркулов строго, немигающе посмотрел, а потом опять улыбнулся одними губами и сказал:

— Не бойтесь, не бандит. Политический. Это от кандалов на каторге.

— А вас в России не арестуют?

— Могут. Но я хочу защищать свою страну. И если придется, погибнуть за свой русский народ, когда отечество в опасности, не до политических разногласий. К сожалению,

это не все понимают, некоторые ратуют за поражение России в этой войне.

— Как можно желать поражения своему отечеству? Они русские?

— Русские, только считают, что ни национальностей, ни государств скоро не будет.

— Как это?

— А будет одно мировое государство трудящихся без эксплуататоров... Не ломайте голову, Таня, поешьте и отдохните. Я пойду на палубу. Я моря много лет не видел. А когда-то мой друг Володя Боков все меня на Финский залив кататься на лодке вытаскивал. Вот любил море, а плавать не умел...

— Меня тоже мой муж любил катать на яхте по Финскому заливу. Так хорошо. До Ораниенбаума, а то и до Выборга.

— Знакомые места. А мы катались поближе к берегу, у Васильевского. Кто ваш муж?

— Врач. Он на войне.

— Хорошая профессия врач, лучшая. Отдыхайте Таня. За меня не беспокойтесь. Если захотите... туда, то гальюн — это по-морскому уборная, — как выйдете из каюты, направо по коридору до конца.

Таня выпила чай, и ей стало так тепло и так хорошо от ощущения силы и защищенности, идущей от этого необычного, сурового на вид человека. «Как отец, — подумала она и всхлинула — ребенок толкнул. — Спи, спи». Она свернулась калачиком, накрылась своим пальто и заснула. Корабль качало. Женщина спала. Ребенок спал...

Немецкая подводная лодка в серости балтийского утра кораблик заметила, но командир посчитал неуважением к собственной персоне тратить торпеду на такую шаланду, да и флаг был торговый, голландский. Капитан ждал военный транспорт — за него он мог получить Железный крест, а за этот корабль — выговор, что израсходовал дорогую торпеду. Можно было, конечно, расстрелять из пушки, но для этого надо, чтобы капитан кораблика испугался и застопорил ход. Так капитаны таких шаланд бывают столь непредсказуемыми, что могут протаранить лодку. Пусть плывет, по сильнее волна — и сам утонет!..

На третьи сутки непрерывной, выматывающей болтанки они приплыли в Гётеборг, без проблем сели на поезд и поехали по мирной, уже заснеженной стране в столицу Швеции — Стокгольм.

В Стокгольме был дождь со снегом и дул холодный злой ветер. На неспешно едущем трамвае — а как еще должен был ехать трамвай в благополучной стране? — они добрались до морского вокзала.

— Таня, вы посидите на вокзале, а я пойду узнаю, как нам попасть на корабль в Финляндию.

— Да, конечно, вы идите, я вас подожду, — Таня так привыкла за эти дни к этому, суровому на вид человеку, что ей казалось, она давно-давно его знает, что она знакома с ним через своего отца, а чем-то — этим спокойствием, что ли, целеустремленностью — он напоминал ей Сергея.

— Скажите, почему вы не просите у меня денег? — спросила она.

— Если не будет хватать — попрошу. Да и не думаю, что у вас их много. Не обижайтесь. С деньгами в Россию не возвращаются. С деньгами из нее бегут. Ну, кроме нас, политических, конечно, — засмеялся. — Так мы нелегально, тихо пробираемся, чтобы никто не видел и не слышал.

Меркулов ушел и долго не приходил, а когда пришел, было видно, что он расстроен.

— Пока ничего не удалось решить. Война. Граница с Россией закрыта. Но есть надежда, что кое-кто еще живет в этом городе и помнит меня. Пойдемте, Таня, в гостиницу. Я знаю одну, недорогую, здесь, недалеко.

Они устроились в какой-то маленькой, но чистенькой, всего на несколько номеров гостинице, сняв один крохотный, шириной с одну узенькую койку номер, и Меркулов опять ушел. Он пришел ночью, когда Таня спала, вошел тихо, но она проснулась и спросила:

— Что?

— Завтра переплывем в Финляндию на лодке, — ответил он устало. Снял и свернул пальто, положив его под голову, улегся на полу и моментально заснул.

Лодка — небольшая рыбацкая шхуна под парусом — ночью, крадучись, пересекла Ботнический залив и пристала к пустынному берегу около финского городка Турку.

— Спасибо, Юсси! — тихо, пожимая руку капитану, произнес Меркулов.

— Всегда будем рады помочь, товарищ Иван. Передайте привет товарищу Борису, — с сильным акцентом ответил капитан шхуны.

Таня слышала разговор, но ничего не поняла, а задавать вопросы этому взрослому человеку она боялась. Она понимала: Меркулов — это какая-то тайна. Когда они добрались до Хельсинки и сели в поезд на Петербург, Меркулов сказал:

— Таня, я до Петрограда с вами не поеду. Я выйду еще до границы с Россией. Ничему не удивляйтесь. Кто у вас в Петрограде? Родители?

— Только дед. И я боюсь, что он вряд ли сможет мне помочь...

— Я не буду вас ни о чем спрашивать. Если вам потребуется в городе помощь, обратитесь по адресу: Екатерининский канал, дом пять, квартира десять. Там живет Мальцева Анастасия. Настя — моя сестра. Скажете: «Я от Ивана», и она вам поможет.

— А вы?

— За меня не беспокойтесь. Я в своей жизни столько раз переходил границы, что меня никто не поймают. Да и граница Финляндии и России — формальность. Но мне лучше не рисковать.

— Но вы же хотели на войну?

— Правильно. Только на войне я буду под другой фамилией. Не под той, которая известна царской охранке.

VII

В окнах дома горел свет, бросая желтые полосы на белый снег, звучала веселая музыка. Сосны шумливо покачивались, уходя верхушками в черноту зимнего вечера.

Таня нажала на звонок. Не открывали долго, потом кто-то весело засмеялся, и дверь открылась — в дверях стояла размалеванная девица. Дохла вином:

— Тебе чего? Мы нищенкам не подаем... Иди отсюда!

Таня посмотрела на девицу и вдруг зло и резко оттолкнула ее и прошла в дом. Она шла на гремющую музыку и вошла в гостиную. За столом сидели, в обнимку с гогочущими женщинами, несколько пьяных мужчин, громче всех кричал муж Татьяны — Николай Семенов.

— Э-э... а-а... Такую мать, ты — живая?! — увидев ее, удивленно крикнул стоявший с рюмкой Николай Семенов. Все примолкли. — Познакомьтесь, это моя бывшая жена. Ты еще не родила, сучка? Ишь пузо-то выпятила.

— Да я бы сдохла от голода, если бы не добрые русские люди. Я рада, что я бывшая жена и... убирайся отсюда... все убирайтесь!

— Ха-ха! — засмеялся пьяный Семенов. — Кроме того, что ты бывшая, ты еще и мертвая и не имеешь никаких прав на этот дом, на квартиру в городе, на заводы, на счета в банках... ни на что! Все это принадлежит мне, Николаю Семенову... по закону принадлежит! Пока ты, сучка, никак не хотела сдохнуть, нас уже развели, и все твои и твоего деда-маразматика богатства перешли ко мне. Все! У тебя здесь ничего нет — пошла вон! Всё здесь мое!

— Где мой дед?

— Хочешь его увидеть? Там он, в дальней комнате, где прислуга жила. Вместе с креслом вынесли, как вцепился — не оторвать. Так и сидит, и помирать не хочет... Господа, не обращайтесь на эту пузатую блядь... Гуляем!..

Таня, не обращая внимания на крики Николая Семенова, прошла через столовую в дальний конец коридора и открыла дверь. В сумерках, при свете маленькой лампочки, в кресле сидел старый седой человек, глаза его были закрыты, он тяжело дышал.

— Дедушка, — сквозь слезы сказала Таня. — Дедушка, это я, Таня!

Старик открыл глаза, слеповато прищурился, потом зашептал:

— Не может быть! Он сказал, что ты умерла там, во Франции. А я не верил. Господь смилостивился надо мной и сподобил увидеть тебя. Внученька, как же я виноват перед тобой. Что же я наделал? Бог отвернулся от меня...

Таня подошла к деду и обняла.

— Дедушка, как же он смог все у тебя забрать?

— Аристарх все состряпал. Я же на тебя все отписал, а они сказали, что ты погибла. Война — никто и не стал искать доказательств, да деньги... Все и перешло к твоему мужу.

— Так он же развелся?

— Так он развелся уже с умершей, чтобы все за собой оставить. Он и Аристарха, отца своего, от дел оттолкнул. Тот навроде меня сидит, как в тюрьме, в соседней комнате. Но, — дед перешел на шепот, — я документы, что всё тебе принадлежит, сохранил... здесь они, в кресле.

— И что это даст? — тоже перешла на шепот внучка.

— Как что? Раз ты жива и разведена, то все вновь принадлежит тебе. Его еще и за подлог могут в тюрьму посадить, — дед присмотрелся к Тане. — Ты... беременна? Как же он тебя беременную бросил? Скоро рожать?

— Это не его ребенок — Сергея. Скоро, дедушка.

— О, господи! Что же я наделал? Как же я... Сам-то ведь как любил твою бабушку — и такое сделал? Господи, я и мать твою подговорил, чтобы ты вышла замуж за Семенова. Все не хотел, чтобы ты за этого приемыша Митькиного выходила. Не хотел, чтобы ты за безродного и нищего выходила. А сам-то из крестьян выбился! Прости меня, если можешь, внучка. Нет мне прощения — сгорю в аду!

— Дедушка, он не безродный. У него в роду какие-то генералы. Только у него родители погибли там, на севере, вот он и стал сиротой.

— О господи. Я ведь что-то такое слышал о беглых с ребенком, да не поверил. На Митьку-то это похоже — к людям всегда с любовью и жалостью относился, не в Ефремку, дядьку своего.

— Дедушка, что надо сделать?

— Он тебе здесь оставаться не разрешит, да и боязно за тебя. Он теперь, узнав, что ты жива, ни перед чем не оставится. К кому бы тебе пойти?

— Я знаю, куда я пойду. У меня адрес есть.

— Тогда сделаем так: я тебе документы отдам — ты под пальто спрячь хорошенько. У меня в конторе адвокатом был Самохвалов Петр Петрович. Я думаю, они его выгнали. У него своя адвокатская контора на Невском, двадцать. Найдешь, все ему расскажешь — он все сделает. Только берегись Кольки Семенова, он сейчас понимает, какую ты опасность для него представляешь. Пока не очухался — уходи. Он каждый день пьет — богатство пропивает! Интересно, на сколько хватит?.. — Николай Иванович Русанов пошевелился, сбоку в коже сиденья появилась узкая дыра, он сунул в нее руку и достал бумажный пакет. — Спрячь и иди.

— А ты-то, дедушка, как?

— За меня не беспокойся. Береги себя! Как Самохвалов все решит — так я и выйду из этой тюрьмы. Мне еще внука хочется увидеть, — Русанов хрипло засмеялся.

— Я скоро приду, дедушка.

— Я буду ждать, внученька.

Таня вышла из комнаты, пошла обратно по коридору, потом вернулась и открыла другую дверь. Аристарх Семенов сидел, понурившись, на диване. В комнате было не прибрано и душно. Он прищурился и спросил:

— Кто здесь?

— Я, Аристарх Ильич, Татьяна.

— О боже! Жива?! Я догадывался, что Колька, подлец, врет. Ну и слава богу! Ты, Татьяна, меня прости, если можешь, а лучше накажи — все отбери обратно. Не достоин он быть твоим мужем. Прости и уходи... — и когда уже Таня закрывала дверь, крикнул: — Накажи!..

Таня, не обращая внимания на пьяные крики, прошла через гостиную и уже взялась за ручку уличной двери, когда ее догнал Николай Семенов, схватил за пальто и задышал перегаром:

— Если пикнешь — убью и тебя, и твоего деда!

Таня повернулась и ударила ладонью по щеке Семёнова.

— Подлец!

И когда он, в изумлении, отшатнулся и отпустил пальто, открыла дверь и вышла. Ее никто не догонял, а может, она и не заметила сопровождавшую ее тень. Когда она проходила мимо ажурного металлического забора генерала Сибирцева, из калитки вышла женщина и, посмотрев на Таню, всплеснула руками:

— Барышня, Татьяна Николаевна, это вы?

Тень в кустах чертыхнулась и, прошептав: «Ладно, никуда не денется...» — спрятала нож и растаяла в сумерках.

— Фекла? Здравствуйте, — сказала Таня.

— Куда же вы пропали? Сергей Александрович, да и Илья Петрович всё вас с Сергеем вспоминают. Ой, да вы ребеночка ждете? Сергей-то Дмитриевич где?

— На войне.

— Ой! Ну хоть вы-то заходите, порадуйте стариков. Им ведь так тяжело — свои-то дети пропали.

— Как пропали?

— А вы не знали? Давно это было. Не моя это тайна. Приходите и спросите, может, вам расскажут. У Сергея Александровича дочь пропала, а у Ильи Петровича сын. И общий внук. Так что, зайдете?

— Обязательно... потом.

— Хорошо. Я барину скажу. Вот обрадуется...

На звонок дверь открыла женщина в сером платье, с прибранными темными волосами с проседью и жестковатым взглядом.

— Вам кого? — спросила она.

— Вы Анастасия? Меня зовут Таня. Я от Ивана, — сказала Таня.

Женщина очень внимательно посмотрела на Таню и вдруг мягко улыбнулась, отчего ее лицо осветилось каким-то внутренним светом. Она открыла шире дверь, посторожилась и сказала приятным низким грудным голосом:

— Проходите.

Таня вошла в маленький коридорчик, Анастасия помогла ей снять пальто, и они прошли в комнату, небольшую, без излишеств, с простой мебелью. За столом сидел мальчик лет десяти-двенадцати и писал что-то в тетради. Мальчик встал и произнес:

— Здравствуйте, меня зовут Иван.

Таня посмотрела на Анастасию.

— Это мой сын, и он назван в честь моего брата. Давайте, Таня, пить чай. Ваня, прибери на столе. Таня, вы садитесь.

Анастасия с помощью сына накрыла стол, налила чай и сказала:

— Мне брат говорил о вас. Он пришел и сразу ушел, ему здесь нельзя — узнают, арестуют. Значит, вам некуда идти?

— Да, — тихо ответила Таня.

— Если вас устраивает наша квартира, мы с сыном будем рады вам помочь.

Таня посмотрела на женщину и вдруг, опустив голову, заплакала навзрыд. Она плакала, а Анастасия гладила ее по голове и успокаивала:

— Вам нельзя плакать и переживать — у вас будет ребенок.

Таня плакала и сквозь слезы все повторяла:

— Спасибо... спасибо...

Все страдания последних недель нахлынули на нее: унижение, голод, страх, стремление домой, любовь к еще не родившемуся ребенку, запертый дед — все это комком стало в горле, сдавило грудь, и она плакала и плакала... Мальчик подошел к ней и тоже стал гладить по голове.

— Не надо, тетенька. Все же хорошо. Мы с мамой вам поможем.

Тут Таня положила руки на стол, уронила на них голову и завывала, как умеют выть только русские женщины, уже от этой необыкновенной проявленной к ней человеческой доброты... Она рыдала, а женщина с ребенком гладили ее по голове и тоже плакали...

VIII

— Что позволяет себе этот хирург? Что это за самостоятельность? Со времен великого Пирогова в русской армии существует главный закон — этапность оказания медицинской помощи. А этот хирург все разрушает! Говорят, к нему несут с поля боя заведомо неоперабельных раненых, которые должны оставаться на поле боя. Таковы законы войны и медицины! Это пустая трата времени и денег. А санитары таких подбирают и несут к этому хирургу. Обратите внимание — он даже не врач, он зауряд-врач, не окончивший курс Военно-медицинской академии. Он разрушает систему нашей военной медицины. Его надо остановить, иначе, глядя на его выкрутасы, могут появиться такие же последователи! — Врач с погонами подполковника задохнулся от своей речи, закашлялся и потянулся за папиросами.

— Кто этот врач? — спросил сидевший за столом генерал.

— Зауряд-врач Мезенцев. Младший полковой хирург.

— Младший хирург?! И что же он такого особого делает?

— Как я уже доложил: оперирует безнадежных раненых.

— Ему, что — кроликов и собак в своей академии не хватило, чтобы над солдатами издеваться?

— Я об этом и говорю, ваше превосходительство, но проблема-то как раз в другом — он, говорят, довольно удачно оперирует. По донесениям из лазаретов и госпиталей, куда поступают на дальнейшее лечение раненые, оперированные этим хирургом, он либо необыкновенный хирург, либо шарлатан. Ну не может врач в условиях полевого лазарета, практически на поле боя, так хорошо оперировать. Да еще один! Это обман. Иллюзия. Я считаю, что к нему поступают такие же, как ко всем, обычные раненые солдаты, он их оперирует, а пишет и говорит другое. А безграмотные солдаты верят во все эти сказки. Что с них взять. Стадо!

— Прошу, Леонид Анатольевич, вы поосторожней с такими выражениями. Не дай-то бог, они дойдут до ушей

солдат — они вас разорвут на части. В армии и так низкий воинский дух — поражения вызывают злобу среди солдат, некоторые уже открыто высказываются, что вокруг измена и предательство, и указывают на... Петербург. И об этом говорят не только солдаты, но и офицеры. Я — генерал, и то чувствую эту злобу! И не стадо это, а солдаты проливающие кровь за свое отечество. Что вы, господин подполковник, предлагаете?

— Надо судить этого врача военно-полевым судом.

— В армии другого суда нет, — перебил генерал.

— Чем больше будет таких врачей, тем быстрее они разрушат стройную, выстраданную в войнах систему медицинской помощи в армии! Это надо прекратить! Так недолго и до разрушения основ империи: веры в Бога и царя.

— Ну-с, Леонид Анатольевич, куда вас занесло: хоть сейчас хватай этого доктора — и к стенке. Тоже мне, нашли социалиста, призывающего солдат не воевать, — генерал засмеялся. — Нет уж, соберите комиссию, пусть съездят, посмотрят, что да как, выскажут свое мнение, и уже потом будем принимать решение. Если надо будет отдать под суд, не беспокойтесь, отдадим. Показательный! Только сами же говорите: талант. Может, не врут? А так ведь недолго и всех талантливых врачей к стенке поставить.

— И кто, ваше превосходительство, должен возглавить эту комиссию?

— Вы, Леонид Анатольевич, и должны. Вы же подняли этот вопрос — вам и карты в руки.

— Но я все-таки старший врач дивизии, а это же передовая?

— Подполковник, они ваши подчиненные, вам и разбираться — слишком уж громкие у вас обвинения: обманщик, шарлатан. Поезжайте и подтвердите или опровергните то, что этот доктор — шарлатан. А то, что передовая, так я, наоборот, стараюсь как можно больше бывать на передовой. Там видней, что происходит.

— Слушаюсь, ваше превосходительство! — ответил подполковник и жалобно добавил: — А может, и не надо, Петр Николаевич, пусть он оперирует?

— Может, и не надо — вам решать. Только я бы съездил.

— Хорошо, Петр Николаевич, я сам съезжу.

— Вот и отлично, поезжайте, но долго-то не задерживайтесь — и здесь дел полно и у вас, и у меня.

Подполковник вышел от генерала и ругнулся:

— Дернуло же связаться с этим хирургом! Да пусть он хоть чертей оперирует! — Его била дрожь.

Старший врач дивизии ехал к фронту, и чем ближе приближался и чем сильнее были слышны разрывы снарядов, тем все больше и больше у него возникало желание повернуть обратно. «Что же я делаю? — трусливо думал он. — Вызвал бы его к себе да в госпитале рядом с хирургами к столу операционному поставил, и всех-то дел. Развенчали ли бы его на первой же операции...»

И как этот одиночный немецкий снаряд улетел так далеко и разорвался в русском тылу, около санитарной машины, в которой ехал подполковник? Всех только оглушило, а подполковнику осколок попал в грудь. Подполковник охнул, захрипел и завалился на сиденье, изо рта потекла кровь. Два врача — не хирурги, взятые из госпиталя так, для формальности, для составления протокола, — испугались, замельтешили, закричали испуганно:

— Что делать-то? В область сердца ранило... Вот и поехали... Как бы и нас не убило!

Подполковник на какой-то момент, на секунды пришел в сознание и явственно понял, что сейчас пришел его черед умирать. Прежде чем вновь потерять сознание, прохрипел тихо: «Везите меня к этому кудеснику. Быстрее везите», — и впал в небытие.

Когда в операционную, разместившуюся в деревенском доме, вбежали два офицера и закричали: «Быстрее! Там подполковник, старший врач дивизии умирает — осколок в грудь попал...» — Мезенцев как раз заканчивал накладывать последние швы солдату с осколочным ранением спины. Осколок он достал, рану промыл и теперь накладывал швы на рану. Мезенцев, не поднимая голову, спокойным голосом произнес:

— Вы, господа, в операционную в сапогах-то не входите. Здесь все-таки чистота нужна. Вы кто?

— Мы врачи! — ответили хором.

— Тогда мойтесь и будете мне помогать.

— Мы не хирурги.

— Ничего, один будет крючки держать, второй помогать давать наркоз, — и, подняв голову, обратился к сестрам:

— Солдата унесите и давайте сюда старшего врача дивизии.

Подполковник был без сознания. Пришлось разрезать китель и рубаху, сапоги — сообразили! — срезали еще до операционной. На груди слева была небольшая ранка с вытекающей струйкой крови. И вдруг эта струйка подпрыгнула, упала, опять подпрыгнула.

— Черт, в сердце! — тревожно произнес Мезенцев. Схватил за руку врача, одетого для операции, и, вытянув его указательный палец, вдавил в рану. Кровотечение прекратилось. Сказал: — Так и держи, не отпускай... Йод, спирт... скальпель... Пилу проволочную, ту, что мне солдат подарил.

А второй врач с бледным лицом и бледными же губами шепотом считал капли эфира, которые сестра медленно вылиwała из флакона на марлевую маску, положенную на нос и рот подполковника.

Мезенцев за эти месяцы непрерывных операций научился так искусно, так быстро, так виртуозно управлять с хирургическими инструментами, что часть из них во время операции он вообще из рук не выпускал, а надев кольца инструментов на свои длинные пальцы, поджимал к ладоням и в нужный момент, как иллюзионист в цирке, их доставал — зажимал сосуды, резал ткани и опять прятал инструменты в своих ладонях. На эти руки замороженно смотрели сестры и особенно врачи, прибывшие с подполковником. Они такое видели впервые. Мезенцев рассек грудную клетку, да так ловко, что прошел скальпелем в миллиметре от пальца, вспотевшего от страха доктора. Проволочной пилой, как ножом по маслу, перепилил два ребра, при этом восхищенно сказав бледным врачам:

— Пилу Джильи солдат раненый подарил, у немца убитого взял, Алмазной крошкой покрыта, что там кость — прутья железные можно разрезать.

Открылось сердце.

— Сейчас сумку сердечную вскроем и будем молиться, чтобы ранение, не проникающее в полость сердца.

Мезенцев рассек сердечную сумку и сказал:

— Уберите, коллега, свой палец, — доктор убрал и в страхе отшатнулся, закрыв глаза. Он ожидал, что сейчас хлынет струей кровь, а услышал:

— Это надо же, в стенке!.. Шить! Держите, коллега, осторожно крючки...

Доктора смотрели, затаив дыхание в рану, где билось сердце с маленьким осколком в стенке. Мезенцев, придерживая осколок, который торчал из стенки сердца, наложил швы под ним, зацепил осколок зажимом и стал тихонько его доставать, а другой рукой натягивать нитки. Вытащил осколок — брызнула кровь, но Мезенцев подтянул нитки и молниеносно завязал. Это было сделано так быстро, что врачи хором удивленно воскликнули: «Ой!» — как будто это им завязали на сердце рану. Сердце билось ровно, зашитая рана не кровила.

— Порядок... молодец подполковник, — как-то обыденно произнес Мезенцев и быстро-быстро зашил рану груди, наложил швы на кожу и облегченно выдохнул:

— Уф! Ну и повезло и нам, и подполковнику!.. Всё, коллеги, спасибо всем!

Когда вышли из операционной, Мезенцев посмотрел на бледных, с трясущимися руками врачей и весело сказал:

— Сейчас я вас, коллеги, чаем напою. Может, спиртику налить? Вы как здесь, на передовой-то, оказались? Заблудились?

— Вы, Сергей Дмитриевич, лучше налейте спирта...

Мезенцев налил спирт в кружки.

— Разбавить? Так?

— Не надо... так...

Доктора выпили, отдышались, после чего тот, что был старше возрастом, произнес:

— Вы уж нас извините, Сергей Дмитриевич, но ехали мы со старшим врачом дивизии, подполковником Ковалевым, сюда, чтобы отстранить вас от лечения раненых как шарлатана.

— Шарлатана? Ну и как, отстраните?

— Бросьте, Сергей Дмитриевич, какое «отстранить» — вас надо переводить в наш госпиталь, в дивизию, а может быть, даже в армейский.

— Это, коллеги, если я соглашусь. Здесь-то я сам себе бог и царь, а там инструкции, уставы и начальники. Еще налить?

Врачи радостно замотали головами и спросили:

— А вы?

— Потом, чуть-чуть, — и с ехидством: — Я все-таки младший полковой хирург. Не положено со старшими по званию. Мне еще раненых смотреть. Хотя сейчас не как в начале войны — тогда да, месиво было, а теперь окопная война... Я сейчас, коллеги, скажу, чтобы принесли закусить... На голодный-то желудок не стоит... Налить?

— Да! — радостно ответили врачи.

Через пять дней подполковника Ковалева в сопровождении прибывших за ним врачей осторожно, на машине, увозили в госпиталь. Прощаясь, подполковник подозвал слабой рукой Мезенцева, и когда тот над ним наклонился, тихо сказал:

— Спасибо тебе, сынок! Я был не прав...

— Что поделаешь, господин подполковник, — война, — ответил Сергей Мезенцев и положил на ладонь подполковнику маленький кусочек железа. — А это вам... на память.

Машина тихо удалялась, а подполковник сжимал осколок в руке и плакал.

Через три недели Мезенцеву позвонили из штаба армии: «Приезжайте и привезите вашу уникальную пилу. Хотим посмотреть. Может, пригодится для постройки военных кораблей. Вас будут награждать. Оденьтесь соответственно».

В штабе армии прибывший туда Верховный главнокомандующий русской армией великий князь Николай Ни-

колаевич Романов солдатам и офицерам вручал ордена и медали. Князь прикрепил на китель Мезенцева орден Святого Георгия Победоносца четвертой степени и протянул раскрасневшемуся Сергею погоны подпоручика. Спросил:

— Сколько вам лет, подпоручик?

— Скоро двадцать, ваше высочество.

— Молод. Это хорошо. Но заслужил, заслужил! Носи!..

В кабинете главного врача армии Мезенцева поблагодарили за спасение жизни подполковника Ковалева, похвалили за уникальность проводимых операций и вручили приказ о переводе в дивизионный госпиталь старшим врачом-хирургом.

А в штабе армии какие-то одетые в военные френчи, но без погон, люди взяли у него проволочную пилу и перепилили металлический прут с палец толщиной. Без труда. Только ахнули. И захотели забрать. Мезенцев отказал и, почти силой забрав пилу, заявил: «Это пила не для прутьев железных — она для спасения солдатских жизней!» Штабисты без погон хотели пожаловаться, да куда там, молодой человек, грубо забравший пилу, оказался врачом, да каким — Георгиевским кавалером, редкость!

Сергей ехал верхом на лошади к себе в полк — прощаться. Грустно было, плакать хотелось, но понимал: пришло его время серьезно и много оперировать — очень хотелось. Почему-то вспомнил Таню и уж совсем, казалось, нехстати своего первого больного, графа Сибирцева, и еще тот необычный, удививший его портрет женщины с ребенком. Когда ж это было? Давно, очень давно.

Откуда выскочили немцы, он не успел понять — лошадь вздыбилась и сбросила седока. Трое в рогатых касках навалились, скрутили руки за спиной, в рот засунули вонючий кляп, от которого он чуть не задохнулся, и потащили... в плен!.. «Гут, офицер! — сказал один из разведчиков. — Кресты и отпуска у нас в карманах, ребята» — «Спасибо, господин лейтенант», — ответили «ребята» радостно.

Допрос вел майор германской разведки. Быстро. Через двадцать минут Мезенцева вывели из кабинета, посадили на стул и поставили рядом солдата с винтовкой для охра-

ны. Солдат был из деревни и на пленного не смотрел — он впервые был в штабе корпуса и во все глаза разглядывал тех, кто идет, и вытягивался перед проходившими офицерами. Сергей этим воспользовался и незаметно переложил из карманов за голенища сапог тоненькую, скрученную в кольцо проволочную пилу и швейцарский складной армейский нож — подарок графа Сибирцева. В кабинет торопливо прошел офицер.

— И кого ты захватил, лейтенант? — спросил вошедшего офицера майор. — Уже, наверное, и дырку для Железного креста за храбрость проделал в мундире, и Марте своей письмо послал, что скоро приедешь в отпуск? Не надейся! Снова пойдешь к русским в тыл!

— Почему, господин майор? Мы же захватили офицера. Даже пострадали — он сопротивлялся.

— Бросьте, лейтенант. Он не строевой — он доктор!

— Как? У него погоны офицера и орден с белым крестом на груди.

— Доктор он, доктор, и посему для нас бесполезен. Отправляйся, лейтенант, вновь зарабатывать свой отпуск, а Марта тебя подождет. А если не дождется, то что с того — прижмет к своей большой груди более удачливому солдату. Кругом! Выполняйте приказ и возьмите строевого офицера!

— Как взять — может, спрашивать? — зло ответил лейтенант и, отдав честь майору, удрученный, пошел из кабинета. Посмотрел на Мезенцева, хотел выругаться, но поостерегся — в Германии врачей уважали, правда, своих. А майор вызвал адъютанта и приказал:

— Пленный для нас бесполезен. В лагерь его...

IX

Петр Петрович Самохвалов, адвокат, до войны процветал — имел свою адвокатскую контору на главной улице Российской империи — Невском проспекте. Дорого, конечно, было содержать, но престиж того требовал. Не за каждое дело брался Петр Петрович, и в клиентах у него значились люди далеко не бедные, не разорившиеся

помещики и князя, а граждане состоятельные — новая российская буржуазия. Клиентом был и Николай Иванович Русанов, а когда делами стал заправлять Аристарх Семенов, отношения не сложились — больно тот заносчив и самоуверен был, считал — и без адвокатов обойдемся! Так что не пришелся ко двору Самохвалов, и в его услугах было отказано. Да ладно — не велика потеря, хотя и обидно было. С началом войны обращений за адвокатской помощью и самих клиентов резко поубавилось: какие сделки, какая помощь — гробы пошли! Задумчив стал Петр Петрович — деньги уходили, съезжать надо с хорошего места, уже половину клерков уволил. Когда пришла какая-то просительница в старом пальто — не хотели пускать. Та попросила передать Петру Петровичу, что пришла Татьяна Русанова, внучка Николая Ивановича Русанова, промышленника. Удивился Самохвалов: какая внучка? Известно же — погибла она, дед не удел, всё под себя подгрел Аристарх Семенов. А сейчас поговаривают, и самого Аристарха его сынок Николай туда же отправил — в отставку. Вот вам и тихоня: все к своим рукам прибрал муж покойной внучки. А тут на тебе — внучка объявилась!.. Чем черт не шутит, и Петр Петрович сам вышел из кабинета... Точно, внучка Татьяна, да еще и беременная! Самохвалов сделал добродушную улыбку на лице.

— О, Татьяна... Алексеевна, если мне не изменяет память. Прошу, проходите... — и приказал секретарю: — Принесите нам чаю, и конфеты не забудьте. Меня не беспокоить.

В кабинете было тихо, тепло и очень уютно. Мебель была кожаная, но мягкая, сядешь — встать не хочется. Самохвалов, своим чутьем понял, что эта беременная женщина пришла с каким-то очень важным, нужным для него известием. Он не спешил, подливал чай, смотрел добрыми глазами, всем огромным опытом знал — надо ждать.

— Пейте, пейте чай, Татьяна Алексеевна... Вот конфеты... Пожалуйста.

Таня отхлебнула чай, отодвинула чашку, внимательно посмотрела на Самохвалова и спросила:

— Как вы, Петр Петрович, относитесь к моему деду и к Семеновым?

— Я очень уважаю вашего деда и особо уважал вашего отца, Господи, прими его душу, — Самохвалов перекрестился. — Но я от дел вашего деда отстранен — Аристарх Семенов постарался. Много не знаю, — врал Самохвалов. — Слышал только, что вы замуж вышли, и, честно признаюсь, был удивлен, что за сына Аристарха.

— Он уже бывший муж.

— О-о! — посмотрел на живот. — А-а?..

Таня поняла:

— К нему это отношения не имеет. Он бросил меня без денег умирать от голода в Париже, а здесь, в России сказал, что я умерла, и завладел всеми заводами и счетами в банках. Все же было завещано мне.

— Вот это да! Бог мой, да он еще и жулик! Его судить надо, — посмотрел внимательно на Татьяну. — Но тут есть одна проблема. То, что вы — вы, и доказывать особо не надо, но как доказать, что Николай Иванович все на вас-то, Татьяна Алексеевна, отписал?

Татьяна из простенькой матерчатой сумки достала папку.

— Вот все необходимые документы.

— Откуда они у вас? — не выдержал Самохвалов. Спыхватился: — Поговаривали, что Семеновы-то прибрали все законно?

— Это не так. К вам попросил обратиться дедушка. Он сказал, что вы сможете помочь.

Самохвалов посмотрел на папку.

— Позвольте, взглянуть?

— Да-да, пожалуйста.

Петр Петрович надел круглые очки и сразу же стал похож на профессора; аккуратно открыл папку и углубился в просмотр бумаг, полистал, почитал, опять аккуратно сложил листы в папку.

— Вы хотите, чтобы я занялся этим делом?

— Да. Но только у меня нет денег оплатить ваши услуги. Если вы выиграете, то возьмете, сколько посчитаете нужным.

Самохвалов хохотнул:

— Так, Татьяна Алексеевна, в наших кругах не говорят. Есть процент от суммы, и не более. Ну если только клиент добавочно выпишет премию. Но это в нашем деле не часто и не особо приветствуется. Наши услуги и так не дешевы. Значит, вы хотите, чтобы я взялся за это дело?

— Да, Петр Петрович.

— Вы мне оставите эти документы? Вам дать расписку?

— Что вы, я же к вам пришла от имени своего деда — вашего многолетнего клиента.

— Да, вы правы. Я еще неизвестным мальчишкой-несмышленным в нашем деле был, а ваш дедушка, Николай Иванович, привлек меня и со своими торговыми товарищами познакомил. Можно сказать, ваш дедушка для меня крестный отец... Хорошо! Я возьмусь за это дело, тем более у меня есть и свой должок к Семеновым... Где мне вас найти?

Татьяна назвала адрес. Самохвалов проводил ее до двери и на прощание поцеловал руку.

— Я все сделаю, Татьяна Алексеевна, — сказал Петр Петрович.

Поздно вечером следующего дня в бывшую контору Русанова, а теперь Николая Семенова вошел крупный мужчина с бородкой, в шубе и шапке. Огляделся знакомо.

— Как доложить Николаю Аристарховичу? — спросил то ли лакей, то ли помощник.

— Так и доложи — Петр Петрович Самохвалов, адвокат Русанова.

Лакей удалился, вернулся и, почему-то нахально улыбувшись — показав блестящие железные зубы, язвительно поклонился, сделал круговое движение рукой и сказал нараспев: «Прошу-у, барин. Хозяин ждет!» На кисти тускло, синим, проявились полустертые буквы наковки «Вас...»

Когда Самохвалов вошел в кабинет, Семенов из-за стола не встал, поднял голову и пьяно сказал:

— Проходи, Петька! Садись. Выпьешь? Нет? Тогда зачем пожаловал? Я же тебе сказал, что в твоей помощи не нуждаюсь...

— А я не на работу устраиваться пришел.

Семенов потянулся к рюмке, выпил, икнул:

— А тогда зачем?

— У меня всего один вопрос: известна ли вам, Николай Аристархович, такая барышня, как Русанова Татьяна Алексеевна?

— А-а! Эта сучка... живая. Ну и что? Она моя бывшая жена. Мы разведены, официально... Кто же знал, что она живая?.. Сейчас это и не важно... Все сказал? Тогда, Петя, можешь идти... На дорожку налить?

— Налей.

— Ну вот, это другое дело.

Самохвалов покрутил налитую рюмку, понюхал, отодвинул и сказал:

— Тогда как же вы, Николай Аристархович, можете пользоваться чужим имуществом и деньгами? Все ведь принадлежит вашей бывшей жене.

Семенов, не допив из своей рюмки, поперхнулся и закашлялся — лицо стало пунцово-красным.

— Ты это о чем, Петр Петрович? Нам, Семеновым, все отписано. Батенька мой управлять стал всеми делами после смерти Алешки, дед Русанов все ему доверил.

— Правильно — управлять и не более. Все имущество принадлежит Татьяне Алексеевне Русановой согласно завещанию. Замечу — даже не Семеновой.

— Какого завещания? Нет никакого завещания!..

— В том-то и дело, Николай Аристархович, что есть. И все документы заверены нотариусом.

— Нету таких документов! — закричал Семенов.

— Есть.

— Покажи!

— Покажу... в суде.

— Ты зачем пришел?

— Поговорить хочу.

— О чем?

— Хочу предложить вам эти документы, — Самохвалов засмеялся. — Не бесплатно, конечно.

— Сколько хочешь?

— Недешево... Миллион.

— Сколько, сколько?

— Миллион. Если мало — могу прибавить.

— Пошел вон!

— Зачем так грубо? Я ведь все заберу. Татьяне — ей главное, чтобы тебя наказать, ну немножко денег получить, и все. Так что ты останешься голым, да еще и в тюрьму сядешь за подлог... Прощай...

Самохвалов выпил рюмку, поморщился, надел шапку.

— А коньяк-то у тебя дрянь! При таких-то деньгах! Впрочем, скоро у тебя, Коля, и на водку денег не будет — под забором будешь в лучшем случае лежать, а может быть, в кандалах тачку таскать! Что заслужил! — Самохвалов встал и пошел к двери.

— Стой! — крикнул Семенов. — Садись... Поговорим!

— Ну вот, другое дело, а то гонишь. Зря!.. Нaley-ка коньячка, — Самохвалов опять, не снимая шубу, сел, покрутил рюмку, понюхал и отодвинул. — Говори, но если опять гнать будешь, уйду и уже не вернусь, даже если на коленях упрашивать будешь!

— Сбавь цену, Петр Петрович! Нет у меня таких денег.

— Ты меня не смей, Николай Аристархович, я ведь дела русановские хорошо знаю. Это твой батенька ему наплел о крахе. Если бы не смерть сына, черта с два вы его смогли бы сломать! Смерть-то у Алексея Николаевича странная какая-то. Покопаться хорошенько, то ниточка может кое к кому и привести... Чего побледнел? Выпей...

— А если ты врешь и нету у тебя никаких документов?

— Приходи в контору — покажу.

— Хорошо. Когда покажешь?

— Приходи завтра в семь вечера. Где моя контора, помнишь? Помнишь-помнишь, по глазам вижу... Я пошел.

— Петр... Петрович, ты только Таньке о нашей встрече не говори. Без нее договоримся.

— Договоримся. До завтра... А коньяк выкинь... Дрянь коньяк!

Самохвалов ушел, и Семенов зло заходил по кабинету, налил коньяка не в рюмку, в стакан — выпил. Подышал в кулак и крикнул:

— Васька! Быстро сюда!..

Вбежал лакей, как будто за дверью стоял...

На следующий день в Петербурге произошло событие, ужаснувшее многих богатых граждан: в своей конторе, на Невском, был зверски, ножом, убит известный адвокат Петр Петрович Самохвалов. Документы по кабинету были разбросаны, сейф вскрыт, чувствовалось — искали что-то. Денег, даже в карманах у убитого, не нашли. Грабеж — война!..

В тот же день в пригороде, в старом заброшенном доме, нашли убитого и изуродованного мужчину. Никого это не удивило, и никто его не искал. На руке у убитого была полустертая наколка «Вас...» Да на Руси таких «Вас...» видимо-невидимо — на фронте тысячами каждый день без покаяния в ямы ложатся...

Таня, не дождавшись прихода Самохвалова, сама пошла на Невский и узнала об убийстве. Попробовала через помощников погибшего адвоката найти свои документы, да куда там... так, поискали-поискали и сказали, что не нашли.

Она пришла к Мальцевым и, как в первый день, стала безудержно плакать. Плакала и все приговаривала сквозь слезы:

— Он и меня убьет... Он меня убьет... и дедушку заморит голодом. Что делать-то?..

— Раз понимаешь, что произошло, — говорила Анастасия, — то себе-то объясни, почему его убили. А это значит: если это твой бывший муж убил, то адвокат ему о твоих бумагах все рассказал. Понимаешь? Он все рассказал. Он тебя предал!

— Не может быть! Он же мне обещал, он у деда очень много лет работал, он сам мне сказал, что дед его богатым и известным сделал.

— Глупая и доверчивая ты, Таня. Да они за деньги любого зарежут, убьют и предадут. Золотой телец правит миром... Пойдем к твоему бывшему. Скажешь, что у тебя заверенные копии остались. Испугается, не может быть, чтобы не испугался. Эх, брата нет — он бы все решил...

И писем с фронта нет. А как я его искать-то буду — он же под другой фамилией, а какой, я и не знаю. Одевайся, Таня, пойдем. Ох, совсем у тебя живот-то большой. Как бы ты не родила по дороге.

— Я к родственникам Сергея ходила, к Афанасию Ефремовичу. Приняли, не выгнали, сказали, что Сергей на фронте и тоже давно нет писем. Пойдем. А рожать вроде как рано — еще месяц.

Женщины оделись, закутались в платки и поехали на вокзал.

Когда они поздно вечером вошли в дом Русановых, там радостно, опять пьяный, праздновал Николай Семенов, который, увидев Татьяну, закричал:

— О, опять пришла, сучка. Живот-то выпятила. Знаю же, от кого. Чего надо?

— Я к деду, а ты не убегай, мне надо тебе кое-что сказать.

— Чего это я из своего дома убежать должен? А тебя в гости я не звал.

Дед был плох. Молчал долго, а потом тихо спросил:

— Что с Самохваловым? Согласился?

— Да, дедушка, он документы взял. Сказал, что поможет. Все хорошо.

— Я знал, что Петр не откажет. Молодец. Как ты? Когда рожать?

— Да вот-вот, скоро уже.

— Дожить бы! Ты все у твоих знакомых живешь?

— Да, дедушка.

— Гад, хоть бы квартиру в городе отдал.

— Не беспокойся, дедушка, скоро мы его накажем.

— Ну иди, иди. Поцелуй и иди. Тебе в тепле надо быть, а ты в зиму, на мороз. Иди.

Когда Таня вышла, старый Русанов заплакал, шепча: «Обманул Петька, обманул... Вижу... О господи!..»

В гостиной гремела музыка. Семенов крикнул:

— Что ты хотела мне сказать, сучка?

— Слушайте все! Этот человек, — Таня показала на Николая Семенова, — убил адвоката Самохвалова! Убил,

чтобы завладеть документами, доказывающими, что он незаконно владеет богатствами Русановых... Помолчи!.. Так вот, у меня есть заверенные копии всех документов, которые ты выкрал у Самохвалова. Запомни: если ты хотя бы помыслишь, что можешь избавиться и от меня, убить меня, все эти документы лягут на стол генерал-прокурора. Я тебя предупредила! А знаете ли вы, что, когда вы здесь обедаете, он морит голодом в этом доме моего деда и своего отца?! Пройдитесь в конец коридора и посмотрите!

Наступила гнетущая тишина.

— Врешь! Нет у тебя никаких документов! Все здесь мое! — крикнул Семенов.

— Хочешь проверить? Попробуй!

Из-за стола поднялся мужчина и сказал:

— Если правда то, что говорит твоя бывшая жена, то мне здесь делать нечего!

— И мне! — поднявшись, сказал другой.

— Ну и катитесь, хоть все, к чертовой матери! Приползете обратно на брюхе...

Таня и Анастасия вышли на улицу и пошли к вокзалу, но, пройдя всего десяток шагов, Таня вдруг охнула и согнулась, а потом упала на колени и завывала.

— О господи! Зачем же я тебя сюда потащила? Что делать-то? Обратно идти? — заволновалась Анастасия.

— Не надо, может, дойдем? Пошли, — Таня поднялась, сделала несколько шагов и опять опустилась на снег. — Плохо мне. Рожая я.

— Я побегу обратно. Не откажет же он?

— Подожди. Иди в этот дом, там живет граф Сибирцев, он меня знает. У него горничной Фекла... Попроси, чтобы меня приняли... Объясни... Иди, я подожду...

Анастасия побежала к дому и, открыв калитку, стала звонить в колокольчик у дверей.

Через несколько минут Анастасия и Фекла стали поднимать сидящую на снегу подвывающую, Татьяну. Фекла приговаривала: «Да что вы, барыня? Да как можно, Татьяна Алексеевна? Пойдемте, пойдемте, даже барин с Ильей Петровичем одеваются, чтобы помочь...»

На крыльце стояли Сибирцев с Боковым.

— Барин, — на ходу крикнула Фекла, — идите в дом. Не хватало, чтобы еще вы заболели.

— Ведите, ведите ее в гостиную. Что же ты, барышня, нас забыла? — запричитал Сибирцев.

Таню провели в дом, и Фекла спросила:

— Барин, можно мы ее в комнату Машину отведем, там рожать удобнее?

— Конечно, конечно, ведите. Скажи, что надо?

— Главное, не мешайте, мы с... Настей все сделаем. Пусть Федор воды нагреет.

Мужчины остались в гостиной, Федор побежал разогреть котел, а Татьяну женщины повели наверх, в комнату, в которой никто не жил с тех, очень далеких времен, когда отсюда ушла дочь Сергея Александровича Сибирцева Мария с маленьким сыном Сергеем. В прибранной и чистой комнате с тех пор осталось все нетронутым, даже детские игрушки стояли на полках. Женщины раздели Таню, уложили на кровать и забегали, принося горячую воду, простыни, водку...

И началось то великое таинство, единственное, что объединяет людей с Богом! Бог создал Землю и мужчину с женщиной, и только женщина смогла сделать, может быть, даже большее, чем Бог, — она родила человечество!

К ночи Таня родила мальчика, который закричал на весь дом, возвещая всем: вот он я! Родился! Я — новый человек!

Внизу, в гостиной, два старика перекрестились, и граф Сибирцев, суровый генерал, налив в рюмки коньяк, заплакал и сквозь слезы сказал:

— Это какое-то знамение. Рождество сегодня! Господи, какое счастье! Давайте, Илья Петрович, выпьем за рождение нового человека. В моем доме так много лет не было детского крика. Господи, прости меня, если можешь, — повернулся к портрету дочери, — и ты, дочь, прости.

Мужчины выпили, обнялись и троекратно расцеловались. Когда к ним спустилась Анастасия Мальцева, оба галантно встали и предложили женщине сесть.

— Можно мне рюмку коньяка? — спросила Анастасия.

— Да-да! — Илья Петрович успел раньше и налил в рюмку коньяк.

— А сегодня Рождество. С Рождеством вас! — сказала Анастасия.

— Спасибо, барышня. С Рождеством!

— Как она там? — спросил Сибирцев.

— Все хорошо. С ней Фекла. Вот молодец, все знает, все умеет. А мальчик такой хороший, и пальцы такие длинные. Таня сказала: «Как у отца».

— Мальчик! Какое счастье! — сказал Сибирцев. — Да, у Сергея Дмитриевича тоже пальцы длинные-длинные и какие-то подвижные. Вы не знаете, где он?

— Таня говорила, что на фронте.

— А вас как зовут, барышня? — спросил Боков.

— Анастасия.

— Красивое имя. Чем вы занимаетесь?

— Я учитель.

— И профессия прекрасная. Я тоже учитель, только в университете. Давайте знакомиться: это граф, генерал, Сибирцев Сергей Александрович, а меня зовут Илья Петрович Боков, профессор университета.

Анастасия как-то удивленно и долго смотрела на Илью Петровича и вдруг спросила:

— Извините, у вас сына звали Владимир?

Боков побледнел, а потом тихо-тихо спросил:

— Вы знали моего сына?

— Да. Он друг моего брата Ивана Меркулова.

— Иван Меркулов учился вместе с ним в университете. Я его хорошо знал. Да, он был другом моего сына и не раз бывал в нашем доме. Я бы сказал, что он для меня был как родной сын. И он прислал мне письмо, где рассказал, как они расстались с моим сыном там, на каторге.

— Да, они на каторгу вместе пошли.

— И где ваш брат?

— Он много лет назад сбежал с каторги, жил в эмиграции в Швейцарии, а сейчас... на войне.

— На войне?

— Да. Он сказал, что каждый русский, любящий свой народ, должен защищать свою страну.

— Как бы я хотел обнять вашего брата! — сказал Сибирцев. — Он настоящий солдат, он больше солдат, чем все эти нынешние генералы и командующие нашими войсками. Какая бездарность, какой позор.

— А что вы знаете, Анастасия, о моем сыне?

— Только то, что к нему тайно приехала его жена с сыном и он убежал с каторги, но чтобы запутать следы, ушел на север, а его искали по железной дороге. И пропал. И Маша с сыном Сергеем пропала.

— Вы знали мою дочь? — воскликнул Сибирцев. — Вы знали мою дочь?

— Так вы Машин отец? Правда, у нее же отец генерал и «сиятельство», — Анастасия повернулась к картине на стене. — Это же она. Я ее помню.

— Боже мой! Они пошли на север. Понимаете, Сергей Александрович, они пошли на север! Надо снова начинать поиски, — воскликнул Боков.

— Столько лет прошло, Илья Петрович, столько лет. Что мы найдем? — ответил Сибирцев.

— Если мы их не найдем, то хотя бы узнаем, что с ними случилось. Анастасия, если можно, расскажите нам что-нибудь еще о наших детях.

— Налейте мне еще рюмку, я очень устала. Да и многого я не знаю. Вот брат — тот бы рассказал.

— Простите, Настя... может, не вовремя... — начал Боков.

— Я предлагаю, — сказал Сибирцев, — пусть женщины отдыхают — они великое дело сделали, да и уже глубокая ночь. А завтра вечером Фекла накроет нам стол. Федор нагреет воду для ванны, чтобы барышни помылись. Я вам, Анастасия, отдаю свою спальню.

— Нет-нет, спасибо, я пойду к Татьяне.

Дом понемногу затихал. Наверху спали самые счастливые люди на Земле — мать, родившая дитя, и это маленькое человеческое существо; пригревшись у материнской груди, оно спало и в этом, первом в своей жизни человеческом сне причмокивало губами...

Вечером в гостиной горели свечи. Дрова в камине потрескивали. Было очень тихо, тепло и торжественно. И все было торжественно. Даже Фекла сменила темный фартук на светлый. Женщины помыли Таню в теплой воде, и она прилегла на устеленный подушками диван, положив рядом спящего ребенка. Когда шампанское зашипело в отражающих огонь свечей и камина хрустальных бокалах, встал одетый в военный мундир с множеством наград граф Сибирцев и сказал:

— Мои предки и я, казалось бы, занимались самым нужным и важным мужским делом — воевали и защищали отечество. И ничего больше не умели и не хотели. Не умели любить своих жен, не понимали своих детей и не замечали внуков. И теперь кончается наш род Сибирцевых. Из крепостных мужиков став графами, наш род заканчивается на мне. Дожить до старости и понимать это — безумно страшно! Но Бог смилостивился и в этот день — день, когда Господь послал людям своего сына — Иисуса Христа, чтобы он взял на себя грехи наши и открыл нам глаза, — в моем пустом доме родился мальчик. Кто-то бы воскликнул: это Знамение! Я же отвечаю: это Бог пожалел меня, не дав умереть в страшном грехе. Я благодарю Господа, что он дал новую жизнь, я благодарю Таню, что она дала эту новую жизнь. Я бы очень хотел, чтобы мой дом всегда был открыт для этого мальчика, — Сибирцев заплакал и сквозь слезы договорил. — Я, старый солдат, благодарю тебя, Господи, и хочу, чтобы этот мальчик был счастлив.

— Как нам не хватает наших детей и нашего внука, пропавших тогда, давно, на безлюдном и диком севере, — сказал профессор Боков и тоже заплакал.

Два старика сидели, обнявшись, и плакали.

— Настя, почему они плачут? — спросила тихо Таня Анастасию Мальцеву.

— Маша, дочь генерала Сибирцева, с маленьким сыном убежала к своему любимому — сыну Ильи Петровича Владимиру, на север, где тот отбывал каторгу, и они убежали с каторги, а потом они пропали...

— А где на севере это произошло? — тихо-тихо спросила Таня.

— В Архангельской губернии, на какой-то реке. Я не знаю названия. Мне обо всем рассказал брат.

— Та река была Мезень?! — еще тише сказала Таня и вдруг громко-громко воскликнула: — А ребенка Маши звали Сергей?

Все удивленно повернулись.

— Да! — ответили, подняв головы, Сибирцев с Боковым.

Таня приподнялась на диване, показала на своего сына и тихо сказала:

— Тогда это ваш правнук!

— Как?! — раздался голоса.

— Потому что Сергей Мезенцев — это фамилия по названию реки. Это не его настоящая фамилия. Он мне показывал и читал дневник своего отца. Там написано, что его мать Маша сбежала к нему от генерала, — Таня слово «изверга» не произнесла, — и они убежали на север, к Белому морю, где оба погибли, а Сергея на воспитание взял местный купец и дал ему фамилию Мезенцев, а отчество в честь себя — Дмитриевич.

— Господи! Так Сергей Мезенцев наш внук! — закричали старики.

— Я знал, я чувствовал в этом молодом человеке что-то родное, от Сибирцевых!

— Не только от Сибирцевых, но и от Боковых! — гордо добавил Илья Петрович.

— Да-да, простите Илья Петрович. Он весь в своих родителей. Какое счастье! Господь, в день Рождества ты принес нам подарок. Наш внук жив! А перед нами наш правнук!.. Танечка, дай я тебя поцелую и поцелую своего правнука.

Два старика, плачущие, подошли к дивану и, став на колени, поцеловали Таню и маленького ребенка. Все плакали! А ребенок безмятежно спал!..

— Там еще было сказано о друге «М», и теперь я понимаю: это про вашего брата, Настя, — Ивана Меркулова.

— Где-то сейчас мой брат? Как его здесь не хватает, и как бы он сейчас радовался вместе с нами!..

В бараке пересыльного лагеря для военнопленных было полутемно и сыро. В центре на земляном полу стояла железная печка, вокруг которой жались солдаты и офицеры, подбрасывая в огонь щепки.

— Проходите ближе к огню, ваше благородие, — сказал маленький солдат в длинной и широкой, не по плечам, шинели. Мезенцев придвинулся к печке, сразу стало приятно от жара, и уличный холод и сырость стали уходить из разбитого при падении с лошади тела.

— Господа, а сегодня Рождество, — сказал один из сидевших у огня офицеров. — Сейчас бы по стакану коньяка.

— Размечтались, поручик, — ответил другой. — Чаю бы выпить, и то хорошо.

Из угла барака раздался стон.

— Кто там? — спросил Мезенцев.

— Раненый в руку солдат. Врача не допускают, сколько ни просим. Плевать им, хоть мы и пленные.

— Красный крест, синий крест — какая разница. Парень так и загнется. И немолодой уже, — сказал поручик.

— Я врач. Давайте я его осмотрю. Его надо привести сюда, к свету ближе.

Маленький солдат, что освободил место Сергею, с другим солдатом пошли в угол, с кем-то долго говорили и привели высокого седого мужчину, который стонал сжатым ртом — чувствовалась, что он испытывает невыносимую боль.

Мезенцев снял шинель, положил ее на ближайшие к огню нары. Блеснул Георгиевский крест, вызвавший у всех вздох восхищения.

— Дайте мне еще шинелей, — несколько офицеров стали быстро снимать шинели и передавать Мезенцеву. — Товарищи, посадите его сюда...

Раненого посадили. Левую руку он придерживал другой рукой и стонал.

— Так, — обратился Мезенцев к маленькому солдату, — возьми его руку... Вот так... Не бойся, держи, как дитя держат... не сильно, но крепко... Как вас зовут?

— Иван... Ме... Мальцев... доброволец.

— Иван, видно, что ты человек взрослый... потерпи... Все будет хорошо.

Сергей осторожно снял шинель со здоровой руки раненого, потом с больной руки. По лицу Ивана бежал пот. Губы были прикушены до крови. Сергей достал из-за голенища сапог складной нож и свернутую проволочную пилу. Аккуратно разрезал ножом рукав солдатской рубахи. Стало видно распухшее плечо Ивана и круглая рана, из которой тонкой струйкой текла темная кровь.

— Пуля, — сказал Мезенцев. Очень мягко, легко при- трагиваясь, ощупал плечо, потом кисть и пальцы и тихонько ими пошевелил. Посмотрел на Ивана и сказал: — Надо достать пулю, иначе начнется гангрена. Вытерпишь, Иван?

— Вытерплю, доктор. Я еще пожить хочу на этом свете. У меня еще не все дела сделаны.

— Вот и хорошо, раз не все.

Сергей отошел к огню, все расступились. На печке стоял чайник с кипятком.

— Мне нужен чистый котелок и чистый кусок какой-нибудь ткани.

— Портянка не подойдет? Чистая.

— Нет.

— У меня есть, — сказал маленький солдат. Пошел куда-то в темноту барака и принес заплечный солдатский мешок. Открыл и достал белую домашнюю льняную рубашку с вышивкой по вороту. — Мамка в дорогу дала. Наша, украинская.

Нашелся и котелок. Сергей безжалостно разрезал и разорвал на полосы рубаху; сунул лезвие ножа в огонь. Держал минуту, даже деревянная ручка нагрелась. Сказал:

— Кто не боится — пойдете со мной. Нужно три человека... Чайник прихватите...

Вызвались четверо, в их числе маленький солдат и поручик.

— Дайте ему какую-нибудь деревяшку в рот, пусть зажмет зубами.

— Можно ложку?

— Можно... Потерпи, Иван. Не говори, а то ложка выпадет. Полейте мне из чайника на руки... Ну, терпи, Ваня! — Мезенцев резко рассек ножом плечо — полилась темная кровь. Сунул в рану палец: — Вот она. Глубоко... Так не достать... Потерпи еще... — Быстро отошел к печке, согнул петлей проволочную пилу, подержал в огне и, быстро вернувшись к раненому, ввел петлю в рану — запахло паленым. Сергей повернул петлю и медленно вытащил темный металлический сплюснутый кусок металла — пулю, сказал удовлетворенно:

— Всё, Ваня!

После чего промыл рану теплым кипятком и наложил чистую повязку.

— Ложись, Иван, тебе сейчас надо поспать... Господа, напоите его горячим кипятком.

Поить не пришлось — солдат Иван Мальцев спал... Ложка лежала на полу, перекушенная...

Поезд колесами однообразно стучал, увозя пленных от своей земли, от родины, в плен, в лагерь, в Германию.

В углу вагона сидели Сергей Мезенцев и выживший Иван Мальцев. Мальцев был старше Сергея — по возрасту годился в отцы, говорил зло, но к Сергею обращался вежливо.

— Бежать надо, Сергей Дмитриевич, пока далеко не увезли, пока Польша, иначе из Германии будет тяжело — там разделят по отдельным лагерям: для офицеров и для солдат. Оттуда лучше бежать в сторону Франции или в Швейцарию, — и вдруг засмеялся: — К Владимиру Ильичу в гости!

— Это кто?

— Ленин, руководитель большевиков.

— Мне все равно непонятно. Я от всех этих политических дрязг далек, — сказал Мезенцев.

— А зря, Сергей Дмитриевич. Большевики призывают к поражению России в войне.

— Они что — ненормальные? Их в психушку надо отправить.

— А к ним и относятся, как к ненормальным.

— Ну тогда и бог с ними!

— Э, доктор, как вы неправы. В тихом омуте черти водятся! Когда Россия проиграет войну и все будут между собой ругаться — кто виноват в поражении, большевики захватят власть.

— Какую чудовищную картину вы нарисовали, Иван Матвеевич. А царь, а империя?

— Их-то точно не будет.

— О господи!

— Сергей, по батюшке, я знаю, Дмитриевич, а по фамилии?

— Мезенцев.

— Как?!

— Мезенцев. И если можно, называйте меня Сергей.

— Извините, Сергей, вашу жену зовут Татьяна?

— Я не женат... О какой Татьяне вы говорите?

— Беременная женщина, с которой мы добирались из Франции в Россию. Она называла себя Татьяна Мезенцева и говорила, что ее муж военный хирург.

— Таня? Беременная?.. Расскажите о ней...

— Я ее встретил в порту Гавра...

Поезд шел по Польше. Тук-тук, тук-тук...

Все, завернувшись в шинели и прижавшись друг к другу, спали — так теплей. Скорей бы уж лагерь! Двое в углу тихо шептались:

— Надо бежать, Сергей. Да как? Выломать бы решетки или пол и ночью спрыгнуть.

— А как через пол прыгать?

— Выломать дыру, спуститься и, когда поезд притормозит, опуститься на шпалы. Главное, чтобы не отбросило под колеса. Если выломать решетку, то на первой же остановке это заметят и уже посадят в вагон без окон.

— А вы, Иван, откуда все знаете?

— Из своего революционного прошлого...

— Я знаю, как перепилить пол...

Двое весь день ковыряли ножом дырки в полу.

— Хорошая сталь, — сказал один.

— Швейцарский армейский нож, подарок графа Сибирцева.

— Кого?

— Генерала в отставке, Сергея Александровича Сибирцева. Я его лечил, когда он ногу сломал. Он сосед с Таниным дедом, Русановым — дома в Ораниенбауме рядом стоят.

— Если это тот генерал, то я знал его дочь Машу.

— У графа в доме висит портрет красивой женщины с ребенком.

— Да, возможно, это она... Всё, вторую дыру продела-ли... Что, Сергей, дальше делать?

— Вытащите в ноже крючок. Я буду в одно отверстие проводить вот эту проволочную пилу, а вы через второе ее подцепите за кольцо и вытащите. Мы такими пилами кости пилим, а этой пробовали — прутья железные можно перепилить, алмазная... Давайте...

— Есть... зацепил!

Отпилили одну доску и остановились. Пила шла по дереву, как нож по маслу, но стали ждать ночи — прикрыли дыру шинелью. Подошел маленький солдат и сразу попросил:

— Возьмите с собой?

— Сиди тихо и не мешай, тогда возьмем, — прошептал Мальцев.

Ночью продолжили пилить.

— Эх, мне бы такую пилу в молодости. Мы бы с моим другом Володей Боковым из любой тюрьмы убежали, — сказал с уважением Мальцев.

В пропиленную дыру виднелись мелькающие шпалы. Иван бросил в дыру свернутые свою и Сергея шинели и первым, ногами вперед, спустился в страшную грохочущую черноту, завис на руках — только одна седая голова торчала, а потом медленно опустился — ни падения, ни крика не прозвучало. Сергей снял Георгиевский крест и вместе с ножом и скрученной кольцами пилой рассовал по карманам кителя, сел на край выпиленной дыры и спустил ноги. Сердце бешено колотилось, страшный грохот от стука колес неся из черноты. Когда поезд притормозил, он спус-

тился на руках и упал на шпалы. Грохочущий поезд прошел над ним — голова чуть не лопнула... Поезд уходил вдаль, и вдруг в ночи раздался крик и пропал. Случилось то, о чем предупреждал Мальцев: маленький солдат прыгал последним и в последний момент пожалел свою шинель, такую теплую и большую — он полез в дыру в шинели и зацепился за край перепиленных досок. Руки соскользнули, и он повис под вагоном. Его стало мотать и ударять о шпалы, ломая кости, разрывая кожу и мышцы. К дыре, услышав крики, подскочили пленные, но было уже поздно — шинельное сукно разорвалось и солдата, уже полумертвого, отбросило под колеса...

К Сергею подбежал Мальцев, прошептал с болью:

— Нет больше солдата Иванова. Пошли, Сергей Дмитриевич, надо еще шинели найти, чтобы не смогли определить, где мы выпрыгнули, и быстро уходить!

— Жалко, хороший был солдат, — так же тихо ответил Мезенцев. Они побежали и растворились в темноте зимней ночи.

Двое в шинелях с поднятыми воротниками сидели у костра и поочередно хлебали ложками варево из небольшого котелка.

— Ну и странный у вас, Иван Матвеевич, опыт. Как вы ловко все утащили, даже собаки не тявкнули.

— Я, Сергей, столько лет провел на каторгах, столько раз бежал, скитался по сибирским лесам, что воспользоваться плохо лежащим в такой ситуации, как наша, грехом не считаю. Я не снял с нищего рубашку и не экспроприировал богатства, я взял на время, чтобы не умереть. В конце концов, я могу все вернуть! Эх, покурить бы! Правда, вы, врачи, говорите, что курить вредно... и при этом все курите.

— Не все. Перед вами пример некурящего врача.

— Мы там, в лагере, да и в поезде не договорили. Я вам все рассказал о Татьяне, но у меня есть к вам вопросы. Можно, я их задам?

— Извольте, Иван Матвеевич.

— Вы сказали, что знакомы с генералом Сибирцевым?

— Да, я его лечил. У него был перелом ноги.

— А я вам сказал, что я был знаком с его дочерью. Так?

— Да.

— Его дочь, Маша, была невенчанной женой моего друга Владимира Бокова, сына профессора Петербургского университета Ильи Петровича Бокова. Нас после покушения на министра внутренних дел Плеве вместе отправили на каторгу. Меня в Сибирь, а он в Архангельской губернии бежал... У вас странная фамилия, Сергей. Кто ваши родители?

— Я сирота. Мои родители погибли на севере. Эту фамилию мне дал при крещении приемный отец. И отчество в честь себя дал. Так что свою настоящую фамилию я не знаю. Я смутно помню только мать, но почему-то не в деревенском доме, а около камина. Ее звали Маша. И остался дневник — маленькая тетрадка.

— И что там было написано? — с напряжением в голосе спросил Мальцев.

— Почти ничего. То, что Маша приехала с сыном Сергеем — убежала от своего генерала — и что все готово к побегу. Я все думаю, что Маша, моя мама, была замужем за генералом и сбежала от него. А откуда она, я не знаю. А так бы хотелось найти родственников.

— И никаких фамилий или кличек?

— Нет, только упоминается какой-то друг «М», который убежит...

— «М»? Так и написано: «М»?

— Да.

— Я с самого начала, когда ты, Сергей, наклонился надо мной тогда в бараке, все думал: на кого же ты похож? Глазами, лицом, этими пальцами. Боялся признаться — вдруг от ранения померещилось. А сейчас, после того что ты рассказал, понял: ты сын Маши Сибирцевой и Владимира Бокова. Ты внук генерала Сибирцева и профессора Бокова! А «М» — это Меркулов! Моя настоящая фамилия Меркулов, и я был другом твоего отца!..

Впервые за много-много лет Сергей заплакал. Он плакал, как плачут дети и женщины: навзрыд, подвывая,

уткнувшись в шинель сурового седого мужчины, а тот гладил его по голове и шептал: «Поплачь, сынок, поплачь, легче будет... поплачь и пойдем, надо идти — тебя ждет твоя семья...»

Через три дня их поймали. В утренних сумерках крадущихся вдоль кромки леса людей в шинелях увидел польский крестьянин и быстро-быстро побежал к полицаям, к новой германской власти на многострадальной польской земле. Он был безграмотный, но все крестьяне знали из расклеенных в деревнях объявлений, что за каждого русского пленного-беглеца дают пять рейхсмарок, а за сокрытие — расстрел. Побежишь доносить, галопом побежишь — жить-то хочется.

Не били, даже толком не обыскивали — так, карманы вывернули. У Мезенцева нашли Георгиевский крест, уважительно поцокали языками и... вернули — офицер. Пилу и нож опять успел спрятать. Еще другая война была — пленных офицеров не били и не обыскивали! Отправили в лагерь — разные: для солдат и для офицеров... Мезенцев с Меркуловым обнялись перед расставанием.

— Как говорил мой друг и твой отец, Володя Боков: «Убежим, обязательно убежим». Запомни адрес, Сергей: Екатерининский канал, дом пять, квартира десять, Анастасия Мальцева. Это моя сестра. Там и встретимся. Я знаю. Прощай!

XI

— Не могу! Впервые в жизни я боюсь! Прочитайте вы, Илья Петрович, — говорил Сергей Александрович Сибирцев, протягивая Бокову конверт с выдавленными двуглавыми орлами на сургучных печатях.

Пять минут назад конверт вручил офицер Генерального штаба. Войдя в дом, он вытянулся перед Сибирцевым и громко и четко произнес:

— Его высокопревосходительству графу Сергею Александровичу Сибирцеву от их высочества великого князя, Верховного главнокомандующего Николая Николаевича

Романова пакет, — протянул конверт, отдал честь и как то обыденно добавил: — Лично.

Сибирцев даже печати сломать не смог — до того руки тряслись. Все, даже Фекла и Федор, сошлись в гостиной. Таня, тихо сказав: «Спит», присела на диван. Три недели назад, в Рождество, когда выяснилось, что Сергей Мезенцев — внук Сибирцева и Бокова, граф обратился с письмом к самому Верховному главнокомандующему — титул и генеральское звание позволяли — с просьбой сообщить, где в войсках находится военный врач Мезенцев Сергей Дмитриевич. «Зауряд» — хотел написать Сибирцев, знавший систему чинов и званий в русской армии, но не стал — слишком был гордый. И особенно ему хотелось написать, что Мезенцев — не кто иной, как его, Сибирцева, внук и, значит, граф. Но Сергей Александрович, прошедший всю жизнь в армии, знал, как пишутся такие письма. Он его продиктовал Илье Петровичу, имевшему красивый каллиграфический почерк. Тот хотел от себя добавить, что Мезенцев и его, профессора, внук, но не добавил, только вздохнул, понимая, что такие письма так и пишутся.

— Ваше высокопревосходительство, граф, — зачитал Илья Петрович, — мне трудно, но на Вашу просьбу я сообщаю, что подпоручик, кавалер ордена Святого Георгия четвертой степени, военный врач Мезенцев Сергей Дмитриевич пропал без вести в ночь на седьмое января одна тысяча девятьсот пятнадцатого года. Командование прилагает все усилия к поиску подпоручика. Верховный главнокомандующий, великий князь Николай Романов.

— Ах! — вскрикнула Таня и заплакала.

— Дайте мне, Илья Петрович, письмо, — тихо произнес Сибирцев и стал надевать дрожащей рукой очки, никак не попадая дужками на уши. Надел и стал читать, шепча, как будто в письме были другие строки, которых Илья Петрович не увидел, или искал в строчках письма какой-то тайный смысл, скрытый за завитушками титулов и званий. Прочитал, дрожащей рукой положил письмо на стол, сел, погладил зачем-то письмо рукой, снял очки и сказал:

— Господь много подарков не делает! Правнука подарил, внука забрал.

Все застыли молчаливо.

— Сергей Александрович, вы же человек военный, объясните, что значит «пропал без вести»? Это что — убит? — тихо произнес Боков.

— Спасибо, Илья Петрович, — как очнулся Сибирцев. — И правда, был бы убит — так бы и написали, что убит. Он же врач, в атаку не ходит и, значит, скорее всего попал при каких-то неизвестных обстоятельствах в плен. Он не солдат — офицер, а на погибших офицеров ведется строгий учет. Я напишу еще одно письмо Верховному, где уже подробно изложу необходимость поиска моего... нашего внука. Учитывая, что он по рождению граф, в его судьбе будет задействовано Министерство иностранных дел империи... и, может быть, сам государь... Фекла, принеси коньяк... Хочу обратить ваше внимание... Сергей-то не зауряд-врач, а подпоручик, Георгиевский кавалер. По своему опыту скажу: я не помню, чтобы зауряд-врач так быстро становился подпоручиком, да еще и был награжден орденом Святого Георгия — не Георгиевской медалью, как все зауряд-врачи, а орденом, что обозначает, что наш внук очень славно и достойно воюет... — в голосе Сибирцева зазвучали нотки гордости. — Воевал! — Старик заплакал. Все молчали. Заплакал ребенок, и Таня, взяв его на руки, всхлипывая, ушла к себе в комнату. Фекла стояла с подносом и не знала, что делать с принесенным коньяком.

— Чего застыла, Фекла? Неси все в мой кабинет. Пойдем, Илья Петрович, писать новое письмо. Не найден убитым, не похоронен — значит, жив! Господи, дай сил!

ХП

Новый лагерь, куда попал Сергей Мезенцев, находился в Восточной Пруссии, недалеко от небольшого древнего городка тевтонских рыцарей Браунсберга. В лагере находилось несколько сотен пленных русских офицеров. В основ-

ном это были офицеры, попавшие в плен в четырнадцатом году, во время страшных поражений армий Ренненкампа и Самсонова, но были и новые, попавшие в плен уже зимой пятнадцатого года. Офицеры не работали, жили в деревянных бараках, но скученности не было, спали на заправленных кроватях; ели сносно, не как немцы, которые в своих германских городах питались брюквой и хлеб получали по карточкам. Даже давали ячменный «кофе».

В лагере было много больных, но почти не было раненых — за восемь месяцев войны такие пленные, не получая нужной медицинской помощи, умерли — за колючей проволокой, ограждавшей лагерь, в поле, стояли десятки крестов. В день, когда Мезенцева привезли в лагерь, поступили пленные с боев в Августовских лесах, где русская армия потерпела еще одно сокрушительное поражение.

В барак внесли носилки, на которых лежал раненый офицер с погонами поручика лейб-гвардии Семеновского полка. Он был без шинели, в одной окровавленной форме, на которой блестили ордена. Это был молодой, очень красивый офицер, стонавший в забытьи — левая рука его была как-то неестественно прижата к груди, а правая голень была вывернута, тоже неестественно.

— Господа, помогите мне, — сказал Мезенцев и вместе с несколькими офицерами осторожно перенес поручика на кровать. Сергей склонился над ним, пощупал плечо — раненый застонал. «Вывих», — сказал Сергей, развернул руку кнаружи и вдруг резко повернул ее к груди. Раздался щелчок, раненый вскрикнул, очнулся, открыв большие красивые серо-голубые глаза, и затих; на лице его выступила испарина.

— Как вас зовут, поручик? — спросил Мезенцев.

— Тухачевский... Михаил...

— Потерпите еще немного, Михаил, я осмотрю вашу ногу.

— Я потерплю. Сейчас уже легче — рука не болит. Сапоги-то с шинелью немцы сразу себе забрали... Всех, суки, ночью перебили!.. Всю роту...

— Я вам брюки разрежу?

— Брюки — не ноги. Ноги и руки мне еще будут нужны — я воевать хочу.

— Вы, поручик, первый, кто хочет обратно на войну. Все хотят домой, и никто не хочет на фронт.

— Зря... Вылечите, доктор, и я буду первый, кто сразу из плена убежит на фронт!

— Пока что вы не только бегать, ходить не сможете. Лежите.

Мезенцев разрезал низ брюк своим армейским ножом, который, как и пилу Джильи, он при пленении успел спрятать — раззявы же эти немцы! — осторожно ощупал ногу.

— Повезло. Тоже вывих... Терпи, казак... — захватил обеими руками стопу и потянул.

— У-уу! — застонал, открывая ровные крепкие зубы, поручик.

— Вот и все, — сказал спокойным голосом Мезенцев. — Сейчас тугую повязку наложу...

Перевязав, подложил под голову раненому подушку и накрыл своей шинелью.

— Отдыхайте, поручик.

— Я все равно убегу... — прошептал Тухачевский. — Спасибо, доктор! — и тут же заснул.

— Я об этом поручике уже слышал, — сказал кто-то. — Герой! Еще в августе четырнадцатого при Танненберге отличился, а потом в боях за Варшаву. Храбрец из храбрецов.

— Вы, господа, посмотрите, сколько у него наград, включая Георгий, а всего-то поручик! Как же мы с такими-то офицерами и войну проигрываем?

— Так не мы проигрываем — ее проигрывают там, во дворцах и в Генеральном штабе... а русский солдат так — пушечное мясо!..

— Нельзя так говорить, господин штабс-капитан, это священная война для русского народа. Это вторая отечественная, великая война...

— Ну-ну, господин капитан, посмотрим, что вы скажете, когда мы ее прос...ем.

— При таких панических настроениях мы ее точно проиграем!

— Господа, господа, может, хватит? Идите вон туда в угол или лучше на улицу и там ругайтесь. Можете дуэль устроить... на палках. Видите, раненый уснул... Успокойтесь, господа. То, что происходит сейчас на фронте, от нас с вами уже не зависит...

Офицеры еще что-то говорили друг другу, но уже тихо и как-то даже беззлобно.

Спустя три дня раненому поручику стало значительно лучше: он садился, спускал с кровати ноги и прислушивался к спорам пленных офицеров. Но и его спрашивали: «Как там на фронте?» — «Плохо!» — отвечал. Рассказал, как под городком Августов немцы ввели в бой целую армию, о которой, по-видимому, никто в русском Генеральном штабе не знал, и несколько русских корпусов оказались в окружении. Говорил возбужденно, жестикулируя здоровой рукой:

— Патронов нет, снарядов нет, еды нет, огня нет, в окопах по колено воды, сырой снег, и немец атакует, атакует, атакует!.. У нас уже и сил не было, когда они ночью ворвались в траншеи... Помню только, как командира роты, штабс-капитана Веселаго, убили... Дрались ножами, лопатами, штыками, прикладами... сплошной мат... навалились... и всё — очнулся уже в плену...

— И что — никакой помощи не было? А что Генеральный штаб? Великий князь?

— Так я еще не командующий армиями, — засмеялся поручик. — Когда стану, тогда и спрашивайте!

— А станешь?

— Конечно!

— Молодец, поручик Тухачевский!

— А где лагерь находится? — спросил Тухачевский.

— В Пруссии.

— Тогда убежим.

— Ну вы, поручик, дважды молодец! Только-только его доктор от смерти спас, а он уже — «убегу»!

— А хирург-то где?

— Немцы его к себе в госпиталь в Браунсберг увезли.

— Зачем?

— Спасать немецких офицеров.
— У них что, своих врачей нет?
— Говорят, что он уникальный хирург. До побега в другом лагере сидел, так одним ножом оперировал!
— Бежал?!
— Так из Польши, а здесь уже Германия.
— А как зовут нашего хирурга? — спросил Тухачевский.
— Запомните, поручик, своего спасителя — Мезенцев Сергей Дмитриевич.
— Да уж запомню на всю жизнь.
— Вот немцам повезло! — сказал кто-то из офицеров.
— А чем?
— А что в этом лагере сидит такой хирург.
— Этот хирург лечит врагов! — крикнул один из офицеров.
— Да хватит вам, господин штабс-капитан, сколько можно говорить эту глупость.
— Я за эти слова вызову вас на дуэль, господин капитан.
— Я не против, вызывайте.
— Господа, отложите свою дуэль до возвращения нашего доктора. Может, наоборот, хвалить будем. Где шахматы? Штабс-капитан, давайте сыграем партию.
— Не возражаю, — миролюбиво ответил штабс-капитан; все знали, что он, как артиллерист, прекрасно играл в шахматы.

ХІІІ

Генрих фон Магдебург, полковник германской армии, был любимчиком самого великого генерала Пауля фон Гинденбурга. Конечно, год назад даже в немецком Генеральном штабе никто о каком-то Гинденбурге, если бы спросили, не смог бы ничего сказать — генерал уже несколько лет сидел на пенсии среди болот и лесов, в глуши своих баронских угодий. И Генриха фон Магдебурга никто, кроме подчиненных ему солдат, не знал — тянул военную лямку майор и, может быть, дослужился бы до подполковника лет так через десять, если бы дожил и не выкинули

на пенсию еще в майорском звании. А тут война. Служил командиром роты в армии генерала фон Притвица, который в первой же битве в августе 1914 потерпел сокрушительное поражение при Гумбиннене от такого же немца, только командовавшего русской армией, по меткому выражению русского царя, «не орла, но проявившего твердость» Пауля Карловича фон Ренненкампа. Повезло Магдебургу в одном: не убили! Вот в этот-то трагический для Германии момент и явился в армию Гинденбург. И понеслось: разгром армии Самсонова, потом разгром армии Ренненкампа. И начался карьерный рост майора. Все дело в том, что папаша майора, подполковник, служил во время Франко-Прусской войны под командованием генерала Гинденбурга и был им любим за бесстрашие, пьянство, хамство и... точность — Гинденбург на пунктуальности был помешан. И когда пал на той войне храбрый подполковник от французской пули, сам Гинденбург плакал над гробом. Потом Гинденбурга пинком отправили доживать в его баронские леса, а молодой сынок погибшего героя-подполковника стал тянуть нищую лямку германского офицера.

Майор Генрих фон Магдебург в папашу был дуростью и бесстрашием — солдат не жалел, сам первый в атаку кидался, получал ранения, но так, несерьезные. Когда Гинденбург увидел его фамилию в списках к награждению низшим Железным крестом, то его отца, подполковника, вспомнил, улыбнулся, зачеркнув награду, дописал, что Магдебург за храбрость награждается Железным крестом с дубовыми листьями, и присвоил ему звание подполковника. Вновь испеченный подполковник на радостях напился, стал стрелять из пистолета и убил солдата. Петля светила подполковнику, ну хотя бы погоны должны были содрать, ан нет, Гинденбург заступился: вызвал подполковника к себе и стеком для лошади меж лопаток как дал... аж мундир лопнул.

— Спасибо скажи своему отцу покойному... Служи... За убитого тобой германского солдата десять русских убьешь! Лично!.. Семье убитого свое трехмесячное жалованье отплатишь. Ты хотя бы знаешь, что у него семья — пять душ

детей и все мальчишки, а они должны вырасти и пойти на войну!.. Пошел вон!..

Подполковник, обрадованный, ушел и продолжил столь же глупо и храбро воевать. К марту пятнадцатого стал знаменит, имел два Железных креста за храбрость и звание полковника и получил под командование полк в армии еще одного немецкого героя генерала Августа фон Макензена. Гинденбург уже фронтом командовал.

Этот последний снаряд из единственной целой пушки то ли от безысходности, то ли от злости, что он последний, запустил в сторону немцев русский артиллерист. Угол для максимальной стрельбы поставил и выстрелил. Улетел снаряд за линию немецких окопов и попал в дом, где находился штаб полка под командованием Генриха фон Магдебурга. Разнесло всё! Почти всех поубивало, а когда разобрали завалы и вытащили полковника, то оказалось, что он еще живой: весь в крови, хрипит чего-то, не разобрать. Повезли в полковой лазарет — там на него взглянули и руками замахали: не жилец, везите дальше. Дальше повезли в госпиталь, там тоже посмотрели, ахнули — месиво, в чем душа держится неизвестно, одни погоны целые, и, от греха подальше, приказали везти в Кенигсберг. Везли врачи с санитарями и понимали, что не довезут. И знали, что если не довезут, то командующей армией Макензен, а с ним и сам Гинденбург к стенке поставят. Поэтому поступили проще: до гражданского госпиталя в маленьком городке Браунсберг, что в шестидесяти километрах от Кенигсберга, довели и прямо в больнице на полу носилки бросили и уехали. Тамошние врачи увидели почти бездыханного, окровавленного с ног до головы полковника, да еще и при крестах, испугались — что делать? А тут еще сам генерал Макензен позвонил и сообщил, что врачи и санитары, бросившие полковника, уже арестованы и предстанут перед военно-полевым судом, и решение суда одно... Так что либо спасайте, либо туда же, в суд, по законам военного времени... Тут один из врачей и вспомнил, что недалеко, в Фрауенбурге, в русском лагере, есть пленный хирург. Говорят необыкновенный. И надо его везти сюда. Немцы — педанты, а уж

что касается пленных, то это для немцев не люди — скот, а тут закрутилось!.. Слова «Гинденбург» и «Макензен» заставили всех очень быстро бегать... Через два часа военнопленный врач Мезенцев Сергей был доставлен (на машине!) под конвоем в госпиталь города Браунсберга.

Немецкие врачи с удивлением и недоверием смотрели на молодого русского офицера. Шептались:

— Правда, что этот русский — хирург?

— Разве у русских есть врачи, а тем более хирурги?..

— Про этого чудеса рассказывают...

— Чепуха, русские — варвары, и у них нет медицины...

Только-только народившаяся германская империя — сборище мелких нищих удельных земель — вдруг проявила такую спесь и высокомерие в отношении других государств и народов, что какие-то русские, французы, англичане, американцы для немцев стали варварами.

Разговаривать было легко: немецкий язык — язык войны и медицины. Мезенцеву дали халат и позволили вымыть руки какой-то жидкостью, пахнувшей нашатырем. Полковник был без сознания. Сергей попросил его раздеть и осмотрел раненого: у полковника были проникающие ранения в грудь и в живот, перелом правого бедра — обломки торчали из раны, ранение головы и множество других ранений, он был наспигован осколками. «В чем и душа-то держится? — удивился Сергей и с гордостью подумал: «А хорошо ему наши навалили». Сказал немецким врачам:

— Надо оперировать. Покажите вашу операционную...

Операционная была необыкновенная: блестела белым кафелем, чистотой, над головой горела необычная лампа из нескольких светильников, забранных стеклом, инструменты вообще поразили — все отливали матовостью высококлассной стали, операционный стол с легкостью ходил вверх-вниз от нажима педали.

— У нас есть два аппарата великого немца Конрада Рентгена, стационарный и переносной. Если вы захотите сделать снимки икс-лучами, можно их сделать прямо в операционной.

— Снимки? В операционной?

— Да. Мы применяем особые пластины, проявляем и получаем снимки.

— Можно ли дать наркоз?

— Да, масочный, эфирный, для этого есть наркозный аппарат.

«Господи, — подумал Мезенцев, — если у них такой госпиталь в маленьком городке, то каково же оснащение в берлинских клиниках?»

— Кто будет помогать мне на операции?

— Вам будут помогать два врача-хирурга и две операционные сестры, — ответил главный врач. Он не отходил от русского хирурга, понимал — в нем его единственный шанс выжить.

— Тогда, коллеги, давайте мыться. Без операции раненый умрет. Впрочем, шансы его и так невелики.

— Мы скажем вам честно: если он умрет — нас могут расстрелять, — сказал главный врач.

— За что? Вы же врачи.

— Это, к сожалению, особый раненый. За его жизнь волнуется сам Пауль фон Гинденбург.

— Мне вас, коллеги, не понять. Давайте срочно начинать операцию, а то он точно до стола не доживет.

Мезенцев оперировал полковника шесть часов. Он даже не устал, до того ему хотелось оперировать в этой операционной. Он был счастлив. Странно, но замороженные его искусством оперирования немцы это понимали и помогали. Сергей удалил сдавливающие мозг осколки костей черепа, вскрыл грудную клетку, достал металлический осколок из легкого и ушил рану в легком; с брюшной полостью пришлось повозиться: были ранения желудка и тонкой кишки — пришлось ушивать рану желудка, из которого Сергей достал металлический осколок, часть поврежденной тонкой кишки удалил. Немцы предложили засыпать в рану какой-то порошок из маленького стеклянного флакона. Сказали: «Экспериментальный. Пенициллин. Создатель — англичанин Александр Флеминг. Англичане его еще не применяют и долго еще не будут применять, а мы уже используем... Необыкновенные результаты! Стоит —

дороже золота!» Рану на бедре тоже ушили. Перевязанного, с резиновыми трубками, торчащими из грудной клетки и живота, полковника перенесли в отдельную, блистающую чистотой палату, где Сергей сделал вытяжение сломанной ноги. Рядом с кроватью посадили медицинскую сестру — наблюдать. На стене находилась кнопка, при нажатии которой в кабинете врачей загоралась лампочка. Все было необычно для Мезенцева, все нравилось, все восхищало, была зависть, и не было никакой ненависти к врагу. Вспомнилось, как перед отъездом сюда один из пленных русских офицеров, узнав, куда везут Мезенцева, зло крикнул:

— Вы будете спасать жизни наших врагов?

— Буду. Я врач, и я буду помогать всем, кто нуждается в моей помощи. И для меня нет своих и чужих больных и раненых, богатых и нищих, плохих и хороших. Такова суть моей профессии.

— Вас за помощь врагу надо расстрелять.

— Тогда расстреляйте здесь. Попросите винтовку и расстреляйте. Я не имею права как врач никому отказывать.

— Вы же русский офицер!

— Прежде всего я русский врач.

— Господин штаб-капитан, прекратите ваши глупые нападки на Сергея Дмитриевича. Он правильно делает. Он русский врач, — сказал пленный подполковник. — И он православный христианин. А этим мы, русские, отличаемся от немцев.

Немецкий госпиталь удивленно гудел: все были восхищены необыкновенной, невиданной ранее виртуозной техникой оперирования этого совсем еще молодого русского хирурга. Об уникальной операции узнал генерал Макензен и сказал, что он через два дня лично прибудет в госпиталь. Приказал русского врача в лагерь обратно не отправлять — он хочет на него посмотреть. Узнав об удачной операции, свою радость высказал и главнокомандующий фон Гинденбург.

Немцы настолько прониклись уважением к русскому хирургу, что показали других своих раненых, выслушали замечания, исполнили предложения, и за следующие два

дня Мезенцев прооперировал еще нескольких солдат и офицеров.

— Вы слишком молоды для опытного хирурга, — сказал приехавший в госпиталь генерал Август фон Макензен. — По-видимому, у вас исключительный талант, если верить тому, что о вас говорят. Впрочем, я видел полковника фон Магдебурга. Кое-кто уж болтается на виселице за трусость. Сколько вам лет?

— Двадцать, господин генерал.

— О-о! Вы даже моложе, чем я думал! Послушайте, доктор, я предлагаю вам остаться хирургом в Германии. Хотите военным, хотите гражданским, мы создадим вам все условия. Ну что вам делать в России? Она скоро проиграет — у нее уже нет сил для войны. Ближайшая наша победа над вами или французами приведет к краху вашей страны. Что вам там делать — быть простым врачом в каком-нибудь занюханном лазарете? Служить лет двадцать, чтобы на старости лет получить дворянство без земли, крепостных и денег? Бросьте, молодой человек, мы, немцы, предлагаем вам весь мир.

— Спасибо, господин генерал, но я хочу в свою страну, в Россию.

Генерал насупился.

— Мы дважды не делаем предложений, а тем более побежденным врагам.

— Да, господин генерал, я пленный, но это же не навсегда — когда-нибудь я стану свободным. Война — она не вечная. А насчет поражения России... я глубоко в этом сомневаюсь.

Мезенцеву очень хотелось сказать генералу, что он, как русский граф, вообще-то не должен стоять перед Макензеном, но он промолчал. Сергей очень хотел, но до конца так и не мог поверить в сказанное Мальцевым-Меркуловым.

— Мне вас жаль, доктор... Вас отправят обратно в лагерь... Но все-таки за полковника спасибо... Прощайте.

— Прощайте, господин генерал.

Врачи госпиталя были крайне расстроены, что Сергея отправляют обратно в лагерь.

— Мы хотели бы что-нибудь вам на прощание подарить. Просите.

— Если можно, бинтов и вашего необыкновенного лекарства.

Немцы собрали целую сумку перевязочных средств, йод, спирт, инструменты и подарили три флакона с белым порошком. Дополнительно положили в машину сумку с едой и бутылкой шнапса. Сказали на прощание:

— Спасибо, коллега. Мы надеемся, что еще встретимся, — и шепнули: — Про порошок, пожалуйста, никому не говорите.

— Обещаю как офицер, — ответил Сергей. — А как хирург я был рад вам, коллеги, помочь и надеюсь, что когда-нибудь, в мирной жизни, мы еще постоим вместе за операционным столом.

— Давайте лучше посидим за другим столом, праздничным, и напьемся от души! — смеялся, провожая Мезенцева, главный врач больницы. Он был больше всех рад, что полковника спасли — от петли избавился!

Мезенцев зашел в палату к полковнику Магдебургу. Тот был в сознании.

— Подойдите, доктор, — сказал тихим голосом Магдебург. — Я никогда не думал, что мне жизнь подарит враг и я ему буду благодарен. Убегайте с фронта — зачем вам умирать. Умирать должны мы, военные...

— Господин полковник, я военный врач, хирург, и когда идет война, мое место на поле боя.

— Вы настоящий врач и солдат. И одним врагом у меня стало меньше. Спасибо. Я надеюсь, что жизнь нас еще сведет вместе, и я постараюсь отдать вам свой долг. До свидания.

— Прощайте, господин полковник.

В офицерском бараке Мезенцеву обрадовались. Не все. Он отдал сумку с продуктами и подошел к сидевшему на кровати Тухачевскому.

— Как ваши успехи, поручик? Вы что-то слишком быстро идете на поправку, — засмеялся. — Моя помощь, я думаю, вам уже не нужна.

— Нужна, очень нужна, — прошептал Тухачевский.

— Я буду рад вам помочь, говорите.

— Сергей, ты же был за границей лагеря. Расскажи, какова охрана лагеря, можно ли убежать? Есть ли возможность добраться до линии фронта? Это же Восточная Пруссия, значит, рядом Литва, а там и Миттава с Ригой.

— И как ты, Михаил, хочешь добраться до линии фронта? Не забывай, Пруссия — это не Польша, это Германия, и первый же встреченный тобой немец с огромным удовольствием выдаст тебя властям, да еще и деньги за это получит. В лучшем случае ты добежишь до реки Пасарга, а как ты ее перейдешь? Только по мосту — тебя сразу там и схватят... Хочешь совет?

— Я слушаю, Сергей.

— Давай подождем, когда сойдет лед. Я думаю, через месяц, тогда можно будет уплыть по реке на небольшой лодке. Я видел небольшие яхты на берегу. Я умею управлять яхтой, и мы могли бы спуститься вниз по реке до Кенигсберга и уйти в Литву. Вряд ли кто-нибудь подумает, что можно убежать из плена на яхте.

— Спасибо, но я не могу ждать. Прошу тебя, Сергей, только никому не говори о нашем разговоре.

— Как можно, Михаил? Ты меня оскорбляешь.

— Ни в коей мере я не хотел тебя, Сергей, обидеть. Прости. Я же тебе жизнью обязан. Побегали вместе.

— Я убегу, но через месяц. Подумай, Михаил, всего-то месяц.

— Хорошо, я подумаю...

Через неделю Михаил Тухачевский убежал. А через два дня его поймали — при переходе через мост, несмотря на ночь, на него обратил внимание какой-то проезжавший на телеге крестьянин и, нахлестывая лошадь, поехал к ближайшему полицейскому посту. Тухачевского вернули в лагерь, но через день, как неисправимого, неожиданно отправили дальше в Германию. Мезенцев с Тухачевским обнялись.

— Я все равно убегу! — прошептал Тухачевский, прощаясь. — Увидимся, Сергей, в России. Увидишь, я появлюсь там раньше тебя.

— Я постараюсь, чтобы ты меня там, на родине, долго не ждал. Весна скоро.

Тухачевского увезли...

Через две недели потеплело, стаял снег, а потом сошел и лед с реки. В конце мая пропал доктор Мезенцев. Охраняли-то лагерь так себе — куда денутся, Пруссия!.. Сразу как-то и не забеспокоились — может, срочно в город, в госпиталь увезли... Через пару дней спохватились, бросились искать туда, за мост, но не нашли. А Мезенцев в ночь побега отвязал маленькую яхту и, ловя ветер, поплыл вниз по реке к Кенигсбергу. Не доплыв до города, вышел на правый берег, парус спустил, яхту оттолкнул на воду — когда найдут, пусть решат — отвязалась... и ушел в сторону Литвы. Через десять дней скитаний по лесам вышел к передовым русским частям.

Повезло, что вышел в июне. В июле великие русские командующие, во главе с главнокомандующим, князем Николаем Николаевичем Романовым, начали «выпрямлять фронт», сдали немцам Варшаву, а за ней всю Польшу и Литву и докатились до Риги. Вряд ли Сергей до фронта бы дошел!..

XIV

«Ваше сиятельство, граф! Очень рад, что Господь вернул Вам пропавшего много лет назад внука, и спешу вас обрадовать, что подпоручик, военный врач Мезенцев Сергей Дмитриевич жив. Он бежал из германского плена и сейчас находится в расположении 4-й армии генерала фон Эверта. За свой подвиг ему присвоено звание поручика, и он награжден орденом Святой Анны 4-й степени с мечами. Мною отдан приказ предоставить поручику отпуск сроком две недели и устно передано от меня, что Вы его ждете к себе. Я не стал передавать Мезенцеву С. Д. известие о вашем родстве, посчитав, что это прежде всего семейная радость. Еще раз: рад за Вас, граф, и желаю Вам здоровья и благополучия. Его высочество великий князь Н. Н. Романов.

Р. С. К сожалению ли, а может, к радости, но я уже не Верховный главнокомандующий. Ныне Верховный — наш

Государь...» — читал, прерываясь на всхлипывания, доставленное письмо граф Сергей Александрович Сибирцев, и по щекам старого солдата текли слезы. А потом закричал: «Фекла, зови Татьяну — Сергей нашелся!» И пошел сообщать по телефону профессору Илье Петровичу Бокову о великом событии для обоих стариков — возвращении через очень много-много лет единственного на обоих внука. Правнук в это время сладко спал.

Таня, как только смогла оправиться после родов, пошла к своему деду. Бывший муж Николай Семенов не препятствовал. Он резко постарел: лицо стало опухшим, в волосах появилось много седины, пальцы мелко тряслись — а мужику всего-то к тридцати. Дед Русанов, когда узнал о настоящей фамилии Сергея Мезенцева, заплакал и вновь зашептал:

— Что же я наделал? Я же все разрушил! Счастье твое, внучка, погубил... Может, еще найдется твой суженый... не погиб... А как правнука-то хочется увидеть... — и все плакал. Таня ходила к нему каждый день, кормила с ложечки. Заходила и к Аристарху, и того кормила, и тот тоже плакал и все просил Татьяну:

— Накажи его, ирода. Меня-то уже Бог наказал!

Ходила, пока граф Сибирцев не стал ругаться:

— Как может твой дед сидеть в своем доме, как в тюрьме, и не видеть своего правнука? Приведи его ко мне в дом. Федор и Фекла помогут... И не возражать! Я этого не переносу... Комнат свободных достаточно... Прошу исполнить! Федор, Фекла идите сюда...

Николай Семенов аж обрадовался:

— Слава богу, не надо тебя, сучку, видеть и твоего маразматика-деда кормить да горшки за ним выносить. Можно и прислугу уволить. Ты и моего папашку для ровного счета к себе заberi — вот бы богадельня у вас там собралась. Ха-ха-ха!.. Заberi, а? Впрочем, нет — он мне пока нужен. Отдаст то, что спрятал, и пусть катится...

А с появлением Русанова в доме графа вдруг появился отсутствующий покой. Николай Иванович быстро пошел

на поправку и, как только стал ходить, сразу стал помогать Федору по дому, приговаривая:

— Пора возвращаться туда, откуда начал... Батенька-то мой кузнецом деревенским был. Где топор — дров хочу нарубить. Сразу сила появится.

— Так и мои предки из крепостных крестьян, что на Дон убежали... — вторил ему граф Сибирцев. — Пойдем, Николай Иванович, я тоже хочу топором помахать.

И шли, и с трудом, до тряски в ногах и руках, кололи чурбачки, а потом приходили домой, раскрасневшиеся, помолодевшие, и пили чай, и рюмочку пропускали. Счастливы были.

Не часто, но в дом приезжала Анастасия Мальцева — они с Татьяной уходили на второй этаж, в комнату Маши, где сейчас жила Татьяна с сыном, и о чем-то долго разговаривали. От брата Анастасии вестей не было. Пропал на войне.

XV

Это был необычный раненый. Морской офицер, мичман. Но морской летчик! Десятифунтовая бомба взорвалась в руках механика, и тот погиб, а летчику, Александру Северскому, оторвало левую ногу выше стопы. Он был в сознании, не плакал, а орал, что не даст отрезать ногу. Его уговаривали:

— Не ампутируем по середину бедра — умрете от гангрены.

А он молил:

— Неужели среди вас нет милосердного человека? Неужели вы не верите в Бога? Пусть лучше я умру, но я ногу отрезать не дам!

— Да поймите вы, не можем мы не отрезать. Стопы-то нет — висит на лоскутке кожи. Только чикнуть. А жгут на бедре уже больше двух часом... Не можем!

— Не дам! — кричал молодой человек, с белым, как снег, лицом. — Где этот ваш знаменитый хирург? Пусть он

оперирует. Контр-адмирал Нелепин приказывал, чтобы к нему везли. Везите к нему!

— Кого вы имеете в виду?

— К Мезенцеву!

— Так мы и думали, — вздохнули облегченно врачи.

А Мезенцева по приказу командующего корпусом уже везли на автомобиле (!) в госпиталь, где лежал раненый летчик. Сам адмирал Нелепин попросил...

Два молодых человека смотрели друг на друга. Один умоляюще и шепча молитвы просил синими губами:

— Господи! Доктор, прошу вас, спасите ногу! Я же летчик! Как я летать-то смогу без ноги? Лучше застрелите!

— Поймите, Александр, ее нет! — отвечал другой. — Оторвало ее выше стопы. И мои коллеги правы — надо ампутировать, иначе смерть от гангрены.

— Ну, может, не всю? Тогда протез, а я и с протезом полечу!

— Если выше колена — не полетишь! Колено-то чем заменишь? А вот ниже можно попробовать. Но если начнется гангрена — надо будет ампутировать посередине бедра.

— Доктор, пусть стопы не будет, но только летать!

— Хорошо!.. Везите его в операционную!

Прооперировали очень быстро. Сергей радовался, что захватил свою уникальную пилу Джилли: она, как масло, пересекла кости голени. Мышцами и кожей закрыли культю. Летчик был в сознании.

— Все! — сказал Мезенцев. — Дальше, Александр Николаевич, многое будет зависеть от вас и от Всевышнего.

— Все, что от меня зависит, я сделаю. А Богу... Богу свечку поставлю — все-таки я к нему так близко находился каждый день. Пусть поможет. Скажите, доктор, как вас зовут?

— Сергей... Сергей Дмитриевич Мезенцев.

— А меня Александр Северский.

— Я знаю. Отдыхайте, Александр, и хорошо бы было, если бы вы поспали. Сестры дадут вам порошок, и поспите. Надо.

— Спасибо, Сергей...

Александр Николаевич Северский был потомственным дворянином, и все его предки были военными, а вот папенька стал известным в Петербурге певцом и даже создал свой театр. Но сына определил по военной линии — в Морской кадетский корпус, откуда тот и вышел юнкером, а с сентября 1914-го стал мичманом. Юношу так манило небо, что он пошел в Севастопольскую летную школу и за 6 минут полета с инструктором стал летчиком. А потом со своим необузданным характером решил, что он лучший, и, не слушая инструктора, стал выписывать в небе такие фигуры пилотажа, что инструктору стало плохо в машине и он блевал на свои кожаные штаны. Юношу из летной школы отчислили, но он уже понял: без неба он больше жить не сможет. Перевелся на Балтийский флот и через два месяца получил звание «морской летчик». Через четыре дня, когда самолет готовился к взлету, бомба взорвалась у механика в руках... Летчику Северскому было двадцать лет.

XVI

Сентябрь пятнадцатого года выдался на редкость удачным — было мало дождей и много теплых дней и ночей. Петербург гудел от военных: по городу сновали бесчисленные машины и коляски со штабными офицерами; их, штабных, стало так много за время войны — вторая армия, и все с орденами и аксельбантами. Рестораны блестили, музыка гремела, дамы смеялись и блистали фальшивыми бриллиантами, шампанское взрывалось, пузырилось и текло рекой. Армия, как выражался Генеральный штаб, «выровняла фронт» — убралась с «Варшавского выступа» и убежала на территорию Белоруссии, отдав немцам Польшу. Это уже было началом наступающего краха армии и империи. И был Гришка Распутин — смердящая, пьяная мразь на теле государства. Еще был новый Верховный главнокомандующий — сам государь. И был больной наследник.

В Ораниенбауме, в доме графа Сибирцева, в его кабинете, на столе была расстелена большая карта Европы —

сохранилась с военного прошлого, — на которой старый генерал отмечал битвы, сражения, наступления и поражения этой, первой в истории человечества мировой войны. И беспрерывно ругался, и ночи не спал — ворочался. «До такого позора дожили! — кричал. — Где же армия? Позор...» И вновь читал военные сводки и отмечал на карте, как одна европейская страна, не имеющая никаких особых природных ресурсов, воевала на два фронта и одновременно стучалась в ворота Парижа и Петрограда. И опять кричал: «Не может этого быть, чтобы Германия всех так раскидала! Австрияки не в счет!» — И вскакивал ночью с кровати, и бежал в свой кабинет, и уже в спальню не возвращался — старый генерал был весь там, на фронте. Вот только пришедшее письмо от бывшего Верховного о чудесном возвращении внука из плена и оторвало от страшных дум, а так мог бы и свихнуться... В доме все переживали и боялись за старика.

Сергей приехал в Петроград и поехал на Большую Посадскую к Афанасию Ефремовичу. Вот где ему обрадовались! Стол накрыли, песни русские пели, дядя на радостях кулаком шарахнул по столу, да так, что развалил на две части — до того был силен и счастлив. К ночи, когда все улеглись, Сергей рассказал ему всю историю своего рождения и спросил совета: как быть?

— Это какая же радость, Сергей! Это как заново родиться, как слепому свет увидеть. Узнать, кто ты есть на самом деле! И то, что ты граф, не самое главное в жизни. Главное, что ты знаешь, кто были твои мать и отец, и что у тебя есть дед...

— А что мне с фамилией делать?

— Странный ты, Сергей, вопрос задаешь. Как что? Знали бы тогда твою настоящую фамилию, разве бы другую стали давать? Да и нашли бы по фамилии. Ты — Сибирцев Сергей Владимирович. И это правильно, и это очень хорошо! Дай я тебя обниму. Ты только нашу фамилию не забывай...

— Как можно?!

— Ну и славно... Налей-ка мне коньячка. Что-то от радости, что ты живой и что деда нашел, сердце защемило.

А потом этот большой и сильный человек, помор, заплакал и зашептал сквозь слезы: «Как хорошо-то. Счастье-то какое!..» Вытирал слезы и не стеснялся.

Через день Сергей пришел к Мальцевым. Дверь открыл мальчик и уважительно спросил офицера с орденами на форме:

— Вам кого?

— Мне Анастасию.

— Мама, это к тебе.

В прихожую вышла высокая, с серьезным взглядом женщина. «Как похожа на Ивана», — подумал Сергей и спросил:

— Вы Анастасия?

— Да.

— Скажите, я могу увидеть Ивана Меркулова?

Женщина отшатнулась: Меркуловым, Ивана называли только самые близкие люди, знавшие его по партии. Спросила тихо и хрипло:

— Откуда вы его знаете? Он на фронте... Пропал...

— Мы с ним были в одном лагере для военнопленных.

Женщина вдруг радостно схватила Сергея за рукав и втащила в прихожую.

— Входите, входите, — она провела Сергея в комнату и усадила за стол. — Рассказывайте, рассказывайте, что знаете об Иване.

Сергей подробно рассказал, как познакомился с Иваном Мальцевым, сказав: «Он так себя называл», как вместе бежали из поезда и как их поймали, а потом отправили в разные лагеря.

— Вот вроде и все, — закончил.

— А вы как в России оказались?

— Бежал. Повезло — добрался до своих.

— Какой вы молодец! Ой, простите, я так и не спросила, как вас зовут...

— Сергей. Мезенцев. Врач.

Женщина всплеснула руками и вскрикнула:

— Вы муж Тани?!

— Какой Тани?

— Русановой. Вы внук графа Сибирцева?

— Вы знаете Таню? Вы знаете графа Сибирцева?

— Да, конечно! У вас, Сергей, родился сын...

— Сын! И где она? У Семеновых?

— Нет. Она живет у вашего деда — Сибирцева. Они вас ждут. Поезжайте, поезжайте — они вас так ждут. И Илья Петрович каждый день из университета приезжает туда, в Ораниенбаум, — все ждут вашего приезда.

— Вы поедете со мной, Анастасия?

— Нет, сын болеет. Но большое вам спасибо за брата... Какое это счастье, что он жив... Он обязательно убежит. Он с каторги убегал... — Анастасия заплакала. — Давайте, Сергей, я напою вас чаем. Ваня, помоги мне... Я вам все расскажу о Тане...

Когда прозвучал дверной колокольчик и Фекла открыла дверь, перед ней стоял молодой человек, высокий, тонкий, в военной форме, с двумя орденами. Фекла не сразу сообразила, кто перед ней, а узнав, радостно воскликнула:

— Проходите, ваше сиятельство, вас давно ждут.

Сергей покраснел. Он стоял в доме, в котором он был больше года назад и не думал, что он вот так просто войдет в этот дом, и уже не гостем... В гостиной стоял Сибирцев, глаза его были влажными от слез. Он развел руки и плача сказал:

— Иди ко мне, мое дитя.

Сергей, стесняясь, подошел, Сибирцев обнял его, наклонил его голову, поцеловал в лоб, а затем не выдержал и, прижавшись лицом к груди Сергея, заплакал.

— Ну что вы, ваше сиятельство... Не надо... Не плачьте... Дедушка, не плачь... я же вернулся...

— Вернулся... Вернулся... — плакал и шептал дед. — И как будто дочка Маша вернулась... Прости меня, Сережа, я так виноват перед твоей матерью и перед тобой... Прости...

Сергей поднял голову и увидел, как в гостиную входит Таня с ребенком на руках. Глаза ее были полны слез. Сибирцев оторвался от внука, оглянулся и сквозь рыдания сказал:

— Иди, обними свою Таню и сына. Они тебя так ждали. Сергей подошел к Тане, она опустила глаза и прошептала:

— Прости меня, Сережа, если сможешь.

— За что, Таня? Мне все рассказала Анастасия.

— Ты видел Настю? Но почему?

— Потому что я сидел в одном лагере с ее братом и потом мы убежали, но, к сожалению, нас поймали... Как ты назвала сына?

— Я жду тебя. Но хотела бы назвать в честь твоего отца Владимиром.

— Очень хорошо.

— Так, — сказал Сибирцев, — Фекла, накрывай стол. Я пойду звонить Илье Петровичу — пусть летит пулей!

В гостиную вошел Николай Русанов, увидел Сергея, подошел, стал на колени и, плача, сказал:

— Простите меня, Сергей!

— Встаньте, встаньте, Николай Иванович. Вы же, как и я, ничего не знали о моем прошлом. Давайте забудем все и начнем все с начала, счастливого начала...

Вечером стол был накрыт, горели свечи, пылал камин, все были торжественны.

— Я прожил большую и бурную жизнь. С детства я знал и желал одного — воевать! Меня к этому приучили мой отец и мой дед, а их — мои прадеды. Сколько ни смотреть назад, в нашем роду одни военные и битвы. И для меня самое счастливое было — воевать. А оказалось, что счастье ждало меня на краю моей жизни. Я сегодня самый счастливый человек на свете, я обрел внука и правнука, обрел семью, — граф Сибирцев в генеральской, с многочисленными наградами, форме, стоял с бокалом в руке, и голос его дрожал. — Да, семью! У меня появился внук и правнук. У меня появилась Таня, у меня появился Илья Петрович и родной мне человек, родственник, мой сосед и Танин дед — Николай Иванович Русанов. Какая большая семья собралась в этом тихом доме, и я благодарю Господа, что это произошло. Я хочу выпить за вас, мои друзья. Я хочу выпить за свою семью!.. — голос Сибирцева дрожал, но

он пересилил себя, выпил шампанское и вдруг с молодецким «Эх!» бросил бокал об пол — тот со звоном разлетелся на кусочки. Все удивленно застыли, а потом выпили и захлопали в ладоши. Таня светилась от счастья, а Сергей был смущен. Они незадолго до этого спустились к гостям из своей комнаты, где, уложив сына, очень сильно, сильно... любили друг друга... Сибирцев, опьянев от счастья и шампанского, погладил внука по орденам и гордо сказал: «В наш род — Сибирцевых!..» Был счастлив и плакал Илья Петрович, когда Сергей и Татьяна объявили, что решили назвать сына Владимиром. Сибирцев поддержал, сказав: «Правильно! В нашем роду еще Владимиров не было». Все так хорошо и по-доброму сидели. Никто не думал о войне. Она была там, за окном, в ночи, но никто в этом счастливом доме о ней не вспоминал. А за окном, в темноте, стоял у металлической калитки человек и пьяно шептал: «Радуетесь, радуетесь? Чему радуетесь? Ничего, скоро плакать будете...» Этот человек еще не знал, что его злейший враг вернулся и находится в этот момент за светящимися от радости окнами ненавистного для него дома.

XVII

Возвращение через десятилетия внука графа Сибирцева на какое-то время затмило в светском обществе столицы империи даже известия с фронта. В основном шушукались и посмеивались: «Старый граф из ума совсем выжил — дитя незаконнорожденное нашел и внуком своим назвал». Другие, что сами уже были стариками и знали Сибирцева давно, приветствовали графа — хоть какая-то радость у прославленного солдата империи на старости лет. Вспомнили, как много-много лет назад графа постигло несчастье: убежала дочь с сыном неизвестно куда, да и пропала. Но таких, помнящих, было немного.

Признание самим Сибирцевым родства с молодым человеком и признание за ним титула графа — не одно и то же. Сибирцев направил прошение на имя императора, тот чиркнул ручкой, и неповоротливые механизмы канцеля-

рий медленно, со скрипом зашевелились: стали собирать показания свидетелей, нашли записку мезенского надзирателя, что валялась в архивах Архангельска, сняли показания с Дмитрия Васильевича и его братьев о появлении ребенка в их семье, приобщили к делу дневник Владимира Бокова. И на все надо время, время, время... А пока, конечно, Сергей Мезенцев вправе считать себя Сибирцевым, если сам граф не возражает, но называться графом и его светлостью — увольте, за это тюрьма!

А Сергей и не стремился величать себя графом, но обещание деду исполнил: стал Сибирцевым Сергеем Владимировичем. Пробыл дома положенные две недели отпуска и уехал на Западный фронт, во 2-ю армию, которая как начала с поражения в августе четырнадцатого под Танненбергом, так ни одного сражения и не выиграла. Рок какой-то висел над этой армией. Так и новый командующий — старичок, мягкий, деликатный, нигде и ничем себя не проявивший Владимир Васильевич Смирнов — как узнал, что наступать надо, убежал в лазарет! А у нового командующего Рагозы еще и своя, 4-я армия была, так что не до второй было. Ставка с новым Верховным главнокомандующим императором Николаем Романовым решила помочь любимым французам, проигрывающим битву под Верденом, и бросила на немцев аж две армии в районе озера Нарочь. Два дня немцев утюжила артиллерия, а затем бросили в атаку русские корпуса да там их на морозном поле под немецкими пулеметами и уложили — почти всех!

Сергей Сибирцев прибыл на новую должность старшего врача полка в малюсенький белорусский хутор Будслав. И как вошел в операционную, так трое суток и не выходил. Оперировал. Прикорнет на полчаса, сидя на табуретке в уголке, и опять к столу. И раненые, раненые, раненые... Это те, кого сумели вытащить с поля боя, а десятки тысяч лежали на замерзшем поле. И у многих отморожения — руки и ноги штабелями лежали около операционных палаток. Хоронить не успевали — очередь не доходила.

Солдаты плакали, а Сергей говорил каждому:

— Если не удалим сейчас пальцы — гангрена пойдет выше и тогда удалим выше, по бедро, или умрешь.

— Удаляй! — кричал обрадованный раненый. — Без пальцев-то я даже пахать смогу, а топор и другой рукой умеючи удержу. Удаляй быстрее!..

И следующий, которому ампутировали руку или ногу, тоже не плакал — радовался: живой и домой. Пропади она пропадом, эта война!

Вынесенная из плена проволочная пила пригодилась — резала кости, как масло. А хирургия — это скорость! И в скорости — человеческая жизнь!

И хирурги на фронте оперировали сутками. Отойдут от операционных столов, чтобы спины разогнуть, водки выпить, чутко поспать и снова к столу — очередная битва на фронте.

Верховный главнокомандующий со своим Генеральным штабом решил хотя бы одну битву выиграть и бросил армии Западного фронта на немцев под Барановичами, там, где когда-то была старая Ставка русской армии. И уложили мертвыми на поле боя за двадцать дней десятки тысяч русских солдат. И если в марте поступали с отморожениями, то сейчас, в жарком июле, раны нагнаивались и в госпиталях стоял нестерпимый запах карболки и вонь от разлагающихся гнойных ран. Раненые умирали тысячами. Сергей Сибирцев не знал, что делать: вокруг гной, гной — ручьи, реки гноя. Он заставил промывать раны перекисью водорода, раствором марганцовки, мылом. Раненые мыли себя, помогали другим, у санитаров от стирки бинтов кожа слезала до мяса.

Сергею вспоминался немецкий госпиталь в маленьком городке Браунсберг. Три флакона чудо-порошка, которые ему подарили немцы, он оставил дома, в Петрограде, ими тысячи людей не спасешь. Но у него было самое меньшее количество «гнояных» умирающих. Результатам не верили и вызвали в штаб армии.

Возглавлявший комиссию полковник, увидев Сергея, вскочил возбужденный.

— Было у меня подозрение, что это вы, мой спаситель! Только вот почему-то фамилия другая. Дайте, я вас обниму, друг мой. Господа, это и есть Сергей Мезенцев, о котором

я много вам рассказывал. Я потом, когда вас наградили и повысили в звании, вас искал, да вы пропали. Где вы были, молодой человек?

— В плену.

— В плену? Убежали?

— Убежал.

— Нет, каков молодец! Скажите, а почему все-таки у вас другая фамилия?

— Так я считался сиротой, а вот нашлись родные, сразу два деда.

— А-а! Хорошо! Очень хорошо!

— Сибирцев — уж больно известная фамилия, — сказал сидевший за столом генерал-майор. — Не Сергея ли Александровича родственник?

— Так точно, ваше превосходительство, внук я Сергея Александровича.

— Батюшки! Служил я у их сиятельства в армии еще капитаном. Крут был граф, но справедлив, — генерал встал. — Они с моим покойным отцом вместе еще против турка воевали, а я под началом его превосходительства на японской, — протянул руку. — Генерал-майор Краснов Петр Николаевич. Увидите Сергея Александровича — передавайте ему от меня поклон.

— Слушаюсь, ваше превосходительство. Можете сами навестить, он в Ораниенбауме живет. Думаю, он очень будет рад. А отца вашего я видел на фотографии в доме Николая Дмитриевича Голицына.

— Вот как пути-дорожки сходятся! Так к вам я вообще-то должен обращаться «ваше сиятельство».

— Государь решение примет — тогда, возможно, да. Но меня это не волнует. Меня волнует жизнь наших солдат...

— Вы же были направлены старшим врачом в дивизионный госпиталь. Почему опять в полку? — спросил медицинский полковник.

— Так это, Леонид Анатольевич, было до плена и с другим человеком.

— Запомнили? Хотите сказать, что желаете остаться в полку?

— Так точно, господин полковник.

— Ну что с ним делать, ваше превосходительство? Упрямый!

— Не упрямый он — правильный. Настоящий русский солдат. В деда!.. Идите, подпоручик, и продолжайте спасать русских солдат. Их и так-то, после таких бездарных боев, остается все меньше и меньше...

— О чем вы, генерал? — спросил удивленно Краснова полковник Ковалев.

— Я надеюсь, полковник, это между нами... Идите, Сергей Владимирович... Желаю вам здравствовать! Если что — буду проситься к вам...

— Лучше, если не понадоблюсь.

— Кто знает...

Генерал-то как в воду глядел. Через неделю на передовой рядом с Красновым разорвалась артиллерийская граната — взрывной волной выкинула генерала из седла, и все бы ничего, но осколок пробил седло и попал в низ живота, и нога была сломана. Когда подняли, захрипел: «Везите в Будслав к хирургу Сибирцеву. Только к нему...» — и потерял сознание. Казаки — народ расторопный: носилки между двух коней привязали и поскакали. Генерал от тряски в сознание не приходил — хорошо, что жизнь в этой скачке не вытряхнули из Петра Николаевича. Привезли и, сняв с носилок, на руках занесли в дом, где располагался маленький хирургический лазарет. Закричали:

— Где здесь у вас хирург Сибиряков. Мы генерала Краснова привезли. Он приказал к нему везти... — и когда Сибирцев вышел на шум из операционной, добавили: — Не спасешь нашего генерала, мы тебе вмиг шашкой голову отрубим.

Сибирцев внимания на угрозы не обратил и приказал генерала раздеть, от чего казаки возбужденно заволновались:

— Ты, доктор, чего, ополоумел, чтобы бабы нашего генерала раздевали?

— А ну-ка, господа казаки, подите-ка отсюда вон. Хотите — уезжайте, хотите — ждите, но чтобы я вас здесь не

видел... Идите, идите, не мешайте, — приказал спокойным голосом Сибирцев.

Когда казаки, звеня шпорами и шашками, шумно вышли, Краснова раздели и увидели рану внизу живота, чуть выше лобка.

— Давайте генерала на стол, — скомандовал Сергей. — Оперировать надо. Ранение мочевого пузыря... Да и голень сломана... И как это казаки из него душу не вытрясли, довели? Удивительно!

Сергей оперировал Краснова без наркоза, обезболивание делал местное — новокаином. У генерала был пробит мочевой пузырь, но, слава богу, не насквозь — осколок лежал в мочевом пузыре. Сибирцев его достал, рану зашил, вставив дренажную трубку.

Генерал в конце операции пришел в сознание и совершенно осмысленно смотрел на Сергея. А когда тот закончил оперировать и снял маску, Краснов через боль улыбнулся и прошептал:

— А я что говорил — встретимся. Вот и встретились, Сергей Владимирович. Спасибо... спасли...

Сибирцев наложил шину на сломанную ногу и сказал:

— Дня через два-три, когда отек с ноги спадет, заменим шину на гипс, — потом заулыбался и добавил: — Попробовал бы не спасти, ваше превосходительство, — ваши казачки пообещали изрубить!..

— Я им покажу «изрубить»! Графа!..

— Вы о чем, ваше превосходительство? Я — хирург Сибирцев, а не граф Сибирцев. Граф — мой дед.

— Полноте, Сергей Владимирович... Это надо же, меня оперировал Георгиевский кавалер, хирург, поручик и граф... Не может этого быть... Покойный Лев Николаевич позавидовал бы такому сюжету.

— Ну значит, может быть, ваше превосходительство... Отдыхайте...

Казаки, увидев живого генерала, стали громко выражать радость — пришлось сестрам утихомиривать. Казаки вышли из дома и закурили самосад.

— Петро, это ты хотел доктора зарубить? — сказал один.

— Не-е, не я, — ответил серьезно Петро, — Васька вроде.

— Чего Васька-то? Я не говорил... — и казаки стали смеяться и толкать друг друга — так счастливы были.

Через три дня Сибирцев удалил трубку из живота и наложил гипс на сломанную ногу генерала. За Красновым пришла машина. Сибирцев провожал — шел рядом с носилками.

— Я бы посоветовал, ваше превосходительство, сделать на этот раз наоборот: пусть везут, как сюда везли — между коней, только тихо-тихо... Вы, господа казаки, как можно аккуратней генерала везите — это вам не в атаку с пашками...

Казаки мялись, потом старший хорунжий, краснея и заикаясь, сказал:

— Вы уж нас, доктор, извините за грубость... Сгоряча мы...

Краснов, приподнявшись, сказал хорунжему:

— Поддай! — тот протянул генеральскую шашку, украшенную Георгиевским крестом с полосатой лентой; все на фронте знали, что Краснов за храбрость был награжден этим георгиевским оружием в первый день войны! — Ваше сиятельство, Сергей Владимирович, Святой Георгий у вас уже есть, а Георгиевского оружия еще нет. А у вашего деда, я знаю, есть и то и другое. Вместе с моим отцом получил от покойного императора Александра Александровича. В один день. Так что считайте — догнали своего знаменитого деда. Спасибо, граф!..

Казаки и медсестры смотрели непонимающе и удивленно.

— Спасибо, ваше превосходительство! Я думаю, мой дед будет рад увидеть вас у себя дома. Приезжайте.

— Обязательно приеду. Подлечусь и приеду. Прощайте!..

Отъехали, а казаки тихо переговаривались.

— Ты, Петро, чего-нибудь понял? Кто граф-то, хирург?

— Не может того быть... У генерала с головой от ранения того...

— Вот и я думаю... поаккуратней надо везти, а то совсем растрясем...

Шла война, убивали людей, а кого не убивали, только ранили, того, если могли, несли с поля боя в лазареты к хирургам. Хирург — самая важная, самая необходимая профессия на войне!

— Сергей Владимирович, они никого не слушают, несут сюда раненого. Кричат и требуют вас, — сестра говорила, и в ее голосе слышался страх.

— Ты чего испугалась? Криков? — Сибирцев поднял голову от операционного стола. — За столько-то лет можно уже и привыкнуть.

— Так не солдаты несут — офицеры.

— Попроси их в операционную не входить. Я сейчас закончу оперировать и выйду.

— А вдруг они начнут стрелять?

— Да что такое с тобой? С чего такой страх? Иди и скажи. В конце концов, налей им спирта — сразу успокоятся. Проверено. Можно диссертацию писать. Иди, не мешай...

На носилках лежал белый как снег Николай Голицын.

— Что случилось, господа? — спросил вышедший из операционной Сибирцев.

Из четырех офицеров самый старший — капитан — быстро и возбужденно заговорил:

— Их сиятельству, подполковнику, гранатой в ногу. А он, пока в сознании был, потребовал, чтобы к вам доставили. Наш полк недалеко — двадцать верст всего. Доктор, вы его знаете?

— Да, с Николаем Николаевичем, мы хорошие товарищи, можно сказать, друзья, — Сибирцев откинул шинель — левой ноги ниже коленного сустава не было. Рядом лежал сапог.

— Я, господа, не Бог, я хирург. Ноги людям еще не научились пришивать. Попробую спасти жизнь... В операционную его! Быстро!

Когда ближе к ночи Голицын пришел в сознание и открыл глаза, первое, что он увидел в сумерках комнаты и свете керосиновой лампы, — лицо Сергея Сибирцева.

— Сережа? — тихо-тихо зашептал. — Довезли все-таки. Как нога?

Сибирцев вздохнул и, взяв руку Голицына в свои ладони, погладил и грустно сказал:

— Ее нет... Я не Бог, Николай. Да и Бог ничего не смог бы сделать. Главное, ты жив.

— А как же я без ноги жить буду?

— Брось! Неужели нога — главное в жизни? У меня летчик был — ампутировал ему ногу, а он, говорят, летает! Представляешь — летает! А тебе и летать не надо. Скажу честно: тебе сейчас там, на фронте, завидуют тысячи солдат. Они, когда им руку или ногу ампутировают, плачут от счастья, что живы и что домой поедут. Это не четырнадцатый и не пятнадцатый, когда стрелялись с горя! Так что жив ты Николай! Жив! А для твоих родителей какое это счастье!

Через день у Голицына началась горячка, он терял сознание, бредил, что-то кричал, затихал, порывался встать и... умирал; его обертывали сырыми простынями, чтобы сбить температуру, — ничего не помогало. Приехал отец — председатель правительства империи. Сидел у кровати, опустив голову, и шептал молитвы. Сергей Сибирцев решил на последнее: он попросил Николая Дмитриевича связаться по телефону с домом графа Сибирцева и, когда подошла Татьяна, сказал, что надо сделать. Через день в лазарет, загнав двух лошадей, офицер доставил посылку с флаконами пенициллина. Сергей развел порошок в физиологическом растворе и ввел умирающему Николаю Голицыну в вену. Уже через несколько часов температура спала, и Голицын спокойно заснул.

К сидевшему рядом с кроватью отцу подошел Сибирцев и тихо попросил:

— Ваше высокопревосходительство, пойдемте со мной, в моей комнате есть кровать. Вам надо отдохнуть.

— Но... сын...

— Он спит. Я ему сделал укол с лекарством, которое мне в плену немцы подарили. Его англичане разработали, а немцы секрет украли и начали производство. Мне его по-

дали за спасение жизни раненого полковника Генриха фон Магдебурга.

— И вы отдали его моему сыну?

— Я отдал ее человеку, который в нем нуждался.

— Спасибо, Сергей. От всей нашей семьи спасибо, — князь тяжело поднялся и пошел, опираясь на руку Сибирицева, спать на узенькую железную кровать, заправленную простым солдатским одеялом.

Через десять дней Николая Голицына перевезли домой в Петроград.

— Сергей! — говорил, прощаясь, Голицын. — Я тебя жду у нас дома. Мы все тебя ждем. Спасибо, Сергей!

XVIII

Николай Семенов пил. Он как с цепи сорвался: когда в четырнадцатом по настоянию отца женился без всякой любви и взаимности на Татьяне Русановой, так в нем что-то внутри, в груди перевернулось. Да еще когда понял, что жена беременна не от него! И уже тогда, в Италии, в его голове созрел план, как расстаться с женой. При матери Татьяны Наталье это сделать было невозможно, но война позволила этому плану осуществиться, когда Татьяна согласилась добираться домой с ним... Потом уже было все легко. Он заранее просчитал, как поступит, оставалось только добраться до Парижа. У него было право, и он снял все деньги со счетов Русановых в европейских банках, создал видимость безденежья, переехав в маленький, кишаций тараканами отель в нищем рабочем квартале, за площадью Бастилии, и, бросив жену умирать с голода, добрался до Гавра, где на заранее зафрахтованном судне отплыл в Швецию. Он оставил Татьяне немного денег не из сострадания, а чтобы она смогла оплатить гостиницу — задержалась, иначе его как должника начала бы искать полиция. Он даже забрал несколько ее колец — быстрее умрет. Он все рассчитал. В нем, в этом тихом, казалось, убогом человеке вдруг проявились такие низменные качества, такие тайные чувства, такая ненависть к своим близким...

Он плыл в Швецию и уже мстительно думал, как он накажет отца, как избавится от него и от Русанова. Он понимал, что убийство приведет его на скамью подсудимых, и решил медленно уничтожить их, заперев в доме, лишив возможности с кем-нибудь встречаться и даже разговаривать. С Русановым все складывалось как нельзя более удачно — известие о гибели любимой внучки быстро, а может, и сразу сведет старика в могилу.

Начавшаяся война привела к такому хаосу в работе государственных учреждений, что потребовалось совсем немного денег, чтобы зарегистрировать факт гибели жены и вступить в полные права и владения покойной супруги. Аристарх Семенов, вначале обрадовавшийся возвращению сына, в путаный рассказ о гибели Татьяны не поверил и спросил прямо:

— Ты ее бросил в Европе? Без денег? Неужели это мой сын? Как ты мог — это же твоя жена?!

И получил в ответ:

— Не тебе меня учить — вспомни Алексея Русанова! Бросил, умерла, погибла — мне без разницы! Ее больше нет! И ребенка — не моего, от того доктора, тоже нет; оба где-нибудь в трущобах Парижа сгнили!

— Я за свои злодеяния перед Богом еще отвечу — в ад пойду! А если она жива? Ты, подлец, живьем ее в могилу закопал!

— Вот что, папенька... На твои разговоры и причитания мне наплевать. Я, как наследник, тебя от дел и русановских, и наших, семеновских, отстраняю. С сегодняшнего дня я здесь хозяин... Там, в конце коридора русановского дома, есть комнатка — прислуга там жила, вот там и будешь жить, а в соседях у тебя будет дед Русанов... Странно, что тот сразу не сдох от известия, что внучка умерла... Или тоже не поверил?

— Так у меня же свой дом есть, там и жена моя живет.

— Теперь это мой дом, а мать в такой же конуре будет обитать...

— Мы же твои родители...

— Наплевать мне на вас! Теперь все мое!

Через неделю слегла жена Аристарха Семенова и без медицинской помощи и покаяния умерла. На простой телеге, в неструганом деревянном гробу ее отвезли за город на кладбище для нищих и безымянных и, сбросив гроб в яму, полную воды, зарыли, поставив простой крест без имени. Одному из родителей сынок отплатил полной монетой. Остался второй, но второй был нужен — где-то, как считал Николай, были спрятанные отцом капиталы. Николай знал, что отец, управляя заводами Русанова, многие доходы нигде не регистрировал. Он перерыл все столы, шкафы в доме и конторе, простучал полы и стены, но ничего не нашел. Нашлись несколько малозначимых банковских счетов, но по сравнению с тем, что он хотел найти, это была какая-то мелочь. Поэтому-то умереть Аристарху Ильичу от голода не давал: пусть впроголодь, но кормил... Ждал! А сам пил. В конторе с началом войны всех отцовских помощников поменял на новых, своих, из пьющего окружения...

— Николай Аристархович, — перед Семеновым стоял и жался в пол старый седой бухгалтер в круглых очках, — у нас убытки растут, векселя кредиторы предъявляют, а оплачивать нечем — денег нет.

— Как это нет? А куда делись?.. Ты, крыса конторская, воруеть... Все воруете! Думаете, я не знаю? Всех выгоню!..

— Николай Аристархович, как вы можете так говорить? Я у вашего отца двадцать лет служу... никогда слова плохого не слышал...

— Вот и услышал! Пошел вон! Ты уволен!

Бухгалтер ушел, а нового, толкового, найти не удалось. Их и так осталось мало: многие в четырнадцатом в общем порыве честных русских людей ушли воевать за родное отечество; ушли и не вернулись — погибли, а других уже в пятнадцатом и особеннов шестнадцатом году мобилизовали по законам военного времени, и они тоже погибали на фронте. А оставшиеся держались за свои места в других торговых компаниях, так как хорошо знали, в каком состоянии находились балансы бывших «русановских капиталов».

Новый, проворовавшийся в другой конторе бухгалтер сразу сказал Николаю Семенову, что предыдущий бухгалтер наделал массу ошибок, которые и привели к долгам, что можно, конечно, все поправить, но придется часть заводов продать, иначе — крах... Семенов запил. Богатства таяли. К середине шестнадцатого года заводов не осталось — все были отданы за долги, квартиры в городе были проиграны в карты своим многочисленным новым друзьям. Всё, Русановым десятилетиями созданное, все миллионы, как сквозь пальцы ушло — пропало!

В маленькой, запыленной, душной, не проветриваемой комнате на диване без постельного белья, на грязной подушке, под тонким одеялом лежал худой, больной, заросший седой бородой и седыми волосами на голове человек. Он не был стар — ему не было и пятидесяти пяти лет, но последние полтора года жизни без чистого воздуха, без прогулок, без бани, без нормальной еды привели его в это бедственное состояние. Он тихонько умирал...

— Отец, — перед лежащим Аристархом стоял, покачиваясь, пьяный сын Николай, — мне нужны деньги! Мне нужны деньги, которые ты утаил от Русанова и украл у меня!

— Я у тебя украл? — тихо спросил старик.

— Да, ты украл их у меня. Если бы ты мне отдал эти деньги, то в моих делах не было бы теперешнего состояния.

— А какое теперь в них состояние?

— У меня ничего не осталось. Все заводы пришлось отдать за долги. Квартиры тоже пришлось продать. Денег на счетах нет...

— Не может быть! Куда смотрел Захар Артемич?

— Ты имеешь в виду бухгалтера? Так я его выгнал...

— Кого? Захара? Выгнал? Ты идиот!

— Он вор!

— Это ты — вор! Ты все украл, что тебе не принадлежит... Пошел вон... И не дыши на меня своим винущем — здесь и так не продохнуть... Когда умру, рядом с женой похорони.

— Как будто я знаю, где ее похоронили.

— Скотина!

— Я уйду, но приду снова. Лучше скажи, где деньги, иначе хуже для тебя будет.

— Хуже? Голодом заморишь или будешь пытаться? Лучше огнем, чтобы я подготовился, когда за свои грехи в ад попаду...

— Не спеши туда — я тебе ад устрою здесь, живому!..

— Я буду только рад — заслужил.

— Говоришь, что радоваться будешь, если я тебе здесь ад устрою? Огнем пожарю! Молчишь? Лучше скажи, где деньги спрятал, или умрешь жуткой смертью! — кричал на Аристарха Семенова пьяный, со включенными полуседыми волосами сын Николай. — Не испытывай моего терпения!

— Плевать я на тебя хотел!

— Ну что ж, ты сам себе пытку выбрал.

Николай вышел за дверь и тут же вернулся с мотком веревки. Связав отцу руки и ноги, потащил по полу к выходу из дома. В темноте зимней ночи у крыльца стояли санки. Он погрузил на них связанное тело и повез в дальний угол сада к сараю, где при свете зажженной свечи дотащил до дальней стены, надел на ногу старику цепь с навесным замком — не оторвать, все заранее продумал и подготовил.

— Ты, папенька, хотел попробовать на Земле ад — я тебе ад приготовил, только наоборот. Ты будешь медленно замерзать. Так что в аду ты вначале отогреться будешь — радоваться жаре. Видишь, какое я тебе благо делаю! Я приду утром — не замерзнешь. Зима-то еще только началась... Одумайся, я все для тебя сделаю — на золоте будешь есть, девки, какие хочешь, будут за тобой ухаживать, только отдай деньги!

— Нет у меня денег! Прощай... — прошептал старик.

— Не прощай, а до свидания. Я приду завтра.

И ушел.

Таня не могла заснуть: как-то тревожно, нехорошо было у нее на душе — от Сергея давно не было писем, в городе ходили слухи о новых поражениях, о бегущих с фронта ты-

сячах солдат, о голоде в рабочих районах, о нарастающем недовольстве в высшем свете. Едва забрезжил рассвет, она оделась и пошла в сад, в котором белым покрывалом лежал выпавший ночью снег. Она ходила по припорошенным этим снегом дорожкам и так, задумавшись, дошла до конца сада. Она уже собралась повернуть обратно, когда услышала какой-то тихий шум. Таня испугалась и захотела быстро уйти, но вдруг явственно услышала тихий голос: «Барышня, не бойтесь, подойдите... Не бойтесь я хочу сказать вам несколько слов». Сердце Тани сжалось от страха, ноги стали вялыми — ужас остановил женщину. И вместо того чтобы убежать, она сделала несколько шагов вперед и приблизилась к стене сарая, находившегося на территории участка Русановых, ее родного дома. Она знала этот сарай — там хранился хозяйственный инвентарь: лопаты, садовые грабли, ведра... В детстве она, играя, пряталась в нем от своих родителей и смотрела в приоткрытые двери, как домашние бегают и ищут ее... Она подошла к стене сарая и, превозмогая свой страх, прошептала:

— Кто здесь?

— Меня зовут Аристарх Семенов... — послышалось в ответ.

— О, господи, Аристарх Ильич, что вы делаете в сарае?

— Я здесь умираю...

— Я сейчас побегу, позову на помощь...

— Я не вижу, кто ты. Почему ты знаешь меня?

— Я — Таня Русанова, внучка Николая Ивановича.

— О боже, — заплакали за стеной. — Сподобил перед смертью... Не надо, не ходи... Подойди ближе, я хочу тебе что-то сказать.

Таня с сжавшимся сердцем сделала шаг, другой и остановилась у самой стены. За стеной раздался металлический звук, какой бывает, когда прикованная цепью собака ходит у своей будки. Этот звук страшной догадкой зазвучал в ночи и прошел холодом по спине женщины.

— Что это такое? Что это за звук?

— Сейчас уже не важно, — вновь раздался тихий голос за стеной. — Ты меня не перебивай, дай успеть догово-

рить. Я виноват перед твоим отцом, тобой и твоей матерью! Это я, Аристарх Семенов, погубил твоего отца, это я приучил его к наркотикам и свел его в могилу...

— О господи! — Таня хотела убежать и не могла — ноги не хотели идти, мозг отказывался верить.

— Я не прошу у тебя прощения — меня ждет ад. Но прости за моего сына — это я заставил твоего деда и твою мать выдать тебя за него. Это я привел компанию твоего деда к фальшивому краху... Я все это сделал ради своей корысти и ради своего сына... Подожди, только не уходи... Выслушай то, что я тебе скажу. Сын разрушил и превратил в пыль все богатства твоего деда и твоего отца, да и мои тоже. Но... в Стокгольме, в королевском банке Швеции, есть мой личный сейф. Ты должна предъявить вот этот крест, — вдруг в стене, между бревен, появился маленький крестик и упал на снег. Таня наклонилась и подняла. — Предъяви им этот крест, на нем сзади банковский номер из пяти букв, и тебе откроют мой сейф в хранилище банка. Никаких документов у тебя не будут спрашивать. Предъявитель этого креста получит все — такая договоренность. Там драгоценности... Как чувствовал... Все это принадлежит теперь тебе... И еще, в Финляндии, недалеко от границы, на берегу залива, в поселке Перя-Куоккала есть дом номер двадцать четыре — это мой дом. О нем, кроме меня, никто не знает. За ним наблюдает одна женщина. Ее зовут Анна. Скажешь ей: «Я от Аристарха» — и живи. У нее документы на дом, оформлены в Финляндии от моего имени тоже на предъявителя. Это все твое. Если можешь, прости меня, девочка, и прощай... Уходи...

За стеной опять загрело железо, и все стихло.

— Я сейчас побегу, позову на помощь. Я сейчас... — крикнула Таня, но никто не ответил. Она побежала к дому и, вбежав, стала по телефону просить соединить ее с полицией. Когда ее соединили и в трубке раздался недовольный голос, она начала требовать немедленно приехать и оказать помощь погибающему человеку. Сонный и недовольный голос ответил, что полиция приедет днем. Она с угрозой прокричала:

— Если вы сейчас же не приедете, я буду звонить в Министерство внутренних дел.

— А вы кто, чтобы звонить в министерство? — уже уважительно спросили ее.

— Я графиня Сибирцева, — соврала Таня.

Голос в трубке сразу стал подобострастным:

— Госпожа Сибирцева, извините и назовите еще раз адрес...

Через три часа полиция вывела из дома закованного в наручники Николая Семенова. В сарае был найден труп мужчины, в котором был опознан отец Николая — Аристарх Ильич Семенов. Мертвый Семенов был прикован цепью к стене. Рядом с мертвецом валялись перетертые веревки и сломанная коса — наверное, хотел покончить с собой, да не смог. На прокрученное, возможно этой косой, маленькое отверстие между бревен никто не обратил внимания...

Труп увезли на экспертизу, и вскрытие показало, что умерший замерз. Хотели похоронить Аристарха Семенова как безродного в общей могиле, но появилась не назвавшая своего имени женщина, заплатила деньги, и Аристарха похоронили в отдельной могиле и поставили над могилой крест. Женщина зашла в кладбищенскую церковь, поставила свечку и заказала панихиду по усопшему рабу божиему Аристарху.

Николая Семенова судили быстро: по законам военного времени приговорили к пятнадцати годам каторги и повезли в Сибирь, на Нерчинскую каторгу.

Заканчивался шестнадцатый год... И все в стране уже без радости, со страхом ждали, что же их всех ждет в наступающем году.

XIX

Хирург Сергей Сибирцев много оперировал, сутками стоял за операционным столом. Техника операций его становилась все более и более ювелирной. То, на что другие хирурги тратили часы, он оперировал несколько десятков

минут. Точность и скорость были его главными помощниками, не самолюбование и бахвальство, а отсутствие страха, расчет каждого движения, накопленный огромный опыт и знания и, конечно, необыкновенный талант хирурга. В операциях ему уже помогали два младших врача-хирурга, из тех курсантов, что, не окончив полный курс Военно-медицинской академии, были в пятнадцатом году направлены на фронт зауряд-врачами. С первой операции эти двое молодых людей буквально влюбились в своего начальника, а Сергей, будучи сам чуть старше их по возрасту, с удовольствием учил их искусству хирургии. Ему очень понравилось учить своих коллег.

В шестнадцатом году стало больше раненых с огнестрельными ранениями рук и ног — самострелов. Солдаты не хотели больше воевать. На каждого такого солдата Сибирцев был обязан составлять докладную записку, на основании которой солдата должны были судить военно-полевым судом. Как правило, таких приговаривали к расстрелу. Сибирцев записок не составлял — отказывался. Его увещали, ругали, обещали наказать и в конце концов вызвали к командиру корпуса, любимчику царя, генерал-лейтенанту Корнилову. Лавр Георгиевич, увидев доктора, позеленел своим азиатским лицом, глаза превратились в щелки.

— Ты что это себе позволяешь? — закричал он. Пена выступила в уголках его губ. — Кто тебе позволил не сообщать о самострелах? Ты прикрываешь предателей, трусов, дезертиров, изменников царю, государству! Я тебя под суд отдам!..

— Прекратите на меня орать, ваше превосходительство! Я Георгиевский кавалер! И не тыкайте! Иначе я вас вызову на дуэль!

— Что?! Меня, боевого генерала, вызовет на дуэль какой-то врач? Да ты никак спирта перепил...

— Вас вызовет на дуэль не врач, вас вызовет на дуэль граф Сибирцев!

— Вы... граф? Вы родственник графу Сергею Александровичу Сибирцеву?

— Я его внук!

— Простите, э-э... Сергей... э-э... Владимирович... Я не знал... Простите, ваше сиятельство... Но как граф... и врач?..

— А чем врач хуже военного? Тем более я военный врач.

— Ваше сиятельство, еще раз прошу меня извинить... Да-да, конечно, делайте так, как считаете нужным. До свидания.

— Честь имею, ваше превосходительство.

Сибирцев вышел из штаба, а Корнилов в бешенстве ходил по кабинету и шипел:

— Какое унижение! Собрались бл..., отпрыски, молокососы, всякие сиятельства — такие вот Сибирцевы армию и развалят. Вместо того чтобы расстреливать дезертиров перед строем, чтобы все боялись, мы их будем лечить, а потом отпускать по ранению домой! Завтра вся армия стреляться будет!.. Надо этого доктора из моего корпуса убирать! Граф — врач?! Необъяснимо!

Корнилов, сам выходец из бедной семьи хорунжего и казашки из Усть-Каменогорска, ненавидел всей душой наследственные титулы. И царя, который сделал его Георгиевским кавалером и генерал-лейтенантом, ненавидел. Хотя как генерал-лейтенант и Георгиевский кавалер жалован был дворянским титулом. Но это было заслуженное в боях, кровью заработанное дворянство. Он и своего непосредственного начальника, генерала Василия Гурко, ненавидел. Тот был сыном генерал-фельдмаршала Иосифа Ромейко-Гурко, барона. И все Гурко из поколения в поколение были генералами, и все окончили Пажеский корпус. Куда ему, сыну безграмотной казашки! Однако отправить Сибирцева из корпуса не успел — государь вручил Корнилову армию. Но Лавр Георгиевич был злопамятным — запомнил...

Слава об уникальном хирурге бежала впереди Сибирцева. Генерал Краснов рассказал о нем командующему фронтом Эверту, Эверт рассказал начальнику Генерального штаба Алексеву, а Алексей — государю. Государь так, вскользь, по приезде в Царское Село — императрице. Ког-

да же выяснилось, что хирург этот — не кто иной, как прославившийся в пятнадцатом году своим побегом из плена Сергей Мезенцев, как теперь оказалось, еще и внук генерала в отставке графа Сергея Александровича Сибирцева, государь наконец-то вспомнил, что у него уже который месяц лежит на столе прошение графа о передаче своего титула внуку. К прошению были приложены все необходимые документы, подтверждающие их прямые родственные связи. Смущало и раздражало государя то, что отцом молодого человека был Владимир Боков, один из убийц министра Плеве, сын профессора Ильи Петровича Бокова. Да и Сибирцева, как помнилось императору, в отставку отправили без особых почестей — ненужный характер проявил...

Можно было и забыть, но события не позволили. Императрица Александра Федоровна позвонила мужу на фронт и потребовала срочно привезти этого уникального хирурга в Царскосельский госпиталь, где она и все дочери императора после прохождения курсов работали медсестрами, а царица вообще ассистировала на операциях. Отказать жене — это было невозможно даже представить! Да и причина была безотлагательная — заболел наследник, сын Алексей. Лейб-медик Боткин осмотрел мальчика и не исключил аппендицит. Но была проблема: наследник страдал неизлечимой болезнью — гемофилией и любое малейшее кровотечение могло привести к смертельному исходу. Императрица с болью в сердце вспоминала убитого «старца» — Григория Распутина. Болезнь единственного сына привела ее к небольшому умопомешательству: она беспрерывно молилась; все стены ее кабинета и спальни были покрыты намоленными в святых местах иконами.

Боткин отошел от больного мальчика и тихо сказал:

— Ваше величество, мне надо с вами поговорить. Пожалуйста, пройдетте в мой кабинет.

Когда дверь кабинета плотно закрылась, Боткин произнес:

— Ваше величество, я подозреваю у вашего сына воспаление аппендикулярного отростка, или, по-простому,

аппендицит. Я попросил положить холод на живот и не давать еды Алексею Николаевичу, но боюсь, это мера временная. Необходимо решаться на операцию. Я операцию провести не смогу — не хирург, да и далеко не каждый хирург сможет прооперировать наследника. И причина вам известна — его болезнь. Здесь нужен уникальный хирург. Здесь нужна скорость, скорость и скорость!

— О господи! Что же делать?

— Я слышал от генерала Алексеева, да и от других офицеров Генерального штаба о каком-то уникальном военном хирурге. Он, говорят, на фронте с первого дня войны. Попал в плен — бежал! У него была одна фамилия, а сейчас поговаривают, что он чуть ли не внук графа Сибирцева. Об этом хирурге рассказывают легенды одна другой неправдоподобнее. Но если даже часть из них верна, я бы попросил вас, через государя, срочно привезти сюда этого врача. Время не терпит, ваше величество!..

— Я о нем слышала. Я сейчас же позвоню государю!

Император был в Ставке, в Могилеве. Александра Федоровна дозвонилась до мужа.

— Ники, — заплакала она в трубку, — срочно потребуй от Алексеева, чтобы нашли хирурга Сибирцева, имя Сергей. Ты о нем как-то мне рассказывал. Ники, у Алексея подозревают аппендицит. Это катастрофа! Евгений Сергеевич говорит, что надо срочно оперировать. Но он не возьмется, да и считает, что большинство хирургов не смогут сделать такую операцию Алексею. Они понимают, чем это ему грозит. Боткин сказал, что этот Сибирцев — уникальный хирург. Он служит то ли у Краснова, то ли у Корнилова. Быстрее, Ники! Христом Богом прошу — отбрось все дела и найди этого хирурга!..

— Но, Алиса, я сам не смогу приехать домой, я в Ставке. Ты же знаешь, ситуация на фронте тяжелейшая...

— Николай! — зло поменяла императрица ласковое «Ники» на жесткое «Николай». — Мне наплевать на твою Ставку и на твой фронт! Речь идет о нашем сыне! Ты что, не понимаешь?!

— Я-я...

— Прекрати ныть, Николай! Если наш сын умрет от твоего безразличия, я тебя прокляну! — слышно было, как Александра Федоровна заплакала. Император ужаснулся и сказал:

— Я все сделаю, Алиса, — император положил трубку телефона и приказал адъютанту:

— Срочно пригласите ко мне Михаила Васильевича!

Когда начальник Генерального штаба Алексеев вошел в кабинет императора, то государя не узнал: Романов нервно ходил по кабинету с дымящейся папиросой в руках, взгляд блуждал, всегда подкрученные вверх усы обвисли, лицо было серым.

— Михаил Васильевич, у меня беда — болен цесаревич Алексей. Предлагают операцию. Как вы знаете, его нельзя даже уколоть — он может истечь кровью! Вы говорили, что на фронте есть какой-то уникальный хирург — Сибирцев Сергей. Евгений Сергеевич Боткин ссылается на ваши отзывы о нем. Его знают Лавр Георгиевич Корнилов и Петр Николаевич Краснов. Разыщите срочно этого хирурга и отправьте его в Царское Село. Прошу вас, Михаил Васильевич, отбросьте все дела и найдите его. Найдите и отправьте моим поездом.

— Слушаюсь, ваше величество! Я об этом хирурге тоже наслышан, — Алексеев вышел от императора и, пройдя в свой кабинет, приказал адъютанту:

— Срочно соедините меня с генералом Красновым.

С Красновым у Алексеева были хорошие, дружеские отношения. А Корнилова Алексеев недолго любил. За жестокость по отношению к подчиненным, и прежде всего к солдатам, за бахвальство. Алексеев знал, как и при каких обстоятельствах погибла вся дивизия Корнилова в Карпатах, а тот с несколькими офицерами спасся. Алексеев считал, что Корнилова надо было судить за трусость, а император, наоборот, награждал тогда еще полковника Корнилова Святым Георгием и присвоил звание генерал-майора. Поэтому Алексеев Корнилову не звонил, а попросил соединить с Красновым.

— Петр Николаевич, скажите, что вы знаете о враче Сибирцеве Сергее?

— Да все! Он мне жизнь спас! Помните, тогда, когда меня ранило в живот, — это он меня оперировал. Про него с четырнадцатого легенды ходят. Только тогда он был под другой фамилией... Я запомнил... Мезенцев... А сейчас он Сибирцев. Он же внук Сергея Александровича Сибирцева!

— Не может быть! Графа?

— Да, он единственный внук и наследник. Помните, году в четвертом-пятом пропала его дочь с внуком? А вот теперь внук нашелся! Вот такие дела. Что случилось, если вы его ищите?

— Не я — государь!

— Государь?

— У императора болен цесаревич Алексей. Необходима операция. Боткин говорит, что нужен этот врач...

— Значит, что-то очень серьезное, если ищут Сергея. Насколько мне известно, он в армии Корнилова. Звоните ему. А от себя скажу — он лучший!

Когда дозвонились до Лавра Георгиевича и потребовали срочно найти и отправить в Ставку врача Сибирцева, Корнилов побелел лицом от злости. Он хорошо помнил молодого человека, предложившего ему дуэль. Спросил:

— Михаил Васильевич, зачем он вам?

— Его надо срочно отправить в Царское Село — необходимо оперировать наследника! Лавр Георгиевич, прошу вас крайне быстро найти его и сообщить мне. Если будет возможность, пусть его соединят по телефону со мной... Срочно, Лавр Георгиевич, срочно!

Корнилов с удовольствием бы не выполнил или затянул выполнение просьбы Алексеева, но вопрос стоял о жизни сына императора. А император жаловал Лавра Георгиевича, да и Корнилов понимал: если он найдет и отправит в Царское Село этого доктора, то можно надеяться, что это ему, Корнилову, в будущем зачтется. Правда, у него уже было все: два Георгия, генеральское звание и армия, но чем черт не шутит — командующие фронтами менялись на войне часто. Лавр Георгиевич был не только злопамятным, но и очень честолюбивым человеком...

Иногда машина государства работает быстро. Полк, где служил Сергей Сибирцев, находился на линии фронта, а фронт находился недалеко от Могилева. Корнилов лично с Сибирцевым разговаривать не стал — когда нашли, соединили сразу по полевому телефону с Алексеевым. Алексеев попросил вопросов не задавать, сказал только:

— Нужна ваша помощь, Сергей Владимирович. Сейчас за вами приедет автомобиль, и вас привезут в Ставку. Если хотите взять с собой кого-нибудь из врачей, берите. Там, где вы будете оперировать, инструменты и все необходимое для лечения точно есть. Я вас жду. Прошу вас, срочно приезжайте!..

«Что же такое могло случиться, если меня сам начальник Генерального штаба разыскивает?» — подумал Сергей и стал быстро собираться. Автомобиль самого командующего армией Корнилова приехал за Сибирцевым и увез в Ставку, где, не отвечая ни на какие вопросы, его посадили в поезд, состоящий из паровоза и одного вагона, и тот, непрерывно свистя, выбрасывая из трубы снопы искр, не останавливаясь ни на одной станции, понесся к Петрограду.

Когда Сибирцева доставили в Александровский дворец Царского Села, его встретил лично лейб-медик семьи императора Евгений Сергеевич Боткин.

— Да, молод, молод. Не знаю, Сергей Владимирович, насколько можно верить тому, что о вас говорят, но выбора у нас нет. Вопрос стоит о жизни наследника престола, цесаревича Алексея. Мы определяем у него воспаление аппендикулярного отростка. Несмотря на покой и холод, состояние ухудшается. Я вас прошу, осмотрите наследника и, если посчитаете, что необходима операция, оперируйте. На вас вся надежда, Сергей Владимирович. Вы знаете, в чем проблема?

— Вы имеете в виду гемофилию у наследника?

— Значит, знаете.

— Пойдемте, Евгений Сергеевич, посмотреть больного.

У Алексея был жар, и ему прикладывали на лоб холодные компрессы. Мальчик страдальческим, полным слез

взглядом смотрел на молодого доктора, который старался очень мягко надавливать на его живот.

— Доктор, я не боюсь! — храбро, как ему казалось, шептал пересохшими губами Алексей. — Если надо — режьте, я вытерплю, я сильный.

— Вы, ваше высочество, и не бойтесь. Мы все сделаем быстро, а вы поспите и ничего не будете чувствовать, — сказал Сергей и, погладив Алексея по спутанным, сырым от пота и компрессов волосам, поднялся и вышел вместе с Боткиным.

— Евгений Сергеевич, его надо оперировать, и как можно быстрее! Надо срочно готовить операционную.

— Операционная готова, сестры и врачи ждут вас, все инструменты готовы. Эфирный наркоз будет обеспечен. Прошу вас, Сергей Владимирович, поговорите с государыней. Если можно, успокойте ее. Скажите все как есть — она поймет. Она очень сильная женщина.

— Хорошо.

— Пойдемте, я вас провожу.

Александра Федоровна, в темном платье под горло, сидела в кресле. Всегда высокомерное красивое лицо выражало муку, глаза были полны слез. Когда Сибирцев с Боткиным вошли, она подняла глаза, и в них чувствовался один вопрос: что?

— Ваше величество, это хирург Сибирцев Сергей Владимирович.

— Как же вы молоды, доктор. Скажите мне, что вы решили?

— Ваше величество, вашего сына необходимо срочно оперировать. А моя молодость — счастье, которое быстро проходит.

— Вы знаете о его заболевании? Как оперировать? Как вы остановите кровь?

— Надо оперировать так быстро и так тщательно останавливать любое, самое малое кровотечение, чтобы у нас был шанс его спасти. Ваше величество, время сейчас работает против нас. Дайте согласие, и я пойду в операционную. Я все, что смогу, сделаю, ваше величество. Скажите ваше слово...

— Да. Оперируйте, — тихо сказала государыня и заплакала. Подскачили фрейлины. Боткин с Сибирцевым вышли...

Помогали на операции Сергею два хирурга и сестры. Наркоз тоже давали врачи. Это была необыкновенная операция. Огромный опыт военного хирурга, талант, молодость, отсутствие страха, желание сделать эту операцию и спасти мальчика и, наверное, сам Господь помогали Сергею Сибирцеву. Как только был дан наркоз, произошло чудо. Зазвучало: «Скальпель... Зажим... Еще зажим... Зажим... Вязать... Вязать... Крючки сюда... Вот он... Флегмона... Лигатуру... Ножницы... Шьем... Аккуратней, погружайте культу... Давайте я сам... Хорошо... Шить... Шить... Всё... Повязку...» Вся операция заняла несколько минут! Все были поражены этой удивительной скоростью, этими бегающими длинными пальцами — казалось, это они, отдельно от всех инструментов, сделали это чудо. И это чудо было сделано с таким спокойствием, так легко, и даже показалось, как-то обыденно просто. Никто не успел устать! Вспотеть не успели! Да что там вспотеть — помолиться толком не успели. Доктор Боткин, восхищенно наблюдавший за операцией, услышав это последнее «Всё», выбежал из операционной и увидел сидевшую у стенки на стуле, склонившую в страдании голову и сжимающую платок в побелевших руках государыню. Он повторил ей:

— Всё.

— Всё? Погиб? — прошептала государыня, закачалась, и платок выпал из рук.

— Нет-нет, ваше величество. Всё! Операция закончена! — радостно крикнул Боткин. — Я никогда не видел, чтобы так оперировали. Этот хирург, безусловно, какой-то необычайный талант. Мы не успели ахнуть, а он уже операцию закончил! Изумительно!

— Ах, какое счастье! Поддержите меня, иначе я сейчас упаду, — вскрикнула Александра Федоровна.

Через десять минут цесаревич проснулся от наркоза, бессмысленно посмотрел на всех, что-то пробормотал и заснул. Его отнесли в спальню, государыня села рядом с

кроватью, взяла в свои ладони маленькую руку мальчика и завыла, как умеют выть от радости только простые русские бабы. И ничего родного, немецкого, надменного не осталось в этой плачущей женщине. Она два года обыкновенной санитаркой ухаживала за ранеными, а в последние месяцы, сдав экзамен, была сестрой в перевязочной. Она уже не боялась ни ран, ни крови, ни гноя. Ее дочери, великие княжны, тоже работали медсестрами в госпитале, который Александра Федоровна организовала прямо в Александровском дворце. И Зимний дворец тоже был отдан под госпиталь для раненых. Впервые в российской истории семья государя исполняла самую благодарную, но самую грязную работу на войне — помогала спасать раненых русских солдат...

— Сергей Владимирович, я не знаю, как я смогу вас отблагодарить... Объясните мне, почему вы хирургом на фронте, а не здесь, в тыловых госпиталях? Как много пользы вы смогли бы принести отечеству, оперируя здесь, в Петрограде. Что вам мешает?

— Ваше величество, я служу там, где есть необходимость. Работа хирурга на передовой — это скорость, там твои действия — секунды, и там я свободен. Я не хочу в тыл. Мое место там, на фронте.

— Кто ваши родители?

— Мои родители погибли. А мой дед — генерал в отставке граф Сергей Александрович Сибирцев. Это по матери. А по отцу — профессор университета Илья Петрович Боков.

— О-о! И как же вы стали врачом, а не офицером?

— Я, ваше величество, до двадцати лет был сиротой и имел другую фамилию, не знал, кто мои родители, а тем более что у меня есть два живых деда.

— Зато сегодня вы граф.

— Нет.

— Почему?

— Я не знаю, да и для меня это не так важно. Деду — тому, да, хочется, чтобы я был графом.

— Я все выясню. Скажите, что дальше с Алексеем?

— У цесаревича очень сложный гнойный аппендицит... Я боюсь перитонита...

— Я знаю, что это! — прошептала в ужасе государыня.

— Я был в плену у немцев и оперировал там полковника Генриха фон Магдебурга...

— Я род Магдебургов знаю...

— Мне там, ваше величество, врачи подарили один порошок — лекарство против воспаления. Я хотел бы написать записку, чтобы ее отвезли в дом моего деда в Ораниенбауме и передали моей жене Татьяне. Она отдаст флакон с лекарством, и мы его дадим его высочеству. Только попросите, чтобы флакон очень аккуратно везли.

— Хорошо. Прошу вас, садитесь за мой стол и пишите...

Через несколько часов флакон с порошком был доставлен в Царское Село с приложенной запиской: «Что случилось? Где ты? Дед тоже беспокоится. Таня».

В следующие два дня у наследника держалась очень высокая температура и он временами терял сознание, бредил, но привезенное и введенное в вену лекарство подействовало, и Алексей очень быстро пошел на поправку, а на восьмой день Сибирцев удалил швы с его раны и сказал:

— Ваше высочество, я свою работу закончил.

Цесаревич Алексей заплакал:

— Я благодарен вам, Сергей Владимирович. Я всю жизнь буду вам благодарен.

Императрица пригласила Сибирцева в свой кабинет.

— Сергей Владимирович, я хочу вам сказать огромное спасибо от имени государя и всей нашей семьи за спасение нашего сына. Я все сделаю, чтобы вас называли сиятельством, а для меня вы уже граф. Позвольте же, граф, сделать вам подарок от нашей семьи, — Александра Федоровна взяла со стола коробочку и протянула Сибирцеву. — Я узнала, что вы имеете высокие военные награды. Но награждает государь, а это подарок от меня и моих детей. Спасибо вам, Сергей Владимирович... Мне очень жаль, что вы не хотите остаться служить здесь, в нашем госпитале. Конечно, можно приказать, но приказами лечить раненых невозможно. Спасибо!

Сибирцев вышел и открыл коробочку. На красном бархате лежали золотые часы фирмы «Буре», на задней стенке которых была выгравирована надпись «Сергею Сибирцеву, хирургу, от Государыни России».

В Царское Село приехал император, и Сибирцева вызвали к нему. Николай Александрович был в необычайно хорошем расположении духа. Ходил веселый по кабинету и, когда вошедший Сибирцев, стукнув каблуками, стал докладывать:

— Ваше величество, поручик... — государь перебил:

— Полно, полно, молодой человек. Сергей Владимирович, я благодарю вас за спасение жизни моего сына. Мое уважение к вам безмерно. Ваш род Сибирцевых всегда с честью служил отечеству и государям, граф. Да-да, с сегодняшнего дня вы граф Сибирцев — вы получаете то, что заслуживаете. Прошу, ваше сиятельство, извинить меня за некоторую задержку. Вы, как офицер, должны меня понять — война. Кроме того, я вас награждаю орденом Святого Станислава второй степени. Также вам присвоено звание штабс-капитана. Не удивляйтесь, ваш государь имеет право давать такие награды... И последнее и, может быть, для вас самое приятное — вот приказ на ваш десятидневный отпуск. Заслужили. Пока будете в отпуске, сами решите, где бы хотели служить. Очень жаль, что не здесь, — государыня мне говорила. Вы человек военный, но даже я, как Верховный главнокомандующий, не могу заставить врача выполнять свои обязанности по приказу. Правда, я надеюсь, что вы еще передумаете. Впрочем, думаю, скоро война закончится... Еще раз спасибо, Сергей Владимирович. Передайте от меня и моей семьи поклон Сергею Александровичу.

Николай Александрович Романов, император России, взял со стола и передал Сергею Сибирцеву сверкающие золотом и звездочками погоны штабс-капитана и прикрепил на шейной ленте золотой крест ордена Святого Станислава.

— Спасибо, ваше величество. Я всего лишь исполнял долг врача, — растроганно произнес Сергей Сибирцев.

— Граф, если бы все исполняли так долг перед государем и отечеством, мы давно бы выиграли войну. А спасли вы жизнь не просто одному из моих подданных, а наследнику престола, цесаревичу и моему сыну! До свидания, граф Сибирцев!

— До свидания, ваше величество!

На выходе адъютант вручил Сергею запечатанный пакет, где лежал указ императора России, подтверждающий графский титул Сибирцева Сергея Владимировича. А дом был совсем рядом — пешком можно дойти. Счастливый, он ехал к семье в Ораниенбаум.

XIX

И войны не было — толкались, постреливали, братались, ни у кого не было сил сражаться, все хотели мира. Немцы дважды предложили заключить мир, а Антанта отказалась. Америка вступила в войну, и все понимали — Германия войну проиграла. Может, царская Россия зря, плюнув на Антанту, не заключила мир?..

Старый граф, обнимая внука, расплакался и торжественно произнес: «Правда восторжествовала!» Был, январь, канун Рождества Христова одна тысяча девятьсот семнадцатого года. Сыну, Владимиру, исполнилось два года. Ждали в гости к праздничному столу Илью Петровича Бокова и Анастасию Мальцеву с сыном Иваном. Праздновать решили в доме Русановых, куда после суда над Николаем Семеновым вернулся старый Русанов, а за ним и Татьяна с сыном. Сибирцев ворчал, что покинули старика, но все-таки согласился и предложил сделать в заборе калитку, соединяющую оба дома, — не надо ходить по улице. И Тане было удобно ходить между домами, да и правнук уже самостоятельно мог прийти к прадеду. И было так покойно и так хорошо у всех на душе. И вся эта война, и все потрясения в государстве казались таким далекими, происходящими где-то далеко-далеко, в другом мире, на другой планете...

А здесь были мир, покой, любовь и звезда, возвещающая миру о рождении Спасителя!..

В Рождество, в праздник, приехали в гости к графу Сибирцеву-старшему генерал Петр Николаевич Краснов с женой Екатериной Андреевной, урожденной Бекетовой. Краснов привез с собой своего начальника, генерал-лейтенанта, командира корпуса, красавца, балагура, известного храбреца и умницу, финна шведского происхождения, барона Карла Густава Маннергейма. Тот сам напросился, узнав, к кому на Рождество едет Краснов. Сибирцев был необычайно растроган и доволен: как же, сын его боевого товарища, генерала, атамана войска Донского Краснова, сам уже генерал, приехал к старику. А Маннергейма обнял и всхлипнул:

— Что, Карлуша, решил навестить старика? Смотри-ка, и золотое оружие, что я тебе за храбрость вручил в девятьсот четвертом, при тебе. Спасибо, сынок, что навестил старика.

— Как можно, ваше сиятельство. Это я должен благодарить господу, что сподобил увидеться.

Карл Маннергейм был поручиком на Русско-японской войне, командовал эскадроном и был под началом у командующего корпусом Сергея Александровича Сибирцева. Граф всегда вспоминал его с любовью, как очень храброго, но при этом очень рассудительного и умного офицера. Граф так обрадовался приезду генералов, что, толком не дав им ни выпить, ни закусить, увел Краснова с Маннергеймом к себе в кабинет, где большой стол был завален военными картами, сказав всем остальным на прощание звонким, радостным голосом:

— Отдыхайте и веселитесь, господа, а у нас военный совет в Филях. Прошу не беспокоить, — и дверь в кабинет плотно прикрыл — так хотелось старику посеCRETничать на военные темы. В отсутствие генералов Екатерина Андреевна, умница, в отца, вместе с Ильей Петровичем, как люди необычайно обширных знаний и великолепные рассказчики, с легкостью завладели вниманием празднующих. Огорчило всех только известие, что недавно умер

брат Краснова — Андрей, ученый-почвовед, основатель Батумского ботанического сада, первый в России доктор географии. Но все же радовались жизни, здоровью, счастьем детей и внуков, и всем было необычайно весело и хорошо. Сергей показал свою последнюю награду — часы, все с удовольствием рассматривали, открывали крышку и слушали мелодию, а потом выпили стоя за здоровье государя и его семьи... И верили, что вот еще чуть-чуть — и война закончится победой и наступит долгожданный мир!..

Вернулись генералы, возбужденные, о чем-то продолжающие говорить и спорить. Старый граф раскраснелся, выпрямился, помолодел, глаза сияли, голосом громким скомандовал:

— Прошу наполнить бокалы! Давайте, друзья, выпьем за нашу отчизну, за Россию! И чтобы в этом году мы вместе с союзниками разбили германцев и наступил мир!

Все поддержали такой хороший тост, и все так радовались! И никто не хотел понимать и не верил, что гроза на страну шла не с запада, не с фронта, а была здесь, рядом, всего в нескольких десятках километров, в самом сердце империи. Она накапливалась в бараках рабочих, в казармах серошинельной, не желающей ехать на фронт солдаты, в кубриках дымящих на рейде Кронштадта броненосцев, в обнищавшей без мужиков деревне...

— Сергей, — сказал старший Сибирцев внуку, — как ты сам должен понимать, сейчас, когда ты стал графом, тебе будет трудно служить в армии, особенно у Корнилова — я помню, ты рассказывал мне о конфликте с ним. Мы посоветовались, и Петр Николаевич с Карлом Густавовичем согласны со мной, что тебе надо переходить служить в госпиталь сюда, в Петербург. Может, и правда, хватит в поле-то оперировать? Все-таки ты граф. Отказать тебе, как графу, никто не сможет, а Петр Николаевич обещал сделать так, что ты будешь чувствовать себя офицером, но без всяких «сиятельств»... Ты же этого хочешь?

— Спасибо, дед, спасибо вам, ваше превосходительство. Может, вы и правы — пора. Только, я думаю, здесь, в городе, это скрыть как раз не удастся. Так что я лучше ос-

тануть там, где был, на фронте. А что касается графского титула, то если Петр Николаевич не будет меня называть сиятельством, то никто об этом и не узнает. Что же касается Корнилова, то думаю, ему до меня дела нет.

— Я вам обещаю, ваше сиятельство... Простите, штабс-капитан... Сергей Владимирович... — Краснов рассмеялся. — Совсем я запутался.

За окном в черное небо, к звездам кто-то запускал фейверки, все радовались, загадывали желания, не зная, что они вряд ли уже сбудутся — революция утопит Россию в крови.

Часть третья

Война народная

I

Заговор высших офицеров во главе с начальником Генерального штаба Алексеевым, княжеская «фронда», требование к царю создать правительство министров, недовольство всех сословий в государстве царем, желание свалить на него все поражения в войне и привели к февральскому перевороту.

Сергей Александрович Сибирцев бегал по дому и проклинал всех, обзывая «генералами-предателями».

— Они слепцы! — кричал граф. — Неужели они не понимают, что они не удержат власть? Кто с ними — помещики, капиталисты? Монархия — это основа русского государства, ее хребет! Они его переломили! Сейчас все начнет валиться! Армия, когда мы три года терпели поражения, за них воевать не будет! Россия погибнет!..

— Ваше сиятельство, вы хотели сходить к Русановым, — напомнила Фекла. — Вас проводить?

— Не пойду! Пусть празднуют эту свою революцию! Я граф, мои предки столетиями защищали самодержавие! А тут какие-то Ваньки-фабриканты царя убрали! О господи, что же происходит? Не пойду... Звать будут — не пойду! Заболел я! Умер! — граф хлопнул дверью своего кабинета. Было слышно, как он продолжал ругаться. Русанов, хоть и совсем стар был, поддерживаемый под руку внучкой, пришел сам. Стоял под дверью и старческим голосом дребезжал:

-Ты чего, Сергей Александрович, закрылся? Да плюнь! Нам-то с тобой, старикам, какая хрен разница — есть царь или нет царя? Нам о Боге думать надо!

— О Боге? — кричал граф через дверь. — О каком Боге ты говоришь? Если бы он был, он бы не допустил такой напасти на страну! Отвернулся он от России, а значит, и от нас, русских людей. В ад мы с тобой пойдем. Для русских людей у Всевышнего места больше нет! Уходи... Впрочем, стой... — приоткрыл дверь. — Проходи... Эй, Фекла, накрывай на стол — праздновать будем!.. Революцию!.. Зови всех!

Звать никого и не пришлось — к вечеру приехал профессор Боков, а к ночи — внук Сергей с генералом Красновым. Выпили и началось...

— Ну, рассказывай, ваше превосходительство, как вы царя предали? — закричал на Краснова старый граф. — А вы, штабс-капитан, пока молчите, потом добавите. Вы-то во всех этих делах, слава богу, не участвуете. Званием не вышли... А то, может, тоже против царя? Молчи-молчи!.. Ну давай, Петр Николаевич, рассказывай!

— Ваше сиятельство, Сергей Александрович, я во всем этом заговоре не состою. Даже я, генерал, — не тот уровень. В отречении участвовали командующие фронтами и флотами. А возглавлял Михаил Васильевич Алексеев...

— Сука! — перебил Сибирцев.

— Не подписали просьбу к царю об отречении командующий Кавказской армией и адмирал Колчак.

— Есть еще честные офицеры в русской армии.

— Оба за отказ присягнуть новому Временному правительству отстранены от должностей.

— И кто возглавляет это Временное правительство?

— Князь Львов. Георгий Евгеньевич.

— Не может быть! Он же Рюрикович. Его род старше Романовых! Я его родителей помню! Аристократы, дворяне — выше не бывает! У него же жена, графиня Бобринская — правнучка самой Екатерины Великой и Григория Потемкина, от их совместного сына — графа Бобринского... Власти захотел? Будет ему власть! Буржуев! А в России должна быть власть армии! Армия и самодержавие — вот основа России!.. Пропала великая страна! И что с армией? Осталась еще?

— Полный развал, ваше сиятельство. Русскую императорскую армию переименовали в Революционную армию свободной России. А большевики предлагают вообще армию уничтожить.

— О господи — уничтожить армию?! Да их надо только за мысль об этом расстрелять! Кстати, кто такие эти... большевики?

— Социал-демократы. Черт их разберет. И внимания на них никто особо и не обращал: ну кричат, листовки пишут, бомбы не кидают, — Илья Петрович Боков потемнел лицом, — и выступают за поражение армии в войне. И солдаты от таких лозунгов бегут с фронта. Не стало боеспособных частей. Отменена смертная казнь. Отменены военно-полевые суды и заменены на какие-то коллегии из выбранных офицеров и солдат.

— Ты хочешь сказать, что солдата приравняли по правам к офицерам?

— Его приравняли к гражданскому сословию...

— Что?

— Да, объявили «Декларацию прав солдата». Брусилов подал после этого в отставку. Поставили Корнилова. А тот за возврат смертной казни!

— Правильно!

— Более того, ваше сиятельство, эти солдатские комитеты стали решать, кто из офицеров остается в армии, а кто нет!

— Не может быть! Это же армия!

— Да какая армия! Отменена обязательность исполнения приказов. А за этим последовал отказ целых полков идти на фронт!

— О господи! Мне, русскому генералу, страшно!

— С российского герба убрали корону, скипетр, державу, Георгия Победоносца, гербы русских областей и городов, Императорскую лейб-гвардию переименовали в Российскую гвардию, отменены шефские названия частей. Дальше — больше: отменены военно-придворные звания. Отменено ношение погон.

— И как же сейчас обращаться?

— Господин рядовой, господин капитан, господин генерал... А солдаты вообще друг к другу обращаются «товарищ».

— Пропала великая страна! Пропала Россия! — граф, генерал от инфантерии в отставке Сергей Александрович Сибирцев заплакал.

— Не знаю, как у вас, а у нас в университете восторг. Правда, все перестали учиться — убежали на демонстрации. Но я думаю, что это скоро пройдет, — сказал Илья Петрович Боков. — Давайте признаемся сами себе: монархия просто не могла больше существовать в России. Она сама себя уничтожила. Ее ненавидели все! Это закономерный конец империи. Будет новая страна, страна свободных людей и свободного труда.

— А-а-а! — взвился граф Сибирцев и пальцем указал на Бокова. — Вот она в кого, кровь-то вашего сына. Вот оно откуда — бомбы в царя бросать! От вас, от профессоров, понабрались этого неуважения к государству, к царю, к армии... Вы все — предатели отчизны...

— Как вы, Сергей Александрович, можете так говорить обо мне и моем покойном сыне?

— Могу!.. Вон из моего дома!.. Все вон! — старик схватился за грудь. — О господи! За что позволил дожить до такого? Почему не прибрал там, на поле боя?.. — вытаращил глаза на Краснова: — А вы-то что? Что молчите? Стрелять надо! — и закатив глаза, упал на пол.

Графа с осторожностью перенесли на диван. Расстроенные, Краснов с Боковым уехали. Старого Русанова Федор отвел домой. С дедом остался Сергей, пришла Татьяна. Всю ночь старик бредил, порывался куда-то идти в бой, кричал, а под утро затих и заснул... За окном вставало весеннее яркое солнце. Сбегал последний снег, и весело перекликались птицы. Природе было наплевать на происходящее.

II

У любителя пострелять и помахать шашкой генерал-лейтенанта Карла Густава Маннергейма было скверно на

душе: войны не было — так, перестрелки. Солдаты, наплевав на всё, время от времени шли брататься к немцам. Передовая превратилась в пьяный кабак — пили открыто, никого не боялись. С фронта бежали толпами, да еще и прихватив с собой оружие. Если задерживали, некоторые начинали отстреливаться — палили во все стороны, пока патроны не кончались. Вот тогда-то, по привычке юношеского кавалергардского прошлого скакавшему каждым утром на своем коне генералу Маннергейму пуля попала в руку и раздробила ее. Маннергейм был сильным и волевым человеком. Сознание не терял, крови не боялся. Сказал только: «Везите в дивизию генерала Краснова. У него хирург Сергей Сибирцев. Да сообщите Петру Николаевичу обо мне». Когда доставили в госпиталь дивизии, сняли повязку и жгут, стало ясно: руку надо ампутировать — кисть с частью предплечья болталась на куске кожи, кость была раздроблена, многие сухожилия и сосуды перебиты... Пальцы не шевелились, но, к счастью, не были холодными.

— Ну что, Сергей Владимирович, плохо дело? — тихо-тихо спросил Маннергейм.

— Плохо, ваше превосходительство.

— Я прошу тебя, Сергей, — зашептал побелевший Маннергейм, — если можешь, спаси руку. Не спасешь, отнимешь — застрелюсь. Я без руки не могу. Ногу бы — черт с ней, но руку... Скажу тебе одному: я уйду в отставку и уезжаю в Финляндию, я хочу сражаться за независимость моей отчизны. Может быть, это будет лучшее, что я смогу сделать в этой жизни. Временному правительству я не верю — они погубят Россию. Сергей Владимирович! — заплакал генерал. — Умоляю, прошу вас, ваше сиятельство, спасите руку! Если бы не верил, что вы спасете, там бы, на поле боя, и застрелился.

— Ваше превосходительство, я постараюсь сделать все, что смогу, но ничего не могу обещать. Я буду оперировать, а там уж как Бог даст.

— Спасибо, ваше сиятельство, вы достойный внук генерала Сибирцева.

— Прошу вас только, не называйте меня сиятельством.

— Что, думаете, если временщики отменили звания, сословия и обращения, то мы будем исполнять их приказы? Никогда! Ваше сиятельство, спасите руку!..

Операция длилась очень долго, много часов. Маннергейм все время был в сознании, чему радовался Сергей, потому что, когда сшивал сухожилия, постоянно просил: «Пошевелите указательным пальцем... Пошевелите безымянным... Мизинцем...» Сшив разорванные сухожилия, составив отломки разбитой кости, сшив мышцы, Сергей высыпал в рану содержимое последнего флакона, что подарили ему немцы.

— Что это? — спросил Маннергейм.

— Немцы, когда я был у них в плену, подарили за спасение жизни их полковника Генриха фон Магдебурга...

— А я его знаю, — тихо сказал Маннергейм. — Он приезжал перед самой войной в Россию в составе свиты германского императора Вильгельма. Императоры-то родственники. Он, помнится, майором был. Пьяница и дебошир. Многие хотели с ним стреляться, да нельзя было... Как же мир тесен. И что это за порошок?

— Лучшее лекарство от воспаления. Жаль, последний флакон.

— И вы, ваше сиятельство, его на меня потратили?

— Уж больно вы хотите воевать, ваше превосходительство.

Сибирцев наложил швы на кожу, перевязал бинтами, наложил гипс — одни кончики посиневших пальцев торчали.

— Вот и все, ваше превосходительство. Дальше от меня мало что будет зависеть. Дай бог, чтобы все было хорошо.

— Я не хочу богохульствовать и свечку Богу поставлю. Я ведь лютеранин. Но самую большую свечу поставлю за вас Сергей, за вашу голову и ваши руки! Спасибо! — Маннергейм потерял сознание.

III

Убийцу родного отца Николая Семенова только до казни довели, как начали избивать до полусмерти за ста-

тью — отцеубийц во все времена в русских тюрьмах презирали, и не только уголовники, но и охрана. Семенову дали самую большую и тяжелую тачку, кормили отдельно, как прокаженного, и очень плохо — объедками. Все шло к тому, что протянет он на каторге от силы полгода, ну год, и все... Но на каторге кроме уголовников были и политические, в основном «бомбисты» из боевой группы эсеров — те Семенова тоже презирали, а вот социал-демократы, большевики, те хвалили, что убил не отца, а угнетателя трудового народа, эксплуататора, капиталиста. Они, как и уголовники, осужденные за воровство, для которых работать считалось позором, не работали, но уже по политическим мотивам, шли рядом с тащащим тяжеленную, нагруженную камнем тачку Семеновым и рассказывали о социализме, о равенстве всех и вся... И рассказывая, не гнушались часть его пайки съесть. И не давились!

В Нерчинске рядом с мужской каторгой была и женская, где всем заправляла Анастасия Биценко, получившая пожизненную каторгу за убийство в 1905 году генерал-адъютанта Сахарова, когда эсеры покушались на Столыпина. Суд ей назначил смертную казнь, которую добренькая царская власть заменила каторгой. За десять лет Анастасия Алексеевна, как уважительно все величали Биценко, освоилась на каторге. Анастасия свободно выходила за высокие ворота женской каторги и так же свободно входила в ворота стоявшей невдалеке каторги мужской — по своим женским делам. И других женщин приводила, но уже за деньги. На таких каторжан, как Семенов, женщины внимания не обращали, да и как обратишь на прокаженного. И денег у того не было... Катай тачку! Слушай большевиков!

Но повезло Николаю Семенову, несказанно повезло! Жив остался!

Временное правительство во главе с князем Львовым первым же своим решением выпустило всех заключенных из тюрем и с каторг — без разбора: сидевших и за убийство, и за разбрасывание листовок. Всех! И потянулись поезда из Сибири в Петроград и Москву. Переполненные, вонючие, с картами, самогоном, матом, разбоем и поножовщиной.

Такие вот сидельцы-уголовники завели Семенова в тамбур и ножичек к сердцу приставили. Но тут Анастасия ненароком нарисовалась — вышла покурить.

— Отстаньте от парня!

— Ты, чмо, тоже на перо хочешь сесть или лучше на... посадить? — сказал и ослабил железными зубами бандит, но договорить не успел — Биценко хлестко, не замахи-ваясь, ударила ему в челюсть, и тот, выронив ножик, упал без сознания.

А Настя папироску из одного конца рта в другой пере-бросила и спросила сквозь зубы:

— Еще кому хочется меня попробовать? Чего молчите? Не знаете, с кем связались? Спросите у нерчинских каторжан. Пошли, малый. Ты ведь вроде свой, с Нерчинской каторги?

— Да, — пролепетал Семенов и пошел за Анастасией. В углу трясущегося на стыках вагона сидели еще две каторжанки — весь вагон, даже мужиков, даже уголовников в страхе держали.

— Знакомьтесь, девки, — сказала Настя Биценко, — этот тоже с Нерчинской. Шушера тут к нему пристала — пришлось прочить.

— Машка... Спиридонова, — сказала, пахнув вином, та, что была выше и красивей. В голосе и взгляде чувствовалась такая непонятная сила, что у Семенова мурашки по спине пробежали.

— Фаня... Каплан, — пролепетала маленькая чернявая еврейка в очках-лупах, при взгляде на которые было понятно, что она ничего не видит.

Странно, но все эти три женщины в одном и том же 1906 году в разных городах России были приговорены к смертной казни за убийство «их превосходительств»: Биценко — генерала Сахарова, бомбой; Спиридонова всадила пять пуль в советника генерал-губернатора Тамбовской губернии Луженковского, а Фейга Хаимовна Ройтблат, крымская еврейка, анархистка, как она сама считала, вообще никого не успела убить — она взорвалась, когда готовила бомбу для убийства киевского генерал-губернатора Сухом-

линова. Взорвалась и почти ослепла. Но все равно была приговорена к смертной казни: в России для террористов действовал особый закон — «Столыпинский галстук». Но всех помиловали и заменили смертную казнь бессрочной каторгой, сослав в Нерчинск, где за сто лет до них сидели на каторге декабристы. Правда, те тачек не таскали: они просто сидели за высоким забором и играли в карты, пока их через много лет не выпустили на поселение — накладно было для государства держать целую каторгу ради десятка бывших дворян, да и к некоторым уже жены приехали, а кто-то уже на каторге семьей обзавелся — дети появились, так что уж лучше пусть просто живут в Сибири, без права выезда.

Спиридонова с Биценко всю женскую каторгу под собой держали. Пикнуть никто не мог. Фейга стала Фаней Каплан, не работала, и ее никто не трогал. Куда ей работать — она даже читала, прикладывая к лупам-очкам дополнительную лупу. Она, как молодая девушка, «обслуживала» своих двух взрослых подруг — для этого видеть не надо. Зато была цела и накормлена. Вот всю троицу Временное правительство и освободило от кандалов — как борцов с прогнившим царским режимом.

Пили водку; Фане стакан и закуску в руки пихали — до того была слепа. Горланили похабные песни. А когда подкатил какой-то блатной, послали так отборно, что тот аж покраснел и убрался подальше.

— Фаня, — говорила Спиридонова, — поехали с нами в Питер. Мы тебя пристроим — умереть не дадим. Меня к себе новый министр юстиции Сашка Керенский берет. Я ему покажу, где его законы, — засмеялась и подняла юбку. — Он у меня с Алискиной кровати не слезет... Зае... у! Настька вон в Петросовете сидеть будет — городом править и тоже мужикам мозги вправлять и тем же местом! Мы и тебе, Фанька, мужика найдем — опыт-то у тебя оггррооммадный! — подруги засмеялись на весь вагон. — Поехали, что тебе в этой гов...ной Москве делать? Цветы собирать? Так ты их все равно не видишь... Поехали.

Семенов — что значит мало пробыл на каторге — краснел.

— Ой! — засмеялась Спиридонова. — Смотри-ка, Настька, твой-то какой стеснительный. Ты ему прямо здесь дай... сопливому. Чего, мужик, стесняешься — выпей водки, и все стеснения пройдут. На, пей!..

А Настя Биценко и правда, выпив, не морщась, стакан, полезла к Николаю слюняво целоваться и шарить руками в штанах.

Так и познакомились и вместе в Петроград ехали; еще по пути Настя пару раз отдалась, да такими способами, что Николай совсем растерялся. Уж шлюх и в России, и за границей пробовал, но такого...

В Красноярске в вагон сел маленький угрюмый кавказец, левая рука его плохо сгибалась — все старался делать правой. Кавказец непрерывно курил и в разговоры ни с кем не вступал, только внимательно и презрительно смотрел на всех. Он ехал и молчал, пускал дым в большие кавказские усы и смотрел каким-то жутковатым, немигающим взглядом желтоватых глаз.

— Ты кто? — спросила пьяная Спиридонова. — Каторжанин? Ссылный?

— Ссылный.

— Не поняла... Вас же, ссылных, всех в шестнадцатом на фронт отправили?

— Значит, не всех.

— Как зовут, кавказец?

— Сталин.

— Эсер?

— Нет, большевик.

— А-а, предатели! Пораженцы! Где ваш Ленин? В Швейцарии отдыхает? Хочешь выпить?

— Нет.

— Ну и хрен с тобой. Фаня, держи стакан... Эти большевики всё думают, что с помощью листовок и газет захватят власть. «Земля крестьянам! Фабрики рабочим!» — вот наш эсеровский лозунг. Короткий, емкий и всем понятный, и еще — террор против угнетателей. Вот ты за что сидел, кавказец?

— За экс. Нападение на почтовый поезд.

— Ха-ха... Так какой ты нахр... большевик? Ты наш, эсер! Давай подсаживайся. Выпей и, может, еще кое-что получишь. Небось, по бабе-то нормальной соскучился? Вы, кавказцы, мужики сильные! Садись... Сталин — это кличка тюремная, а имя-то у тебя как?

— Иосиф, а кличка не тюремная, а партийная, — проговорил угрюмый кавказец.

— Вот и хорошо. Настька, налей Иосифу... Знакомься, это Настя Биценко... Грохнула генерала Сахарова. Смертница. Это Фаня Каплан. Хотела грохнуть киевского губернатора Сухомлинова. Дура — взорвалась. Видишь, слепая. Ну а я — Мария Спиридонова. Убила советника тамбовского губернатора. Правда, хотела-то самого губернатора. Не повезло. И ведь надо — все в один год сели и на одной каторге одиннадцать лет провели... Пей, Иосиф... Сразу-то под юбку не лезь... потом, попозже... Ишь ты, какой скорый... ну подожди... Ладно, пошли в тамбур... На твоём бушлате будем... Что — стоя? И сзади? И так, и так?.. Крепок... Настя, посторожи, чтобы никто не мешал... Потом ты со своим... а то Колька-то весь извелся...

А в Петрограде полный хаос. Партий — море! Выбери, какая по душе; знамена, лозунги — кто за войну, кто против, солдаты толпами без строя, как шайки, офицерам честь не отдают, а то и с кулаками. Все друг к другу обращаются «товарищ». Анастасия Биценко сразу рванула в Таврический дворец, где заседал Петроградский совет, Спиридонова — в Зимний, к Керенскому, Сталин в дом балерины Кшесинской — большевики красивые слова только народу говорили, а сами жить хотели в роскоши... А Николай Семенов отошел в сторонку — вспомнил, что он-то никакой не пролетарий, у него и дом есть, и деньги кое-какие припрятаны. Правда, какие это сейчас деньги — пустая бумага с царскими орлами. Поехал в Ораниенбаум, а там живой Русанов в доме, бывшая жена с ребенком и слуги, что им были выгнаны. Даже на порог не пустили. Постоял, грязный, у калитки, зло позыркал глазами, выругался матом, прошептал: «Ничего. Я вас всех на тот свет

отправлю! За папеньку! За каторгу!.. Все равно все верну и все мое обратно будет! Танька-то, вишь, как с ребенком играет — светится от счастья вся. Досветишься — горькими слезами умоешься!.. Зря тогда не прикончил!» Плюнул и поехал в Петроград. Раньше у него в городе две квартиры были: своя, семеновская, и русановская, но все спустил в запоях да картах. До города доехал — и куда? Одна надежда: к Настьке в Петросовет — поможет? Биценко, со своим зычным каторжным голосом, в совете быстро стала своей: оделась в кожаную куртку, юбку, голые ноги сунула в армейские сапоги и повязала голову красным платком. И стала защищать в меньшевистско-эсеровском совете большевиков!

— Что, Коля, не выдержал, пришел? Куда ты без меня? Давай, говори, что у тебя?

— Мне, Настя, негде жить. Помоги!..

— Ну, это не проблема. Иди в дом Вальда на Большой Посадской. Мы там у купцов Ружниковых часть дома реквизировали.

— У кого?

— Вроде я правильно сказала: «Торговый дом Ружниковых». Говорят, у них на севере заводы... Ты чего побледнел? Тебе что, они знакомы? Ты что — сам из этих, из угнетателей?

— Нет, что ты, я так, немного задумался. Я пойду?

— Иди и приходи сюда — будешь мне помогать.

— Хорошо.

Семенов вышел и прошептал: «Мир тесен! И с этими сочтемся! Со всеми сочтемся!»

IV

В сумерках апрельского вечера к Финляндскому вокзалу столицы бывшей Российской империи подошел необычный поезд. Масса солдат и матросов стояла на перроне и переговаривалась:

— Этим, что ли, приезжает...

— А какой он?..

— А он не еврей?..

— Не, наш он, рабочий с Путиловского...

— А говорят, что его немцы к нам прислали...

— Он, говорят, против царя...

— Как это — против царя? Его за это расстрелять надо...

— А вы-то, матросики, чего здесь ошиваетесь? Ваше место в Кронштадте...

— Так не только вы по рублю-то хотите получить — у нас тоже клич бросили: кто пойдет на вокзал — тому рубль...

— А без вас-то мы, может, по два бы получили... Вам-то зачем? У вас на кораблях всё есть. Не как мы — вшей в окопах давим...

— Не смехи — тут ни одного с фронта нет. Тут большевики заправляют. А они против войны...

— Смотри, вон, вроде вышел?

— Господи, совсем малой. Соплей перешибить можно...

— Смотри-ка, а евреев-то с ним сколько! Эти-то откуда?..

— Смотри, смотри, подхватили — на площадь несут. Айда туда...

— А деньги-то, деньги когда давать будут? Суки, опять обманут...

— Пошли быстрее, говорят, после митинга и дадут...

— Он о чем там кричит с броневика-то? Ничего же не слышно...

— Что-то насчет войны... Мол — долой... Войну на хр...

— Вот это хорошо. Домой поедем... Урра-а!.. Доло-ой!..

Из вагона, когда все уже убежали за Лениным на площадь, где редела ничего не понимающая толпа, вышла пара: высокий худой седой мужчина с жестковатым взглядом и миловидная женщина, явно украинской внешности: с живыми карими глазами, черными волосами под платком, бровями вразлет и розовеющими щечками. Женщина держала на руках ребенка — девочку.

— Ваня, — спросила она протяжно, как умеют говорить только в Малороссии, — сейчас куда?

— К Анастасии, к сестре, на Екатерининский канал. От вокзала — трамваем через Николаевский мост, — ответил

тот, кого милостивая женщина назвала Ваней, и, наклонившись к ребенку, мягко добавил: — Что, доченька, поехали?

Ребенок в страхе прижался к матери, но, поняв своим детским умом, что все эти люди и эти крики, которые окружали ее уже много дней, ушли куда-то, пролепетал: «Да, папа».

Иван Меркулов Ленина на вокзале не слушал. Он два года, как убежал из немецкого плена и, перейдя Альпы, попал в Швейцарию, только и делал, что слушал речи Ильича. Наслушался от души. Хорошо, что влюбился в служанку одной из богатых русских семей. Когда предложили поехать в Россию в «пломбированном вагоне», через Германию, скрепя сердце, согласился — уж больно хотелось на родину, да и жить с семьей на чужбине, перебиваясь мелкими заработками, претило.

А Ленин продолжал кричать с броневика: «Долой Временное правительство! Вся власть советам!.. Братание... Мир с немцами...» За последние слова его чуть не пристрелили, хорошо — винтовку у солдата выбили вверх, а так бы точно — каюк Ильичу.

Иван взял ребенка на руки, сел с женой в дребезжащий трамвай и поехал на другую сторону Невы. Город был грязный, серый, темный и сырой. Открылась дверь, в дверном проеме появилась Анастасия Мальцева, подслеповато посмотревшая в темноту лестничной площадки, а потом с радостью в лице и взгляде крикнувшая:

— Ваня!.. Вернулся!.. Живой!.. — и бросилась на шею брату. И тут увидела стоящую позади него красивую женщину с черными бровями вразлет и ребенком на руках.

— Ваня, это...

— Ты, Настя, нам войти-то позволишь? Или так и будем стоять на пороге?

— Ой, проходите... Ваня, сынок, иди скорей сюда. Твой дядя вернулся!

В маленькой прихожей началась сутолока: прибежавший высокий угловатый мальчик с такими же жестковаты-

ми серыми глазами, как у Анастасии и Ивана Меркулова, стеснительно подошел и вежливо сказал:

— Иван.

— Ваня, — попросила брата Анастасия, — познакомь, пожалуйста, нас со своей... семьей.

— Это моя жена Мария. А это наша дочь Настя.

— Настя?!

— Названа в честь тебя.

— Что же мы стоим? Проходите в комнату. Ваня, ставь самовар, будем праздновать!

Большая семья сидела за столом, пила чай. Было небогато: хлеб, чуть масла и чуть сахара. Маленькая Настя без страха уселась на коленях мальчика и с удовольствием сосала сахар, глядя на всех черными глазами из-под черных вздернутых бровей.

— Я ведь думала, что ты погиб, — говорила Анастасия. — Если бы не Таня Мезенцева. Теперь она Сибирцева.

— Я с ее мужем, Сергеем, в плену был. Он мне жизнь спас, а так бы я умер от ранения. Мы сбежали, но нас поймали. Где он, я не знаю. Он, Сергей, — сын Маши Сибирцевой и Володи Бокова. А я еще раз бежал, уже из Германии, и ушел через горы в Швейцарию.

— Я знаю.

— Откуда?

— Так Таня живет у Сибирцевых, там и родила мальчика. И Сергей из плена тоже убежал. Он сейчас Сибирцев, граф, но всё так же на фронте хирургом. Мы иногда у Тани бываем. Она сейчас перебралась в свой дом — он рядом с домом Сибирцевых стоит. Удивительно, но они оказались хорошими людьми. И Илья Петрович Боков все время приезжает к Сибирцевым. Надо будет съездить, тебя там всегда вспоминают добрым словом...

Маленькая Настя уснула на руках мальчика, и ее перенесли на кровать. Мария стеснительно молчала, но никто и не настаивал, чтобы она откровенничала. Говорили долго, счастливые. Места было мало, спать укладывались на полу. Уже потушив свет, Анастасия спросила брата:

— Что ты собираешься делать?

— Я еще не решил. К Ленину точно не пойду. Говорят, Борис Васильевич Савинков тоже вернулся. Надо с ним встретиться...

— Я завтра хочу с Иваном поехать на пару дней к Татьяне в Ораниенбаум — если ты не возражаешь, мы бы взяли Марию и Настеньку. И тебе легче — не будешь переживать, как они да что. Там им будет хорошо. В Петрограде сейчас неспокойно.

— Заметил. Я не против. Мария, ты как?

— Хорошо, Ваня, — тихо, нараспев ответила Мария.

На улице вдоль канала ходили пьяные солдаты и матросы, орали песни, дрались, задирали поздних прохожих, слышались выстрелы. А в маленькой комнатке спали люди, которые были так рады встрече, которые хотели мира, работы и счастья для своих детей... А за окном стреляли... Революция!

V

Морской летчик Александр Северский после самого знаменитого русского аса Казакова и погибшего в первый месяц войны Петра Нестерова, наверное, был самым известным летчиком в России. Он летал с протезом ноги! Тогда, в пятнадцатом, Сергей Мезенцев не стал ампутировать ему ногу по середине бедра, а удалил только стопу и часть голени. И этот юноша своим упорством, тренировками научился бегать, плавать, танцевать с деревянным, собственной разработки протезом. Недолго после ранения работал конструктором на заводе в Петрограде и добился — стал испытывать самолеты. Был до того смел и нахален, что среди бела дня пролетел на самолете под Николаевским мостом. Был большой скандал. Но начальник Воздушных сил Балтфлота контр-адмирал Нелепин обратился с докладом на высочайшее имя, описав молодого мичмана, лишенного ноги, как человека, любящего небо и желающего вновь стать летчиком. Ответ был неожиданный. Государь наложил резолюцию: «Читал. Восхищен. Пусть летает. Николай» и прислал решение о прощении за дисциплинарный

проступок и разрешение мичману Северскому вернуться на летную службу. Северский в первом же бою «завалил» немецкий «Альбатрос» и прилетел домой с 28 пробоинами в машине. Через неделю он уже сбил третий самолет и спас своего командира, у которого во время воздушного боя заклинило пулемет, за что был произведен, как морской офицер-мичман, в лейтенанты и награжден почетным Георгиевским оружием — золотым кортиком с надписью «За храбрость». Осенью шестнадцатого он получил под свое начало всю истребительную авиацию Балтфлота — 6 самолетов «Ньюпор».

Когда немцы вошли в Моонзундский пролив и авиация перебазировалась с полуострова Сворбе, матросы дозвонились до Северского и через шум донеслось: «Саша, не улетай, а то нас немцы совсем заклюют...» Саша и не полетел, обратился к начальству с просьбой оставить два самолета. Начальство, сидя уже в Петрограде, ответило телеграфом: «Приказывать не могу. Но если хочешь сам — останься». Северский и мичман Сафонов остались и всего двумя самолетами стали наводить такой ужас на немцев, сбивая ежедневно их «Альбатросы», что в эфире звучало: «Внимание! Над Эзелем — русские асы!» Через десять дней у самолета заклинило мотор, и Северский совершил посадку в тылу противника. Лейтенант сжег самолет, предварительно сняв пулемет «Льюис», и тридцать верст шел пешком (на протезе!) к своим. Когда перед матросами Батальона смерти появился серый от усталости, хромящийся летчик в коже, с пулеметом на плече и выглядывающей плюшевой игрушкой из-под куртки, первое, что спросили матросы:

— Это что за зверь у тебя?

— Это талисман. Зовут Яшка.

— Значит, ты лейтенант Северский?! — обрадованно крикнул один из матросов. — Проходи! — и закричал: — Братва! Это сам знаменитый летчик Северский! Веди его к командиру!..

Северский опять попал в госпиталь к Сибирцеву случайно: он переделал мотоцикл и в свободное время гонял

по прифронтовым дорогам, где в него врезался пьяный водитель автомашины. От удара Северский вылетел из мотоцикла, сломал руку, и у него оторвался протез. Когда его стали поднимать санитары, он заорал:

— Ногу, ногу подберите!

Один из санитаров, новичок на фронте, упал в обморок. Второй дрожащими руками поднял протез и положил раненому летчику на грудь, сказав со страхом:

— Ваше благородие, а зачем вам нога... деревянная?

— Летать! — ответил Северский. — Вы меня к Сибирцеву доставьте.

— К кудеснику, что ли?

— Правильно говоришь: к кудеснику.

Сибирцев засмеялся:

— Ну и везунчик ты, Александр. Только руку сломал.

Он наложил гипс и рассказал, что в госпитале лежит знаменитый ас Казаков, чему Александр очень обрадовался. Постукивая протезом, он сразу направился к своему боевому товарищу.

Казаков лежал с переломом ноги — двигатель пробили немецкие пули, но он умудрился посадить самолет на своей территории, только ногу сломал. К нему в палату каждый день, стуча протезом, приходил Северский с коньяком и шоколадом, пока Сибирцев не запротестовал:

— Сопьетесь, кто тогда будет в небе летать? Уже весь госпиталь провоняли!

— Да полноте, Сергей Владимирович — с кем воевать-то? Где она, армия?

— Тут вы правы, я бы и сам взял винтовку и пошел в атаку.

— Ваше дело, Сергей Владимирович, нашего брата спасать. Вам это дано Богом, а нам наше ремесло — дьяволом, — сказал Казаков.

— Какое же это дьявольское ремесло — свою отчизну защищать?! — заспорил Сибирцев. — Это лучшая доля для патриота своей отчизны. Помните, что у Толстого говорит Наполеон, глядя на умирающего князя Андрея: «Какая славная смерть!» Лев Николаевич одной этой фразой все

сказал о вашей великой профессии. А вы — от дьявола... Лечитесь, господа и пойдемте воевать — показывать пример!

— Граф, а вы не родственник Льву Николаевичу? Вам бы романы писать.

— Избавьте. Это удел Петра Николаевича Краснова. Вот кому надо пашку в ножны вложить и за перо взяться.

— Да, генерал пишет не хуже, а может быть, даже лучше, чем воюет, — сказал Северский. — Они все, Красновы, прекрасно пишут. Мой отец обожал их литературу. Я думаю, война закончится — и займется генерал писательским трудом; еще такого напишет: и о войне правду, и об истории нашего государства. Лишь бы война побыстрее закончилась.

— Главное, господа, чтобы она закончилась нашей победой.

— Неужели вы, Сергей Владимирович, в этом сомневаетесь?

— Я пока только беспокоюсь... Как врач... Прошу, больше не пейте, господа. Вы разлагаете всех раненых. У них ведь коньяка с шоколадом нет.

Александр Казаков погиб в небе под Ямшицами, оставшись самым лучшим русским асом в этой войне. Северцева вновь подбили, но он дотянул до своего аэродрома, при посадке опять сломал протез. Повезло!.. Это была последняя победа русского оружия, которая могла бы переломить ход войны. Временное правительство не позволило этого сделать, и Россия потерпела такое сокрушительное поражение, от которого уже не оправилась и покатила к полной анархии, к безвластию.

VI

Этими-то летними поражениями и попытались воспользоваться большевики, чтобы захватить власть, но не сумели. И сейчас маленький лысый человек, сгорбившись, сидел на пеньке, писал и излагал свои мысли в пока еще не известном никому труде «Государство и революция».

— Иван Матвеевич, — говорил Меркулову Владимир Ленин, — вы даже не представляете, как много вы сделали для будущей революции. Вы не меня спасли — вы спасли будущую революцию. Вы думаете, революцию будут делать такие, как Троцкий, Каменев и Зиновьев? Нет, нет и еще раз нет! Троцкий — крикун. Он нужен, чтобы перекричать толпу. Каменев и Зиновьев — трусы! Революция — это жесточайшая дисциплина, а мы что получили? Хаос. Наш призыв прийти для свержения меньшевиков, засевших в Петросовете, привел к тому, что вместо пары тысяч солдат, которых бы с лихвой хватило для захвата власти, пришли десятки тысяч, и получилась неуправляемая толпа. А революция — это не толпа, это управление организованными массами трудящихся. Нам не хватило главного — организованности.

— Но, Владимир Ильич, вы же не будете отрицать, что стрелять из пулеметов начали вы, большевики.

— И не собираюсь. Мы же хотели обвинить в этом «временщиков» и во время паники захватить Таврический дворец и возглавить Петросовет. А теперь что? Необходимо снять лозунг «Вся власть советам!», пока большинство в советах будет не за нас. И поверьте мне, осталось совсем недолго — до первого серьезного поражения России в войне. И мы сделаем всё, чтобы это поражение состоялось. Я вспоминаю, Иван Матвеевич, как вы в четырнадцатом рвались на фронт, а сейчас как?

— Я, Владимир Ильич, против войны, но не за поражение своего народа. Я, как русский человек, этого не приемлю.

— Опять вы за свое! Нет никакого русского и других народов. Есть классы угнетателей и угнетенных, ненависть этих угнетенных к эксплуататорам и война против них.

— Но я также помню, как вы сказали, что мы с вами до революции не доживем.

— Знаете, я не люблю ошибаться, а вот тут, к великой радости, ошибся. Я предвидел войну, но такую не ожидал! И думаю, никто не ожидал!.. Хищническую, империалистическую и мировую... Еще раз спасибо вам, Иван Матвее-

вич, большое коммунистическое спасибо... Пойду поработаю. Вы знаете, я пишу статью «Государство и революция» и уже предупредил товарищей, чтобы, если я погибну, ее обязательно напечатали.

— Так все-таки государство будет существовать?

— Конечно! Но это будет бесклассовое общество — государство рабочих и крестьян... Пролетарское государство. Главная моя мысль в этой статье — буржуазное государство будет уничтожено в результате пролетарской революции, а само пролетарское государство исчезнет путем отмирания. Чувствуете разницу? Необходима революция! И она свершится, и очень скоро, намного раньше, чем мы думали! Готовьтесь, Иван Матвеевич, скоро грянет буря!..

Ленин только что перебрался с помощью Ивана Меркулова из сарая меньшевика Николая Емельянова в деревне Разлив, где он скрывался под видом косаря, сюда, на другой берег озера в шалаш.

А всего-то неделю назад, казалось, большевики вот-вот должны захватить власть в Петросовете и без труда сбросить Временное правительство. И все шло прекрасно, мешали только анархисты, возглавляемые матросом Железняковым, которые разгромили здание контрразведки на Воскресенской улице, да пьяная солдатня, которая грабила магазины на Невском, Садовой, в Гостином дворе, ловила женщин и насиловала их прямо в подворотнях, избивала хорошо одетых граждан и посылала матом, а то и стреляла офицеров — жандармов на улицах уже не было, разбежались.

Ленин, Свердлов и Троцкий поочередно выступали с балкона особняка Кшесинской, призывая к передаче власти советам. Но когда в Петроград из Ораниенбаума, наплевав на приказы, прикатили пулеметные роты, да еще приплыли матросы из Кронштадта, уже никто не знал, кто для чего и зачем здесь собрался. Началась стрельба. Стреляли все: большевики, меньшевики, эсеры, монархисты. Народ, собравшийся поглазеть на «мирный» захват власти, побежал, давя друг друга. Временное правительство, испугавшись, начало стрелять из парочки имевшихся ору-

дий, и этих выстрелов хватило, чтобы пьяные и мародерствующие до этого солдаты стали разбегаться быстрее, чем они бежали с фронта. Начались аресты, в первую очередь большевиков, и Ленин был бы схвачен в типографии большевистской газеты «Правда» на Мойке, но в последний момент непонятно как в типографию проник Иван Меркулов, буквально силой вытащил Ленина через черный ход и дворами увел от погони и ареста. Через три дня он же, Иван, вывез Ленина из города в сторону Финляндии и спрятал у своих, с боевой молодости, товарищей, а когда начались обыски, перевез его сюда, в шалаш на берегу озера Разлив.

Меркулов сам не понимал, почему он это сделал. Он не был сторонником Ленина — все его товарищи были в Петросовете или на фронте, а Борис Савинков был министром в правительстве Керенского, но памятуя о годах, проведенных с Ильичом в Швейцарии, и свое возвращение в Россию благодаря именно Ленину, который приказал включить Меркулова с женой в списки отъезжающих, он, когда начались аресты, бросился спасать не свою семью, а Ленина. И спас. Он понимал, что его товарищи по партии эсеров ему этого не простят, но делал то, что считал необходимым и важным.

— Нет, Иван Матвеевич, какой вы все-таки молодец! — говорил Ленин. — Бесстрашный молодец! Жаль, что вы не в нашей партии. Ваш Савинков подведет вас всех под топор революции, и не буржуазной, с которой он уже спелся, войдя в состав Временного правительства, а нашей, пролетарской революции.

— Вы неправы, Владимир Ильич. Борис Викторович всю жизнь боролся за свободу российского народа. Это мы своими бомбами и выстрелами всколыхнули Россию.

— Ну прямо как Герцен со своим «Колоколом». Вы одиночки, а нужны тысячи, десятки тысяч организованных железной дисциплиной бойцов... И потребуются не одиночки с бомбами, а власть и армия, умеющая воевать. Не нынешняя, а классовая армия! Но я всегда буду помнить вашу помощь, Иван, и вы всегда можете рассчитывать на

мою помощь и мою дружбу. Честно скажу вам: вы мне очень напоминаете моего старшего брата Александра. Его казнили за покушение на государя.

— Я это знаю, Владимир Ильич.

— Вы много знаете, Иван Матвеевич. Кстати, вот вам пример неклассовой борьбы. Брат же был создателем террористической фракции в партии «Народная воля». И что? Решили взорвать царя. Кто бомбу делал? Брат с Брониславом Пилсудским. Их всех арестовали, а брата и еще четверых повесили в Шлиссельбургской крепости. Других на каторгу. И чего добились? Ничего! Нет, революция — это не восстание одиночек и не свержение кучки „людей управляющих страной, это слом всего государства, это создание нового, бесклассового государства... У меня нет ни малейшего сомнения, что такая, пролетарская революция состоится очень скоро и совершим ее мы, большевики! Но я боюсь за вас, Иван. Если Савинков узнает, что вы меня спасли, он этого вам не простит.

— Надеюсь, что все будет хорошо. Мне сейчас как никогда хочется жить — у меня же семья.

— Да, семья — основа, ячейка общества. Хорошо, когда в семье еще есть и чувство любви, а не только обязанности и привязанности, — грустно закончил Ленин.

VII

Маленький, желтоватый лицом, узкоглазый азиат, Верховный главнокомандующий Лавр Георгиевич Корнилов посмотрел на своего адъютанта и жестко произнес:

— Какого черта вы стоите, как истукан? Я же приказал двести дезертиров расстрелять и трупы выставить вдоль дорог с надписью «Я был расстрелян, потому что бежал от врага и стал предателем родины». Исполнять!

— Но эти солдатские комитеты, эти комиссары Временного правительства? С ними-то как?

— А это и их касается: либо подчиняются моим приказам, либо становятся к расстрельной яме. Никому никаких поблажек. Идите!

Исполняя приказ, расстреляли сто дезертиров. Временное правительство, ужаснувшись, сместило Корнилова с должности Верховного главнокомандующего. Корнилов не подчинился и повел тысячу солдат (всего тысячу!) на Петроград, потребовав отставки Временного правительства. Саша Керенский испугался и обратился за помощью к... большевикам! Большевики, не боясь, пришли к наступающим солдатам и сказали, что те идут на своих, на рабочих — мятеж захлебнулся, и теперь уже ничего не могло спасти Россию от революции. Умный Ленин сидел около шалаша и писал свою великую книгу «Государство и революция». Он уже знал, что никто не сможет помешать его революции...

Из деревни вернулся Зиновьев, приведя с собой Свердлова.

— Как я рад вас видеть, Яков Михайлович, — искренне обрадовался Свердлову Ленин. — Беспреданное нытье Григория Евсеевича меня уже доконало. Может быть, его где-нибудь в другом месте спрячут? У него две жены: Сарра — первая и Злата — вторая, а он еще все о какой-то третьей вспоминает. Потому-то он и не понимает ничего в революции. У него все мысли только о бабах. Многоженец, извращенец! И вы еще оставляете меня с ним один на один.

— Может быть, Владимир Ильич, привезти Надежду Константиновну? Она рвется к вам.

— Ни в коем случае! За ней явно установлена слежка, и она приведет «временщиков» прямо сюда. В деревне уже были обыски — ищут, — Ленин склонился к уху Свердлова и тихо произнес: — Вот если бы вы привезли сюда Инессу... я бы вам был чрезвычайно благодарен, — засмеялся. — Это архиважно, мне некому диктовать свои мысли. А Зиновьева уберите, он меня заболтал и утомил!

— А как этот ваш эсер, Меркулов?

— Иван Матвеевич? Это настоящий боевой товарищ. Побольше бы таких умных и дельных бойцов, а то, что эсер, так вспомните, сколько членов в партии эсеров и сколько у нас — даже сравнивать нечего. Товарища Меркулова я

знаю не меньше, чем вас. И уж такого боевого опыта и опыта конспирации ни у кого из вас нет и близко. Меркулов — архинужный для меня человек.

— Но Меркулов — товарищ Бориса Савинкова. А Савинков после разгона наших выступлений не просто министр у Керенского, он губернатор Петрограда.

— Я знаю, Яков Михайлович, о Савинкове всё. Но Меркулова прошу не трогать и не подозревать. Не Меркулов — мы бы с вами сейчас здесь не беседовали...

— Хорошо, Владимир Ильич. Я понял.

— И еще одно, товарищ Свердлов: я работаю над политическим трудом «Государство и революция». Привезите мне переписку Каутского с Энгельсом. Мне не хватает данных. Надо, в конце концов, развенчать нападки на Энгельса относительно роли государства и его умирания. Энгельса неправильно трактуют, и я это докажу. Главное — капиталистическое, буржуазное государство погибнет в результате пролетарской революции, то есть насильственным путем, и взамен наступит диктатура пролетариата и пролетарское государство. Поезжайте, привезите книги.

— Хорошо, Владимир Ильич.

— Владимир Ильич, можно я провожу Якова Михайловича?

— Идите, идите, Григорий Евсеевич, я хоть отдохну от вас.

Когда Зиновьев со Свердловым отошли от шалаша на сотню шагов, Свердлов спросил:

— Что вы думаете, Григорий Евсеевич, по поводу этого Меркулова?

— Мне кажется, Яков Михайлович, он имеет слишком сильное влияние на Ильича. Его надо устранять, но я не знаю как.

— Нет ничего проще — надо о нем сообщить Борису Савинкову, его непосредственному партийному руководителю. Тот предательства не прощает. Только как сообщить?

— У меня есть выход на Савинкова. Но, надеюсь, Яков Михайлович, это между нами.

— Можете не сомневаться, Григорий Евсеевич.

— А Ленин?

— А Владимира Ильича надо отправить еще дальше, в Финляндию.

— А что, это хорошая мысль!

— А у евреев, Герша Аронович, плохих мыслей не бывает.

— Откуда вы знаете мое настоящее имя... Янкель Ми-
раимович?

— Оттуда, откуда и вы мое.

Оба засмеялись...

VIII

— Барин, спаси! — кричал бородатый мужик в старой солдатской шинели. — Дочка помирает! У-у-у...

— Ты не кричи, а толком скажи, что с дочкой? — спросил Сергей Сибирцев.

Как этот мужик смог прорваться между раненых солдат, что стояли и сидели, ожидая своей очереди к хирургу, было непонятно. Наверное, сошел за старослужащего в своей длинной, широкой шинели, да еще крики да борода лопатой.

— Барин! Дочка рожает, а родить не может! А лекаря у нас нет! А повитуха старая была, в прошлом годе померла! Спаси барин!.. Без мужа она — погиб Васька-то на фронте...

— Какой я тебе барин. Где твоя дочка?

— Вон... в телеге... здесь рядом.

— Давно схватки начались?

— Да считай, третий день кончается, уже и не кричит, только плачет чуть-чуть. Думали, сама родит, а нет, не может... Спаси, барин!

— Только не вой... Пошли.

На телеге, под тулупом, лежала красивая женщина с белым, как снег, потным лицом и что-то шептала искусанными, с запекшейся кровью губами. Сибирцев откинул тулуп — женщина лежала в луже крови, и живот выпирал под рубахой. Сергей положил руку на живот — женщина

широко открыла полные ужаса глаза, которые забегали, стараясь увидеть доктора, но никак это сделать не могли, и сухими губами прошептала: «А-а-а-а! Больно!» Сибирцев крикнул стоящим сзади санитарам:

— Быстро несите женщину в операционную. Оперировать ее надо. Срочно!

Вот где вспомнились посещения Повивального института знаменитого акушера Дмитрия Оскаровича Отта, когда они с Таней убегали со своих лекций и ходили к профессору в институт. Профессор-то и показал молодому курсанту медицинской академии, как правильно определять срок беременности, положение плода в утробе матери, размеры таза и возможность родить самостоятельно, как правильно слушать сердце плода... Как принимать роды. И как великую заповедь сказал: «Солнце над рожаящей женщиной не должно всходить дважды!» Это было так давно, тогда, до войны, в какой-то забытой, прошлой жизни... Сергей несколько месяцев ходил к профессору, и тот, видя желание молодого человека познать больше, чем военная хирургия, с удовольствием учил и показывал.

Женщину положили на стол — она только чуть стонала. Сибирцев деревянным стетоскопом послушал сердцебиение плода, мягко пощупал живот и сказал:

— У него ягодичное предлежание, а таз узкий — надо делать кесарево сечение. Сердцебиения почти не слышно. Боюсь, мать не спасти. Срочно надо ребенка извлекать. Срочно!..

Сергей уже обработал спиртом и йодом живот и хотел делать анестезию новокаином, когда женщина вдруг дернулась, широко открыла глаза, прошептала: «Прости Господи!» — и, выдохнув, умерла. Голова склонилась, и широко открытые, полные страдания глаза невидяще смотрели в сторону.

— Ой! — кто-то вскрикнули. — Боже! Умерла?!

— Быстро скальпель! — крикнул Сергей и, схватив скальпель, рассек живот, чуть надсек матку и, отбросив в сторону нож, руками разодрал мышцы матки. Хлынула зеленая околоплодная жидкость с резким зловонным запа-

хом. Сергей захватил своими длинными пальцами плод за шею и вытащил его из утробы мертвой матери. Оказалось, что пуповина дважды обвила его за шею. Сергей быстро размотал пуповину, пережал ее и, перерезав, передал синего, не дышащего ребенка испуганным сестрам.

— Мальчик!.. Чего глаза вытаращили? У вас же, у баб, в крови должно быть, что делать дальше: обмойте теплой водой, шлепните и, как оживет, закутайте во что-нибудь теплое.

И как только маленькое сморщенное, сизое, неподвижное тельце обмыли и легонько шлепнули по тому месту, по которому всех детей шлепают любя и лупят, когда ненавидят, он взмахнул ручками, скривился и закричал и стал на глазах краснеть, продолжая все сильнее и сильнее кричать. И все вдруг радостно засмеялись.

— Наверное, будет дьяком в церковном хоре или певцом, — устало сказал Сибирцев. — Жаль, мать не услышала.

Он зашил рану и приказал санитаркам:

— Помойте ее здесь, чтобы дед не видел окровавленную...

Завернутый в одеяло новорожденный спал первым своим человеческим сном, причмокивая и кривя рот, а мать, повернув к нему голову, смотрела на него мертвыми глазами...

IX

Петр Николаевич Краснов, по приказу Верховного главнокомандующего Лавра Корнилова, во главе тысячи солдат и офицеров, тех, что еще подчинялись приказу своего командира, шел на Петроград и не дошел — тысяча растаяла, как сахар в воде. Слез генерал с лошади и, прихрамывая — сказывалось ранение, — пошел к ближайшему дому. Войдя, ахнул обрадованно — навстречу в запачканном кровью халате шел Сергей Сибирцев. А сзади семенил какой-то бордатый мужик в старой шинели и причитал:

— Вот спасибо-то, барин. Свечку-то за вас, барин, поставлю... Счастье-то какое — внук!..

— Ты дочери свечку поставить не забудь...

— Поставлю, барин... Вот счастье-то какое — внук...

Краснов развел руки и, шагнув к Сибирцеву, широко улыбнувшись, сказал:

— Сергей Владимирович, как же я рад вас видеть!

— Ваше превосходительство, Петр Николаевич, а вы-то как здесь? Не ранены? Нет?

— Цел, к сожалению. Какой позор! Армии больше нет. До Риги надеялись, что хоть что-то осталось, а после Риги поняли — все, нет больше русской армии и государства скоро не будет... Есть у вас, ваше сиятельство, что-нибудь выпить?

— Чтобы в медицине, да не нашлось. Спирт будете?

— С превеликим удовольствием.

— Тогда пойдете ко мне. У меня своя комната есть. Я же, с вашей помощью, старший врач дивизии. Мне кабинет положен. Да что я вам рассказываю — наша дивизия в вашем корпусе, ваше превосходительство.

— Нет, Сергей Владимирович, больше корпуса, да и дивизии нет.

— Заметно по раненым. Самострелов не стало...

Сибирцев снял окровавленный халат — остался в форме с орденами и погонами. Два офицера, которые до сих пор, несмотря ни на какие приказы, не сняли погоны, прошли в небольшую комнату, в которой были стол, пара стульев и походная железная кровать. Когда выпили по рюмке спирта, отдышались, закусили хлебом с холодным мясом и хрустнули соленым огурцом, Сибирцев спросил:

— Ваше превосходительство, мы здесь лечим раненых и толком не знаем, что же происходит на фронте. То, что было наступление и оно позорно провалилось и что немцы заняли Ригу — это мы знаем, то, что все бегут, тоже знаем, что не стало самострелов — видим, всем заправляют какие-то комитеты, но что происходит на самом деле?

— Происходит то, о чем говорил ваш дед тогда, в марте: армии не стало — Россия гибнет. Да и вы уже не «светлость», а я не «превосходительство».

— Это я знаю и особо не переживаю. Я графом стал так поздно и так, как мне кажется, случайно, что я не успел и привыкнуть. Приятно, и не более. А вот деда понимаю: для него это награда всей его и его предков жизни. Они графами стали не во дворце и не на паркете — на полях сражений. А я что — простой хирург. Я и мазурку-то толком танцевать не умею. Для меня титул — это работа и моя семья. Но признаюсь честно, я против того, что тут кричат солдаты: «Всех буржуев убить! Всех богатых убить! Всех знатных убить!» А если завтра крикнут: «Всех образованных убить! Всех несогласных убить!»?

— К этому-то, Сергей Владимирович, все и идет. И некому остановить эту вакханалию. В июле разогнали большевиков, хотевших захватить власть в Петрограде, — помогли спастись Временному правительству, а сегодня это Временное правительство объединилось с большевиками против им же назначенного Верховного главнокомандующего Корнилова, не понимая, что завтра большевики их сметут. Керенский — это не власть. Корнилов — власть!

— Но Керенский присвоил вам звание генерал-лейтенанта.

— Сергей, да мои предки все, начиная с Ивана Козьмича Краснова, что в войне восемьсот двенадцатого года отличился, генералами были. А ведь из простых казаков в писари вышли, а потом уж в генералы. Вот твой род откуда? Из казаков! А до графов и генералов дослужились. Вот какова была власть императорская — ценила человека военного; за верную службу, за храбрость, за веру отечеству награждала. А тут не власть — убожище!.. Ты знаешь, кто у нас заместитель Керенского, или, по новому — товарищ военного министра? Борис Савинков! Эсер, бомбист и убийца! Не Сашка Керенский — он, Савинков, сейчас страной правит! Чувствуешь, куда катимся? А ты говоришь — звания! Да я с корнем погоны и ордена вырву, только бы отечество не погибло. А оно погибает. От безвластия! Нет, не поняли, что Корнилов — необходимая власть!

— Спаситель-то России солдат расстреливает!

— Армии без дисциплины не бывает. Армия без порядка — банда мародеров. Ты думаешь, что большевики, ныне всеми силами разрушающие армию и превращающие ее в банду этих самых мародеров, если, не дай бог, захватят власть, не восстановят смертную казнь? Помилуй меня боже! Да они ее восстановят в первый же день! Потому что им не удержать власть ни одного дня без террора. И смертная казнь не только в армии, к солдату, но к гражданскому населению и к сословиям, или, как они говорят, «классам», появится. И никаких судов. Они будут создавать новое государство на страхе и на крови! Уж поверьте! Налейте еще, Сергей Владимирович...

— Вы, Петр Николаевич, совсем уж все в черных красках рисуете.

— Я боюсь, что это еще серенькие краски, а будут не черные — кровавые. Захват власти большевиками приведет к распаду государства и к гражданской войне. Так что, мой юный друг, готовьтесь к гражданской войне, по сравнению с которой эта мировая бойня покажется игрой детей на деревянных мечях.

— Я-то, ваше превосходительство, врач. И моя профессия будет нужна при любой власти.

— Кроме того, что ты, Сергей, врач, ты граф. И для большевиков ты — классовый враг! И тебя, и меня они поставят к стенке в первую очередь. И всю твою семью. Они нас ненавидят!..

— Но все равно я в первую очередь врач. Моя профессия — лечить людей, большевики они будут или эсеры.

— Думаешь? Друг мой, время, когда нужны будут только врачи и литераторы, еще не пришло. Мы с вами прошли ужасающую войну и думаем, что вот-вот наступит долгожданный мир и можно будет таким, как я, сунуть шашку в ножны и взяться за перо, а на самом деле если власть захватят большевики, то про перо можно забыть навсегда... А как хочется на все плюнуть и писать, писать, писать...

— Вы меня пугаете, Петр Николаевич!

— Нет, Сергей, я тебя хочу предупредить. Я эти выводы в последние дни сделал, когда за несколько десятков километ-

ров от тысячи подготовленных, смелых, прошедших войну солдат осталось несколько десятков. Все остальные разбежались — просто ушли: кто обратно в казармы, а кто и домой подался. Немцам ничего не стоит войти в Петроград! Они уже под Псковом. И остановить их некому. Армии нет. Предатель русского народа Ленин, немецкий шпион, сделал свое иудино дело — отработал полученные от германцев денежки!

— Что делать-то, Петр Николаевич? Что будет с дедом, с моей семьей?

— Уходить надо. Сам решай: остаться в армии или нет, а семью, если есть возможность, отправь хотя бы в Финляндию... Налейте еще, Сергей Владимирович. Твой спирт — лучшее лекарство на сегодняшний день.

— Может, пронесет? Может, не захватят власть? — вдруг жалобно сказал Сибирцев.

— Поверьте мне, ваше сиятельство, — как не захватить то, что валяется.

— И куда такие, как вы, уходят?

— Корнилов ушел на Дон. Я тоже уйду на Дон — я ведь наследный атаман Войска донского. Оттуда и будем начинать. Вот посижу с тобой, выпью и поеду в Петербург — отправлю семью. И ты поезжай домой. Извините, ваша светлость — поезжайте.

— Да полно вам, Петр Николаевич. Я же на службе.

— Да какая, Сергей Владимирович, сейчас служба. Поезжайте — я сейчас приказ напишу, пока еще штаб корпуса не разбежался... О господи! До чего же на душе-то погано. Русский офицер от родного дома бежит...

— Так, бежит, как я понимаю, чтобы вернуться.

— Золотые слова, ваше сиятельство! Бежит, чтобы вернуться. Обязательно вернемся! Налейте, Сергей Владимирович... Не берет, зараза!..

Приказ об отпуске Краснов, вызвав начальника штаба и адъютанта, которые ехали вместе с ним, подписал. Еще и спирта, с разрешения Сибирцева, им налил. Те выпили с удовольствием.

— Везет же докторам, — сказал благодушно и завистливо, расправив усы, полковник — начальник штаба корпуса.

Корпуса, которого уже не было. И спросил:— На Дон, ваше превосходительство?

— Да, полковник. Домой заедем и на Дон. Приезжайте к нам, Сергей Владимирович... Прощайте... Поехали, господа! До чего же спирт был хорош... — и генерал-лейтенант, сев на коня, звонким чистым голосом запел старинную казацкую песню:

Не для меня придет весна,
Не для меня Дон разольется.
И сердце девичье забудется,
В восторге чувств не для меня...

Х

— Иван Матвеевич, мне нужна ваша помощь.

— Я вас слушаю, Владимир Ильич.

— Мы должны вернуться в Петроград, но так, чтобы об этом знали только я и вы.

— Но, Владимир Ильич, вы же знаете, вас могут арестовать.

— Ах, Иван, Иван. Меня могут убить, но арестовать уже никто не сможет. Не зря же мы все лето и всю осень боролись за места в советах. Вот итог: в Петрограде и в Москве мы имеем большинство мест, а председателем Петросовета стал Лев Троцкий.

— Но я то, Владимир Ильич, не большевик — я эсер.

— Левые эсеры с нами заодно.

— Далеко не во всем, Владимир Ильич. Мы за переговоры о мире, но со всеми воюющими странами, и мы не желаем поражения своей стране. Мы за то, чтобы отдать землю крестьянам, мы за то, чтобы провозгласить Россию демократической федеративной республикой, и мы за созыв Учредительного собрания.

— Кстати, напомните мне, товарищ Меркулов, когда Временное правительство хочет созвать Учредительное собрание?

— Двенадцатого ноября.

— Вот потому-то мне и надо в Петроград. Вы мне можете?

— Конечно, Владимир Ильич.

Темным, сырым, поздним вечером 24 октября 1917 года Иван Меркулов только ему известным путем, маскируясь, провел заgrimированного Ленина через весь Петроград до Смольного института благородных девиц, куда перебрались из дома балерины Матильды Кшесинской большевики, когда получили большинство в Петроградском совете. Ленина никто в Смольном не ждал! Троцкий, Свердлов и еще раньше уехавший от Ленина Зиновьев руководили восстанием и созванным съездом советов. Ленин считал, что восстание надо начинать в день созыва Учредительного собрания, а на перевороте в конце октября настаивал нетерпеливый Лев Троцкий. Ленин понимал, что переворот и захват власти происходят без него и он может остаться «у разбитого корыта», так — теоретиком партии, вроде Плеханова. Ленин понимал, что его могут пристрелить и свои, лишь бы не допустить его к дележу власти. Потому и спешил, Вот когда ему вновь понадобился Иван Меркулов, за которым почему-то стали охотиться «савинковцы», откуда-то узнавшие, что Ленина тогда, в июле, во время неудачного переворота, от расправы спас Иван Меркулов.

Солдаты на входе в Смольный не хотели пускать Ленина — требовали мандат делегата и угрожали «приставить к стеночке». И только когда Меркулов достал наган и сказал:

— Еще раз свой поганый рот откроешь — я тебе его закрою вот из этой штуки. Я в министров стреляю! Открывай ворота — Ленин идет!

— Ну если только Ленин, — сказал испуганным голосом солдат, — тогда проходи, — и когда Ленин с Меркуловым прошли в здание, спросил у второго часового: — Ленин — это кто?

— Ну ты, Афоня, и деревня! Ленин — это... помощник у Троцкого...

— А-а! Еще один еврей. Чего они все за нас, за солдат, беспокоятся, непонятно... Говорят, скоро пойдем Зимний грабить?

— Поскорей бы уже. Пограбить— да домой, в деревню. Голод там страшный.

— Давай, Петро, вместе пойдем на Зимний?

— Давай. Только что с постом-то делать?

— Да на кой он нам — евреев охранять? Они-то свое не упустят, такой уж народец — всё под себя. Нет, надо идти! Иначе всё без нас растащат. Видишь же, сколько сегодня здесь народу, и все хотят грабить... Успеть бы!..

— Хорошо, пойдем!..

— А может, сейчас и пойдем — первыми будем. Нам больше и достанется. Я вот царицкино одеяло хочу взять и сапоги офицерские.

— Ну ты точно дурак! На хрена тебе сапоги, если там всё в брильянтах. Наковыряем штыком и пойдем налегке. Ну конечно, и одеяло, если хошь, возьмем. Сейчас все будет наше!

Ленин пробежал по коридору, резко открыл дверь и с порога закричал:

— Всё спешите, Лев Давидович? Думаете, что совершите революцию в одиночку? И лавры все вам? И вы, Яков Михалыч, туда же? А про вас, Григорий Евсеевич, я и говорить не хочу. Вы-то что здесь делаете? Вам надо быть вместе с Керенским. Не вы ли с Каменевым выдали план захвата власти? Вы! Ну что, решили революцию делать без Ильича? Не выйдет!..

— Да что вы, Владимир Ильич? — залепетал картаво Свердлов. — Как это без вас?

Троцкий с Зиновьевым продолжали удивленно смотреть на вошедшего в кабинет Владимира Ленина. Зиновьев не выдержал и сглупил:

— А вы, Владимир Ильич, как сюда попали? Такая неосторожность. Мы за вами бы надежных товарищей прислали...

— Да-да, товарищ Ленин, — очнулся Троцкий, — как же так, такой риск...

— Риск, говорите? Риск — это доверяться вам! Да если бы не Иван Меркулов, то уверен, вы бы обо мне и не вспомнили, а если бы и вспомнили, то уже потом, когда можно

и не вспоминать. Или, может, я не прав, Лев Давидович? Мы же договорились, что переворот будем совершать, когда соберется Учредительное собрание, чтобы, если у нас там не будет большинства, на собрание все и свалить! Так? Все ваша спешка, товарищ Троцкий! А сейчас что — надо захватывать Зимний, арестовывать Временное правительство и объявлять власть советов? Кстати, надо тогда уж сразу сформировать и свое правительство. Не советы же будут править! Как назовем новых министров? Только не министрами — этим гнусным, истрепанным названием.

— Можно бы, — Троцкий обрел дар речи, — комиссарами, но только теперь слишком много комиссаров. Вон, Савинков — комиссар... Может быть, верховными комиссарами?.. Нет, лучше народными...

— Народные комиссары? — Ленин закачал головой. — Что ж, это, пожалуй, подойдет. А правительство в целом?

— Совет народных комиссаров.

— Совет народных комиссаров — это превосходно! Пахнет революцией! Ладно, прощаю вас, но чтобы больше ни одного слова, ни одного действия без меня. Я — председатель Совета народных комиссаров. Возражения есть?..

— Ну что вы, Владимир Ильич, мы и хотели это вам предложить, — нашелся Зиновьев.

— Григорий, как всегда, врет, ну да ладно. Вперед, делать революцию! — Ленин скинул пальто и побежал в зал, где проходил съезд.

— А что с Учредительным-то, Владимир Ильич? — крикнул в спину уходящему Ленину Троцкий.

— Если в нем у нас будет меньшинство, мы его разгоним. Пошли, пошли... — ответил, не останавливаясь, Ленин.

Сзади семенили Троцкий, Свердлов, Зиновьев. Зиновьев задыхаясь, но тихо спросил у Свердлова:

— Яков, обрати внимание: опять этот Меркулов. Надо с ним кончать...

— Не пойму, как его свои-то не прикончили?.. Ты Савинкову сообщал?

— Да, сообщал...

— Ладно, сочтемся...

И оба, уже радостно улыбаясь, побежали за Лениным, который под оглушительные аплодисменты и крики толпы вошел в зал и шел к трибуне. Шел к своей главной цели в жизни — к созданию и управлению величайшим государством на Земле...

XI

Захват власти большевиками чуть не лишил рассудка старого графа Сибирцева. Он сгреб со стола на пол все военные карты, вызвал Федора, показал рукой на кучу бумаг и сказал: «Сожги! Нашей великой России больше нет!» И горько заплакал. В этот вечер в доме у графа собрались все родственники и знакомые: Татьяна с сыном, старый Русанов был совсем плох, но приполз, приехали Настя Мальцева с сыном, Мария Меркулова с маленькой дочкой, Илья Петрович Боков. Все были растеряны.

— Вот что я предлагаю, — начал граф Сибирцев, — время наступило непонятное и тяжелое. Долго ли продержится эта непонятная власть, я не знаю. Но я знаю одно — по отдельности мы погибнем, а вместе попробуем выжить. Дорогие женщины, переезжайте жить сюда, ко мне. У меня даже картошка с репой есть — Фекла с Федором постарались, огород разбили этим летом и вырастили. Не помрем. Да и у меня есть что продать — понятно же, что нынешняя власть мне пенсию платить не будет. Она сословия ликвидировала и «Табель о рангах» уничтожила. Убежать бы из страны, да куда и как? Но то, что всем нам нет места в этой новой стране, бесспорно.

— Я с вами не согласна, Сергей Александрович, — сказала Настя Мальцева. — Я учитель и сестра эсера, который всегда боролся с властью, которую представляли вы. Мне бояться нечего. Это моя власть.

— И мне тоже нечего бояться. Я жена Ивана Меркулова — революционера, — сказала Мария.

— Мне очень жаль, Сергей Александрович, но я тоже не боюсь этой власти. Я профессор университета. Да, дво-

рянин. А какая бы ни была власть, она не сможет жить без образованных людей. И, надеюсь, как был я профессором, так им и останусь. Да и стар я уже бегать. В России родился, в России и умру!

— Ладно женщины — они многого не понимают, но вы-то, Илья Петрович, вы-то должны понимать, что происходит?! Боже, как вы все слепы... Хорошо, если вы настроены так благодушно к новой власти, пусть будет так, я вас не буду переубеждать — история нас рассудит, но подумайте о ваших детях. Пусть живут у меня. Здесь им будет безопаснее и сытнее.

— Извините, Сергей Александрович, конечно, спасибо вам за предложение, но ни я, ни Мария, ни наши дети не могут жить в вашем доме. Наоборот, живя у вас, мы подвергаем их опасности — вы для большевиков враг. Мы уезжаем. Но мы думаем, новая власть вас не тронет. Вы же не представляете для них опасности. Если вам потребуется наша помощь, мы всегда будем рады вам помочь, — Настя Мальцева встала. — Поехали, Мария. Ваня, собирайся... Прощайте...

Когда Анастасия, Мария и дети ушли, Таня заплакала и сквозь слезы проговорила:

— Я так боюсь! Хоть бы Сергей приехал.

— Я поползу домой... Федор, пожалуйста, помоги мне дойти... — сказал Русанов.

Сибирцев, расстроенный, ушел в свой кабинет и зло хлопнул дверь. Таня поднялась на второй этаж, в комнату покойной Маши, которая сейчас была ее и ее сына.

Ночью загорелся дом Русановых. Деревянный дом занялся сразу, а двери почему-то были прижаты кольями. Никто не видел, что около входа, в кустах, в отблесках пожара стоял человек в темном пальто и шапке. Он держал на взводе револьвер и готов был убить любого, кто появится около этого дома и захочет оказать помощь погибающим в доме людям. Он несколько дней следил за домом и знал, что Татьяна с сыном живет здесь вместе со своим дедом. Но он не знал, что, пока он отсутствовал — сидел в тюрьме и на каторге за убийство своего отца, две семьи объ-

единились и проделали отдельный вход между домами. Он даже не знал, что доктор — любовь его бывшей жены — является внуком соседа, графа Сибирцева. Он думал, что Татьяну тогда, в пятнадцатом, приютили в этом доме случайно, по-соседски. Он не знал и того, что Татьяна с сыном еще с вечера осталась в доме Сибирцевых. Револьвер он выпросил у Насти Биценко и, получив, почувствовал такую внутреннюю силу, такую власть над людьми, такую необъяснимую радость, такое желание мстить и убивать, что решение убить старого Русанова, его внучку и ребенка созрело сразу же. И он был рад этому решению. Как человек трусливый, он был рад, что он может совершить не подвиг — злодейство. Никакие угрызения совести его не терзали, он понимал — с приходом к власти большевиков наступало его время.

Когда дом всюду полыхал и стало нестерпимо жарко, человек, прятаясь в кустах, снял шапку, вытер ею сырое от жара лицо, удовлетворенно выругался, засмеялся и ушел. Его план мести начал исполняться. Остался доктор.

Старика Русанова спасти не удалось.

Тогда, в апреле семнадцатого года, Николай Семенов появился на пороге, как ему казалось, своего дома, никак не ожидая увидеть живого Русанова — думал, тот за его отцом в ад ушел. А тут живой, да еще и довольно бодрый. «Месть. Все ответят...» — эта мысль двигала Семеновым. Он помогал Насте Биценко, которая пристроила его на непьющую работу разносчика листовок из штаба большевиков в доме Кшесинской на заводы и фабрики Петрограда. К себе Анастасия Николая больше не подпускала — появились другие мужики, нужные, а Коля кто — никто! И Семенов понимал, что он никто, но молчал: ждал, знал, чувствовал — придет его время. И понимал, что «Временные» — они и есть временные, но возможного прихода к власти большевиков боялся и, как большинство, не верил — болтуны, а их Ленин — самый главный болтун. Новых друзей и знакомых у Николая не было, а о старых не вспоминал. Жил в узенькой комнатке огромной коммуналки, построенной из больших

комнат в бывшем доме Вальда на Большой Посадской. Деньги, что когда-то зарыл, превратились в пыль — кому нужны царские бумажки? Ругал себя, что не перевел в золото, но надеялся, что еще свое возьмет, и смертельно ненавидел всех и особенно Русановых. В июле, когда начали хватать большевиков, спрятался в комнатке и не выходил. В октябрьском перевороте участвовал: вместе со всеми добежал до Зимнего дворца и принялся грабить: утащил себе в комнатку персидский ковер, люстру и вазу. Ворвавшиеся во дворец солдаты в вазы нужду справляли да портьеры на портянки рвали и на грязные ноги накручивали, ломали, что можно было сломать; не остановили бы — сожгли бы все! «Власть моя пришла! — понял Семенов — Пора и за дело братья». И когда сжег дом Русановых, не перекрестился, только зло и удовлетворенно сказал:

— Прощай, Николай Иванович, и Танька со своим выродком, прощай. Оставалась бы лучше во Франции, может, так бы не мучилась! — И ушел радостный.

Через день после гибели Русанова приехал Сергей. Расследование причин пожара никто не проводил — некому было. Русанов почти не обгорел — балки рухнули, и старика придавило. Похоронили рядом с домом. Когда Федор принес заостренную штакетину и сказал: «У меня в сарае были приготовлены, для ремонта забора, а сейчас почему-то одна осталась», — поняли: поджог. И кто — догадались.

— Он сейчас будет думать, что и тебя сжег! — сказал Сергей Татьяне. — А если поймет, что ты жива, вернется и доделает то, что задумал. Надо вам с дедом уезжать.

— Куда, Сережа? В городе-то у нас квартиры нет.

— А квартиры сейчас не в почете. Новая власть их реквизирует, перегородки ставит и вселяет рабочих. Вон дядьку моего, Афанасия Ефремовича, выселили в одну комнату. Кстати, он успел семью в Финляндию отправить. Ты что-то говорила про дом в Перя-Куоккала, о котором тебе старый Семенов перед смертью рассказывал.

— Ты про дом двадцать четыре? Еще про клад в шведском банке вспомни. Неужели, Сережа, ты в это веришь? Аристарх же моего отца убил...

— Дело не в вере. Я каждый день такое выслушиваю от умирающих солдат! Они мне, как священнику на исповеди, все о своей жизни рассказывают. Если верить — с ума сойдешь. Для меня главное — вас спасти. Думаю, Петр Николаевич Краснов прав — эта власть в покое наш дом не оставит.

— Но это же в Финляндии. Граница. Как добраться?

— На яхте. Трудно — осень, да еще мимо Кронштадта, да придется ночью.

— Я боюсь!

— Надо, Таня. Ради сына надо. Пойдем, поговорим с домом...

Граф Сибирцев уезжать отказался, а когда узнал, каким путем, старчески засмеялся:

— В нашем роду моряков отродясь не было. Ну, может, когда со Стенькой Разиным на Волге грабили почтенных граждан да с Ермаком Тимофеевичем по сибирским рекам татар гоняли, а так пешком либо на лошадаках. Не поеду!..

XII

— Борис Васильевич, как вы это себе представляете? — спросил Бориса Савинкова известный террорист с партийной кличкой Филипп.

— Все довольно просто. Тридцатого августа Ленин будет выступать на заводе Михельсона. Там мы его и пристрелим.

— Далеко не просто, Борис Васильевич. Вам ли не знать, что там обязательно будет охрана, да и рабочие не подпустят чужака на расстояние выстрела. Значит, придется стрелять из винтовки. Снайпер нужен.

— А ты, Филипп, взялся бы?

— Я-то бы взялся, но есть одно но — я из винтовки стреляю плохо, — засмеялся. — Бросать бомбы у меня получалось значительно лучше. Да и что-то умирать мне не хочется. Раньше — да, а сейчас — не очень. Снайпер-то — смертник. А мы найдем такого?

— Не надо искать, если ты согласишься. План таков. Кстати, неизвестная тебе Спиридонова предложила.

— Машка? Она в этих делах большая умница. Простите, Борис Васильевич, что перебил...

— У Спиридоновой есть подруга — Фаня Каплан. Она слепая, как курица, — взорвалась на бомбе. Они десять лет вместе сидели на Нерчинской каторге. Так вот: Спиридонова попросит свою подругу, такую же каторжную, перекрасившуюся в большевичку Анастасию Биценко сводить эту Фаню на выступление Ленина — мол, та очень хочет послушать пролетарского вождя. А так как Фаня почти слепая, то она подведет ее поближе к Ленину. Никто же не подумает, что слепая тетка — убийца. У Каплан будет в кармане маленький дамский пистолет, из которого и воробья не убить, и билет на поезд. Спиридонова положит. Машка рассказывала, что у этой Фани чего только в карманах нет: грязные платки, корки хлеба, огрызки от яблок — полный набор слепой нищенки. Важно то, что она Ленина ненавидит, так как считает, что он предал идеалы революции и за это его надо убить. Открыто говорит, дура. Как ее еще не расстреляли? Кроме того, что слепая, она смертельно больна — чахотка, кровью харкает. И знает, что обречена. А тут такая слава, когда ее обвинят в убийстве Ленина! Ну а тебе останется только выстрелить. Винтовку мы спрячем заранее. Оденешься рабочим. О твоей роли буду знать только я...

— Но меня будут искать...

— Тебя искать не будут, будут искать другого — Ивана Меркулова. Ты стреляй в перчатках, а на винтовке есть его отпечатки: мы попросили его пристрелять винтовку, он же фронтовик. Ты винтовку оставишь. За убийство Ленина большевики бросят на поиски лучших бывших царских ищеек, а эти суки свое дело хорошо знают. Они снимут отпечатки, посмотрят в свои старые картотеки и найдут такие же у Ивана Меркулова.

— А он что — большевик?

— Меркулов? Нет, Ваня был лучшим в нашей боевой группе. В убийстве Плеве участвовал, на Столыпина поку-

шался, с каторги неоднократно бежал. Он да еще пропавший Владимир Боков были лучшими... Но Иван в Швейцарии снюхался с Лениным, можно сказать, подружился, и вместе с ним приехал в Петроград тогда, в апреле семнадцатого. Хотя Ленина не поддерживает, но и против не выступает. Женится, ребенка завел. И черт бы с ним, но он предатель. Он спас Ленина в июле, за минуту до того, как мои люди ворвались в редакцию большевистской газетенки «Правда» и пристрелили бы его в первой же подворотне. И как спас — ума не приложу. И потом спрятал его на озере Разлив и он же тайно привел его в Смольный перед большевистским переворотом. Не зря лучший. Сведения эти самые достоверные. Ближайшие соратники Ленина сказали. Вот пусть его большевики и берут как убийцу Ленина. Теперь понятен план, Филипп?

— Да. А если я не попаду?

— Должен попасть — всего-то триста метров. Ближе нельзя — поймают... Все, Филипп, будет хорошо, все продумано, проверено-перепроверено.

Ничего не подозревающая Анастасия Биценко по просьбе Марии Спиридоновой провела Фаню Каплан поближе к Ленину, выступавшему перед рабочими завода Михельсона. Ленин, размахивая руками, картаво, как всегда, с упоением говорил, говорил, говорил... Но слушали хмуро — из лозунгов кашу не сваришь и детей не накормишь. Пролетариям жрать хотелось. Рабочие, державшие кольцо охраны, не хотели пускать Фаню близко к токарному станку, с которого выступал вождь мирового пролетариата. Тогда, одетая в кожаную куртку и красный платок Биценко строго сказала: «Это товарищ Каплан. Она потеряла зрение во время убийства Киевского генерал-губернатора и провела на царской каторге одиннадцать лет! Пропустите!» Рабочие уважительно расступились. Биценко слушать Ленина не стала — у нее было полно своих дел. Большевики обживали Москву, а Мария была не последним человеком в партии — участвовала в переговорах с немцами в Брест-Литовске, где по требованию

Ленина был заключен позорный мир с терпящей поражение Германией. Ленин в очередной раз рассказывал, что революция в опасности, и о борьбе с контрреволюцией. О зарплате рабочим Ильич предпочитал не говорить. Зачем, если скоро будет мировая революция и деньги отомрут. А пока новая власть вместо денег рабочим выдавала почтовые марки.

— Товарищи! — кричал Ленин. — Нам, как воздух, был необходим мир с немцами. Это было архиважно. Если бы мы не заключили мир с немцами, то внутренняя контрреволюция раздавила бы нашу молодую республику. Только что в Петрограде злодейски убит председатель ВЧК товарищ Урицкий, белогвардейская гидра поднимает голову на Дону, в Сибири, в Финляндии... — Ленин остановился, ему мешал говорить, раздражал непрерывный кашель стоявшей совсем рядом со станком какой-то маленькой женщины в очках и теплом заношенном большом пальто. «Чохоточная! — зло подумал Ильич. — Еще заразит. Кто ее пустил?» И обратился к рабочим из оцепления, показывая рукой на Фаню Каплан:

— Да уберите вы ее! Она мешает мне говорить.

Рабочим и самим мешал этот непрерывный кашель, и они стали толкать Фаню и зло шептать:

— Иди отсюда, тетка. Чохотку тута разносишь.

Фаня полезла в карман за платком и вытащила маленький, с ладошку, пистолет. «Э-э!» — удивленно сказала Фаня и нажала на курок. Пистолет был взведен, и прозвучал выстрел. Потом второй, третий. Ленин упал. Фаню повалили на землю и стали бить ногами. Она не сопротивлялась, только сжалась в клубок. Она знала, как сжаться, свернуться, когда бьют, — ее много раз зверски били в тюрьмах и на каторге, пока за нее не заступились Спиридонова и Биценко. Да и пальто, несмотря на август, было теплым. Стекла очков разбились и посекали кожу лица. Но она уже этого не чувствовала — потеряла сознание. Только тогда разъяренная толпа рабочих отодвинулась и вспомнила о Ленине, который лежал на земле и стонал. Бросились спасать Ильича...

Дмитрий Курбский стоял перед столом в кабинете Якова Свердлова. Яков Михайлович не считал себя евреем — он считал себя человеком без национальности: маленький, злобный, вечно недовольный, ненавидящий всех, включая пролетариат, русских и евреев. Свердлов чуть возвышался над массивным столом и что-то писал, потом поднял голову и картаво (под Ильича) произнес:

— Дмитрий Исаевич, я назначаю вас первым наркомом юстиции. Конечно, в нашем государстве рабочих и крестьян никакой юстиции не может быть — есть только революционная целесообразность, но... несколько часов назад в товарища Ленина стреляли. Он сейчас в госпитале. Пули попали в шею и в руку. Врачи борются за его жизнь. Уже известно, что это дело рук эсеров. Захвачена террористка, стрелявшая в товарища Ленина. Проведите быстро все следственные мероприятия. Даю вам два часа, через два часа я жду вас здесь. Я готовлю постановление Совета народных комиссаров «О красном терроре».

— А чего, Яков Михалыч, я должен от нее добиться? К стенке, да и все!..

— Глупо, очень глупо товарищ Курбский. Пусть сознается в покушении и что это она сделала как член партии эсеров. Идите...

Когда избитую, опухшую от синяков Каплан привели в кабинет к Курбскому и посадили напротив, первый нарком юстиции посмотрел на женщину и не испытал никакой жалости.

— Назови, сука, свою фамилию и имя. Быстро!

— Фаня... Фаина Каплан.

— Ты эсерка? Тебя направил стрелять в нашего вождя Борис Савинков? Не ври! Просто говори: да.

— Я член партии анархистов, но поддерживаю социалистов-революционеров. Да, это я стреляла в вашего Ленина, и никто меня не заставлял. Я сама...

— И за что ты, сука, подняла руку на нашу святыню?

— Ваш Ленин — предатель! Он продался немцам, он развязал гражданскую войну, он против Учредительного собрания... Я не для этого одиннадцать лет провела на каторге...

— Лучше бы ты там сдохла, сука! Все ясно! — Курбский вдруг внимательно присмотрелся к Каплан. Потом пома- хал перед ее лицом рукой. Фаня не отреагировала.

— И как же ты в него стреляла? — спросил удивленный Курбский.

— Из пистолета.

— И сколько раз выстрелила?

— Не помню.

— Ладно. Кто может подтвердить, что ты та, за кого себя выдаешь? — первый нарком уже обрадовался, что услышит от этой дуры знаменитые имена эсеров и анархистов.

— Ну... Мария Спиридонова. Я с ней вместе на каторге была. Настя Биценко. С ней я тоже вместе сидела на катор- ге... одиннадцать лет... Еще... э-э... а-а... Дмитрий Улья- нов...

— Какой Дмитрий Ульянов?

— Как какой? Вашего Ленина брат.

— Откуда ты его знаешь? — тихо спросил, приподнима- ясь со стула, Курбский.

— Так он меня даже в санаторий устраивал и в больни- цу на операцию...

— Уведите арестованную! — крикнул нарком.

Через двадцать минут Курбский стоял напротив Свер- длова.

— Быстро-то как, — спросил тот. — Уже призналась?

— Призналась, что стреляла, но сказала, что это ее лич- ная месть.

— Интересно, за что?

— За мир с немцами и отказ в созыве Учредительного собрания.

— Ничего нового.

— Тут, Яков Михайлович, есть два «но». Первое: она слепая. Она просто не могла видеть Ленина.

— А второе?

— Она на вопрос: кто может подтвердить ее личность, назвала Спиридонову и Биценко, вместе с которыми сиде- ла одиннадцать лет на каторге, и... Дмитрия Ильича Улья- нова...

— Как Дмитрия Ильича? — подскочил на стуле Свердлов. — Откуда?

— Говорит, что он ее устраивал в санаторий и в глазную клинику...

— Записи допроса велись?

— Да.

— Фамилия Ульяновых никак не может звучать в деле покушения на Ильича. Сделаем так: все записи уничтожить. Вот подготовленное постановление Совнаркома «О красном терроре». Зачитывать на заседании будете вы как первый нарком юстиции. А эту, как ее... Каплан... ее в расход. Незамедлительно.

— Только не я! — сорвалось с губ Курбского.

Свердлов посмотрел на наркома и язвительно произнес:

— Революции, товарищ Курбский, в белых перчатках не делаются! Террор, террор и террор!.. Не бойтесь, для исполнения найдутся люди со стальными нервами. Только, может, я зря вас назначил наркомом юстиции?

— Я оправдаю доверие... Не сомневайтесь, Яков Михайлович!

— Вот, возьмите проект постановления и через Бонч-Бруевича внесите на Совнарком. Заседание назначаю на пятое сентября... Идите.

Курбский вышел за дверь, достал платок и, вытерев потное лицо, прошептал: «Фу! Пронесло!» Навстречу шел медик и пролетарский поэт Ефим Алексеевич Придворов, который присвоил себе какой-то чересчур странный псевдоним — Демьян Бедный.

— Что с тобой, Дмитрий Иванович? Никак Свердлов распекал? Он у себя? — спросил Бедный.

— У себя, — ответил Курбский и трусцой побежал по коридору.

— Подожди! — крикнул в спину убегающему Курбскому Бедный. — Говорят, что в Петрограде Урицкого убили. Правда?

Курбский остановился, повернулся бледным лицом к поэту и произнес:

— Это еще ерунда! В Ленина стреляли!

— Да ну? Кто?

— Сука одна эсеровская. Больше ничего сказать не могу. Иди к Якову Михайловичу, у тебя с ним хорошие отношения — он тебе все и расскажет...

Бедный удивленно покачал головой и пошел в кабинет Свердлова. Он был поэт новой революционной формации, которая не требовала утонченности, знания литературных слов, языка, длины строки и прочих условностей поэтической дребедени. Он да еще Владимир Маяковский — вот и весь литературный набор молодой республики. Стихи-агитки. А у Бедного еще и какие-то басенки, которые легко доходили до сознания солдат и неграмотных крестьян. Ленин его не понимал, но терпел, а Свердлов считал самым лучшим поэтом революции.

Разговор с Курбским задержал Бедного, и когда он без стука вошел в кабинет к Свердлову, у того уже был комендант Кремля, бывший балтийский матрос Павел Мальков. Свердлов что-то говорил, остановился, увидев вошедшего поэта, и сказал почему-то напрягшемуся Малькову:

— Не бойтесь, товарищ Мальков. Это товарищ Бедный, он наш человек. Поэт! Кстати, вот и будет вам свидетелем. Крови он не боится — доктор. Делайте все быстро. Лучше здесь, в Кремле, а то, если будете вывозить за город, ее эсеры отобьют. Может, они только и ждут, чтобы ее вывезли? Единственное безопасное место для нас на сегодня — Кремль. В Питере остались бы — давно бы всех нас прикончили! Как товарища Урицкого.

— Письменный приказ будет, товарищ Свердлов?

— Вам что, товарищ Мальков, моего слова недостаточно?

— Ну... тогда ее... это... того... повел во двор...

— Идите и исполняйте. И у вас, товарищ Мальков, не должно быть никаких сомнений — она враг, она стреляла в товарища Ленина!

— А что с телом-то делать, товарищ Свердлов?

— Не знаю... Уничтожьте!

— Есть. Разрешите идти?

— Демьян, пойдешь с товарищем Мальковым?

— Куда?

— Расстреливать врага революции эсерку Фаню Каплан, что стреляла в товарища Ленина.

— Конечно! — радостно сказал Бедный.

Фаню Каплан далеко не повели. Поддерживаемую двумя солдатами — из-за побоев она с трудом шла, висела на руках, да еще без очков почти ничего не видела, — ее провели под арку Кремля и прислонили к кирпичной стенке. Солдаты отошли, подняли винтовки, Мальцев вытащил маузер. Фаня видела перед собой только тени, сентябрьское солнышко начинающегося бабьего лета ласкало ей лицо. «Я все-таки так и не смогла совершить подвиг в своей жизни. Тогда губернатора не убила и сейчас выстрелить не успела. Пистолет-то откуда? Наверное, в пальто был. Машка Спиридонова забыла, когда пальто дарила? А хорошее пальто, теплое. Опять, наверное, на каторгу сошлют. Надо будет написать Дмитрию Ульянову — пусть поспособствует, чтобы не в Сибирь. Да и Машке с Настей сообщить...» Она стояла и смотрела слепыми детскими наивными глазами на невидимое, но теплое небо. Додумать она не успела — Мальков скомандовал: «Пли!..» — и что-то разорвало ей грудь. Уже к мертвой подошел Мальков и выстрелил в ее курчавую голову.

— Что дальше-то делать, товарищ Мальков? — спросил один из солдат. Он прошел войну, и для него еще один убитый не играл никакой роли. Второй, молодой, стоял с белым от страха лицом. Этот и на фронте не был, и стрелял в человека в первый раз. Да еще в женщину. Мальков огляделся. Весь двор был вымощен булыжником — надорвешься, пока выкопаешь яму. Да и привлечь надо других солдат. Увидев большую железную бочку, обрадовался:

— Да вот в бочку забросим и сожжем. Ты, — приказал молоденькому солдату, — иди в гараж, принеси канистру с бензином. Скажешь, я приказал, а то не дадут. Да не вздумай болтать, для чего, — самого в бочку живьем засуну и сожгу вместе с этой блядью! Бегом!..

Солдатик, волоча винтовку, побежал, путаясь в длинной шинели.

— Давай! Демьян, помоги!.. Маленькая, блядь, а какая тяжелая...

— Так покойники-то все почему-то тяжелые. Я-то уж знаю, натаскался на фронте, — сказал спокойным голосом старый солдат. — Головой ее туда вниз.

Пальто задралось — мелькнули грязные, старые, рваные чулки на резинках. Демьяна Бедного трясло. Солдатик, сгибаясь под тяжестью, притащил металлическую канистру. Открыли, стали выливать в бочку — бензин забулькал, завоняло.

— Отойдите, товарищ Мальков, а то как полыхнет!

Все отбежали. Солдат зажег спичку и бросил в бочку. Пламя ухнуло и загудело — дым повалил по арке и вырвался наружу с резким запахом горящего человеческого тела. По всему Кремлю разнесся тошнотворный запах. Демьян Бедный с молоденьким солдатиком отбежали, и оба, упав на колени, стали блевать. Мальков с солдатом-фронтовиком стояли спокойные, только прикрыли лица от жара. А по Кремлю, по столетним дворцам и церквям, над зубчатой стеной, туда, в город, несся запах новой власти — запах смерти...

— Запомните, — сказал с угрозой Мальков, — кто проговорится — будет иметь дело со мной. Из-под земли достану. Вы, товарищ Бедный, стихов об этом не пишете. Не надо. Пошли. Догорит, землей с камнями закидаем и вывезем бочку за город. В речку сбросим, и никаких концов, — Мальков засмеялся. Все разошлись.

Вечером собралось экстренное заседание Совета народных комиссаров. Председательствовал Яков Михайлович Свердлов.

— Товарищи! Эсеры, поддерживаемые французами и англичанами, совершили подлое убийство председателя Петроградской ЧК, товарища Моисея Урицкого. Сегодня же эсерка Каплан стреляла отравленными пулями в товарища Ленина. Товарищ Ленин жив...

— Яков Михайлович, — спросил пьяным голосом Николай Бухарин, — что значит «отравленными пулями», если

любой яд разлагается от температуры, и второе: эта Каплан была одна?

— Насчет ядов — это вы, товарищ Бухарин, обратитесь к докторам. Одна она была или не одна — у нее мы уже не спросим, Каплан именем революции казнена, а других участников мы все равно поймаем. Сейчас в наши сети все попадутся, а которые не попадутся — сами придут.

— Как это? — спросил Феликс Дзержинский.

— А к вам в ЧК, Феликс Эдмундович, и придут... Послушайте, товарищи... Нарком юстиции товарищ Курбский доложит. Прошу, Дмитрий Иванович.

Курбский встал, одернул гимнастерку и зачитал:

— Постановление Совета народных комиссаров РСФСР «О красном терроре»... Необходимо изолировать классовых врагов в концентрационных лагерях, расстреливать всех лиц, причастных к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам, разрешить Всероссийской чрезвычайной комиссии применять любые меры устрашения, брать заложников и расстреливать их при невявке подозреваемых лиц...

— Теперь вам понятно, Феликс Эдмундович? Это, товарищи, наш ответ на подлое убийство товарища Урицкого и покушение на товарища Ленина. Никаких поблажек, никаких судов... Мечь, мечь и мечь!.. — крикнул Свердлов.

Через неделю пьяный (и как в Кремль пропустили?) Демьян Бедный без стука вошел в кабинет к Свердлову.

— Яков Михалыч, я вот тут написал стихи о борьбе с классовыми врагами... и об этой... Фане... Скажи мне, Яков Михайлович, а за что ее расстреляли? Она же ни хрена не видела? Как она могла стрелять в Ильича? И еще — что такое классовые враги? Вот я, человек с университетским образованием, тоже враг?

— Ты, товарищ Бедный, иди проспись. Это первое. Если еще раз придешь в таком виде, прикажу с лестницы спустить. Второе. Стишки свои дрянные засунь себе в задницу. Они нужны, пока мы этого хотим. Понял? И третье. Если ты будешь выступать против нас, большевиков, то мы

в лучшем случае отправим тебя в концентрационный лагерь, а можем и расстрелять. Пошел вон! И предупреждаю: если где-нибудь хоть словом обмолвишься, как Каплан казнили, тебя расстреляют. Помнишь тех двух солдатиков? Их уже на этом свете нет! Кормят рыб в Москве-реке. Понятно я сказал?

Демьян Бедный, пролетарский поэт, вышел из кабинета и, пошатываясь уже не от водки — от страха, пошел по длинному коридору, не замечая проходящих мимо людей. «Господи! — думал. — Ну чего я привязался к этому еврею? Для него же все люди враги! Всё, больше ни разу... Пойду выпью!..»

В Москве-реке кроме бочки с останками Фани Каплан и трупами двух солдат, ее расстрелявших, стоял, со связанными руками и привязанным к ногам камнем, эсер и террорист по кличке Филипп.

Демьяну Бедному повезло: пока молчал, Свердлов его не трогал. Да и не очень долго молчать пришлось: через полгода, в марте 1919 года, в городе Орле Якова Михайловича избили до полусмерти голодные рабочие — его до Москвы довели, но спасти не смогли. У Кремлевской стены, где по его приказу сожгли Фаню Каплан, его и захоронили. Чего далеко нести? Родные гробы должны быть рядом, как напоминание о кровавой революции и чтобы не забывалось, откуда пришли и куда идем! Ильич, как будто чувствовал, что и его время подходит — место готовил. Себе и своим соратникам.

XIII

— Найдите всех еще живущих в Москве царских сыскарей! Всех! — в своем кабинете кричал на чекистов Феликс Дзержинский. — И тащите их сюда. Только не бить! Берите все машины, бросьте все дела и привезите их сюда. Это первое. Второе, и не менее важное, — Дзержинский потряс листами бумаги. — Вот списки врагов советской власти, подстрекателей, саботажников, открытых врагов

революции, эсеров, кадетов, всяких там октябристов. Товарищ Петерс, возьмите списки и раздайте сотрудникам. Приказываю: всех арестовать. Если их не сможете найти, арестовывайте их жен, родителей, братьев и сестер. Оставьте в домах по одному-два человека, лучше детей, и говорите, что если их отцы, братья не придут в ЧК, их родные, как заложники, будут расстреляны.

— Но... Феликс Эдмундович, — протянул заместитель Петерса Мартын Лацис. — Против нас за такие действия восстанут даже те, кто сейчас стоит в стороне.

— Товарищ Петерс, ваши подчиненные, видимо, не понимают, что нам объявлена война! Враги покусились на самое святое — на Владимира Ильича! Мы должны ответить на эти злобные убийства красным террором! Вот постановление Совета народных комиссаров «О красном терроре». Мы, ЧК, и следствие, и суд для наших врагов. А вы, по-видимому, забыли, для чего создана наша организация. Я вам напомню: нам дано право на арест всех лиц, подозреваемых в поддержке белогвардейских организаций, заговорщиков, саботажников, а с сегодняшнего дня и непосредственное осуществление красного террора — расстреливать!

— А что делать с заложниками, если их родственники не придут?

— Вы что? При чем здесь придут — не придут? Они заложники и должны быть уничтожены.

— Так у нас тюрьмы забиты арестованными. В камерах сесть негде — спят по очереди, — сказал чекист Ксенофонов.

— Так освободите.

— Отпустить?

— Вы дурак, товарищ Ксенофонов? Расстрелять! Товарищ Петерс, прошу, еще раз объясните сотрудникам, что для советской власти врагами являются дворяне, помещики, офицеры, священники, кулаки, казаки, ученые, промышленники и прочие классовые враги... И никаких поблажек — террор, террор и террор... Они у нас ответят за все. Они умоются кровью. Они в страхе забудут даже ше-

потом говорить слова против нашей власти... — Дзержинский задохнулся в крике, прокашлялся и уже сквозь слезы хрипло крикнул:

— Мы с вами — карающий меч революции!..

XIV

Николай Семенов, не без помощи Анастасии Биценко, чтобы не попасть на фронт, составил липовую бумагу с печатями, по которой выходило, что он еще до революции ненавидел эксплуататоров и за убийство эксплуататора рабочего класса — своего отца сидел на каторге, где стал сторонником большевиков и сейчас хотел бы продолжать защищать дело революции и уничтожать ее врагов. К сожалению, годы, проведенные на каторге, привели к ухудшению здоровья, и он не может воевать в рядах славной Рабоче-крестьянской красной армии. Справка о ранениях и плачевном состоянии здоровья прилагалась. Николая на фронт не послали, по просьбе Биценко приняли в ВЧК, а так как он был грамотный и хорошо умел писать, определили сразу на должность в тюремный отдел.

С переездом в Москву вслед за Анастасией Семенов не спешил, да и Биценко он был не нужен. В Петрограде работать было проще, к тому же подальше от помешанного на революции, «чистоте рук, сердец и помыслов» Дзержинском с компанией латышских стрелков. Председатель Петросовета товарищ Зиновьев и руководитель Петроградской ЧК Урицкий были не так чисты в помыслах, а уж в работе... Николай быстро понял, что на фронт его точно не пошлют и что новая работа может приносить неплохой доход. Схваченные промышленники, дворяне, чтобы спасти себя и особенно свои семьи, рассказывали о спрятанных кладах и драгоценностях. Николай Аристархович создал маленький отряд, в котором были распределены все роли: одни хватали и тащили в подвал буржуев, другие пытали и добывались нужных сведений, третьи шли по адресам за ценностями, четвертые расстреливали. И всё — концы в воду! И над всем этим был Николай Семенов. Только об

этом никто не знал. А время от времени те, кто проявлял желание узнать больше о деятельности своих товарищей, почему-то загадочно умирали или пропадали в вонючих и грязных подворотнях Петрограда...

Когда же Урицкий стал бороться со взяточничеством в рядах Петроградской ЧК, Семенов понял, что петля стягивается на его шее. Он только что расстрелял в доме Вальда Афанасия Ружникова, одного из владельцев лесопильного завода в далеком северном городке Мезени. Афанасий Ефремович его узнал, когда встретил около дома, и Семенов испугался, что через него всплывет вся его родословная. Поэтому, взяв с собой солдат, вошел в комнату, где жил бывший промышленник, и убил его. Никто не разбирался — классовый враг!

Семенов от людей, терзаемых в подвале дома на Гороховой, 2, знал, что на Урицкого готовится покушение, но не сообщил об этом. Когда в Петроград с проверкой прибыли Троцкий и Свердлов, стали распекать Урицкого за мягкотелость и приказали расстрелять сидевших в подвале чиновников, подозреваемых в саботаже, Николай Семенов вызвался провести расстрел. 21 августа 1918 года был произведен массовый расстрел невиновных людей. Троцкий и Свердлов отметили старания Семенова и уехали, а Урицкий вызвал его к себе и предложил уволиться из органов Петроградской ЧК. «Я о вас все знаю, всю вашу подноготную, всю вашу ложь и ваше желание спрятаться за спины честных чекистов...» — сказал Моисей Соломонович.

В тот же вечер Семенов навестил безутешно плачущего Леонида Каннегисера. О нем Николай Аристархович знал от расстрелянного им Марка Алданова. Семенов отдал Каннегисеру часы Алданова, сказав:

— Ваш товарищ Марк Алданов перед смертью просил их вам передать. Но я прошу вас, Леонид, никому об этом не говорите — иначе меня самого могут расстрелять.

— Кто вы?

— Я не могу вам этого сказать, но мы вместе сидели в одной камере с вашим другом. И ваш друг отдал мне эти часы с просьбой, чтобы я их передал вам.

— Вы все убийцы! — зарыдал Леонид. — Все!

— Вы, Леонид, ошибаетесь — не все. Есть патриоты своего отечества и люди, ненавидящие эту власть и этого убийцу Урицкого. Это по его личному приказу казнили вашего друга.

— Ах, как я хочу отомстить за смерть Марка! Но как? И почему вы живы?

— А расстреляли почему-то только евреев. Моисей Соломонович Урицкий сам еврей, а приказал в первую очередь расстрелять своих соплеменников.

— Он вдвойне заслуживает смерти! Чтобы еврей поднял руку на еврея? Смерть ему!

— Я могу вам помочь отомстить за вашего друга.

— Скажите как?

— Ежедневно в восемь часов утра Урицкий приезжает на работу в ЧК на Гороховую, дом два. Охраны у него нет. Вот пистолет. Умеете стрелять?

— Да, я полгода был на фронте, до ранения.

— Тогда мне вас учить не надо. Выстрелите — лучше подойти в упор и лучше несколько раз, чтобы наверняка, — и сразу бегите за угол к Дворцовой площади. За углом я буду вас ждать... в машине... Согласны?

— Когда?

— Завтра. Только прошу, Леонид, никому ни слова. И не пейте. Вы должны понимать, на какое великое дело вы идете! Да и отомстить убийце своего друга — что может быть лучше для мужчины.

— Хорошо, завтра. А как вас зовут?

— Называйте меня просто Павел.

— Хорошо, Павел.

На следующий день Урицкий, в последние дни расстроенный из-за расстрелов, проведенных по приказу Троцкого и Свердлова, ровно в восемь утра вышел из машины и направился к дверям Петроградской ЧК. Из подворотни соседнего дома вышел человек в черном пальто и шляпе и, приблизившись к Урицкому, вытащил из кармана пистолет и с криком: «Это тебе за Марка, иуда» выстрелил несколько раз в Урицкого, после чего побежал к Дворцовой площади.

Когда он завернул за угол дома, то обрадовался — навстречу шел Павел. Правда, машины не было. «Павел! — радостно крикнул Леонид — Я сделал это! Ой, я забыл бросить пистолет... Я...» Договорить Каннегисер не успел — Семенов выстрелил ему в грудь.

На следствии выяснилось, что Семенов шел в столь ранний час, потому что его вызвал Урицкий — необходимо было решить очень важный вопрос по арестованным, а когда услышал выстрелы и увидел бегущего на него человека с револьвером, который бросился на него, то выстрелил... Семенова похвалили. Приехал Троцкий с постановлением Совнаркома «О красном терроре» и стал всех распекать за потерю бдительности, твердил о «белогвардейской гидре, поднявшей голову», о буржуях, дворянах — Лев Давидович умел убеждать! Единственный, кого похвалил, — Семенов, которому предложил переехать на работу в Москву. Николай вначале обрадовался, но, поразмыслив, решил не ехать. «Черт его знает, сколько они в Кремле продержатся. Москва — не место для жизни, а тут, если что, сразу раз — и за границу, в Финляндию, и поминай как звали. Нет, береженого Бог бережет». Троцкому же ответил:

— Товарищ Троцкий, здесь, в Петрограде, еще много недобитков осталось. Гидра контрреволюции поднимет голову. Как большевика, здесь мое место. Необходимо отомстить за подлую смерть товарища Урицкого.

Троцкому что-то показалось знакомым в словах чекиста. Вспомнил, что это его собственные слова, и обрадовался — значит, его уважают. Пообещал всяческую поддержку молодому сотруднику.

XV

В Москве, в длинном сером кабинете всеильного Феликса Дзержинского, сидели десять человек в теплых, с бобровыми воротниками пальто.

— Не буду называть вас товарищами, — начал Феликс Эдмундович. — Знаю, что вы это слово не приемлете... Господа, нашей власти нужна ваша профессиональная

помощь, — Дзержинский особо надавил на слово «профессиональная». Люди в пальто, с тросточками заволновались и задвигались на стульях. Феликс Эдмундович про себя отметил, что надавил на болезненное место присутствующих — профессиональную гордость, и продолжил: — Мы знаем вас как лучших профессионалов уголовного сыска в бывшей империи. Два дня назад эсеры подло стреляли в нашего вождя, Владимира Ильича Ленина. Слава богу, Ленин жив. Пули удалены. Жизнь Ленина вне опасности. Но наша задача найти убийцу. И мы хотим, чтобы вы нам помогли.

— В чем? — спросил один из сидевших.

— Найти истинного убийцу.

— Как?

— Я вам скажу. Человек, который, как считается, стрелял, не смог бы в него попасть — он был почти слепой. Но, к сожалению, он покончил с собой в камере. Остался пистолет. Его держал только подозреваемый и один из наших сотрудников. Вы разбираетесь в дактилоскопии, вы знаете всех убийц, террористов, даже нас — политических, — глаза у присутствующих гордо блеснули. — Мы не уверены, что в Ленина попали из этого пистолета. Врачи говорят, что пули винтовочные. Вы знаете, как и где искать; помогите нам найти настоящего убийцу, того, который стрелял в Ильича.

— А почему мы должны вам помогать?

— Потому что вы, как все, хотите жить!

— Как это?

— Вот постановление Совнаркома «О красном терроре». Согласно ему я могу сейчас же арестовать вас и ваши семьи. И не просто арестовать, но и расстрелять...

— За что?

— За пособничество врагам советской власти. Но я поступлю проще: я вас отпущу, а ваши семьи оставлю заложниками. Найдете стрелявшего — отпустим. Не найдете...

— Это беззаконие!

— У революции законов нет. Есть только революционная необходимость. Выбирайте.

— Господин... товарищ Дзержинский, нам необходимо вернуться в наши бывшие кабинеты, воспользоваться лабораторией и архивами. И передайте нам все имеющиеся у вас улики. Нам также необходимо побывать на месте преступления... И нам нужны гарантии!

— Гарантией является мое слово. Думаю, что этого достаточно. Товарищ Петерс и товарищ Лацис в вашем полном распоряжении.

— Вы нас ограничиваете во времени?

— Хотелось сказать «нет», но скажу: два-три дня, не больше.

— Пойдемте, господа... искать...

Через три дня двое бывших следователей вновь сидели в кабинете Дзержинского. Присутствовали товарищи Петерс и Лацис.

— Я вас внимательно слушаю, господа! — сказал усталым голосом Дзержинский.

— Господин Дзержинский, вот что удалось выяснить. На пистолете имеются отпечатки пальцев вашего товарища. Они нам неинтересны. Хорошо, что ваши... товарищи не уничтожили во время погромов нашу картотеку. Вторые отпечатки принадлежат Фейге Хаимовне Ройтблат, она же Фаина Ефимовна Каплан, проходившая по делу об организации покушения на киевского генерал-губернатора. Она готовила бомбу и взорвалась. Почти ослепла. Была осуждена и отправлена на бессрочную каторгу в Сибирь. С того расстояния, где она находилась, до господина Ленина любой мальчишка из рогатки бы попал, но только не Фаня Каплан. Она просто его не видела. Таким образом, можно достоверно сказать, что Каплан не могла попасть в Ленина, да и свидетели показывают, что она в Ленина не стреляла. К тому же пистолет был дамский, им только напугать можно. Хочу обратить ваше внимание, товарищ Дзержинский, что нам не предоставили материалов допросов Каплан. Возможно, это могло бы подтвердить ее невиновность...

— Я же вам говорил, что она покончила с собой в камере. И это все? — недовольно спросил Дзержинский.

— Нет. Мы нашли в трехстах метрах от «объекта» на чердаке дома винтовку. Немецкую винтовку с оптическим прицелом. Это очень редкая и очень дорогая винтовка. Даже странно, что из такой винтовки и при такой оптике Ленин не был убит. Впрочем, две пули, и одна из них в шею... Еще более странно, что такая винтовка осталась на месте преступления. Впрочем, стрелявший, может быть, очень спешил, а винтовка его могла выдать. Так вот, мы подходим к главному: на винтовке мы нашли отпечатки, принадлежащие двум разным людям. Одни принадлежат эсеру, террористу по кличке Филипп, он же Филипп Антонов. А вот другие отпечатки, не скроем, нас удивили — они принадлежат известному боевику, эсеру покушавшемуся на Столыпина, одному из участников убийства Плеве, Ивану Матвеевичу Меркулову. Но по нашей картотеке он не числится с восьмого года. Десять лет! О нем известно, что он бежал с каторги еще до войны с Германией, не семейный, его сестра Мальцева Анастасия проживает в Петербурге... простите, Петрограде, по адресу Екатерининский канал, дом... Вот и все. Скажите, товарищ Дзержинский, что с нашими семьями?

— Вы, господа, прекрасно выполнили свою работу. Я вам обещал — ваши семьи сейчас же будут отпущены... Товарищ Петерс, прошу отпустить задержанных... Господа, передайте мою благодарность вашим коллегам. И хотел бы вас попросить отбросить все условности и прийти к нам работать. Нам необходимы ваши знания... А сейчас не откажите в любезности выпить со мной чашку чая. Прошу...

XVI

Троцкий приехал в Петроград для расследования убийства Урицкого, допрашивал сотрудников ЧК и единственного свидетеля Николая Семенова, которому симпатизировал после того, как тот отличился при расстреле заложников, и уже хотел закрыть дело ввиду смерти убийцы, когда позвонили из Москвы. Звонил сам Дзержинский. Лев Давидович внимательно выслушал, покивал головой и сказал:

— Хорошо, Феликс Эдмундович, я все понял... — повернулся к Семенову и, понизив голос до шепота, произнес: — Вот что, товарищ Семенов, я благодарю тебя за честное исполнение своего революционного, чекистского долга. А что касается покойного товарища Урицкого, то он тряпка и слюнтяй, и Зиновьев в Петросовете тоже тряпка и слюнтяй... Они с Каменевым чуть не провалили революцию — выдали врагам дату восстания! — у Семенова от удивления отвисла челюсть. — Но я не об этом. Я тебе приказываю: срочно возьми отряд чекистов и поезжай по адресу: Екатерининский канал, дом пять, квартира десять. Там проживает некая Мальцева Анастасия. Арестуй ее. И скажи другим родственникам, что если ее брат Меркулов Иван не выйдет сюда, в ЧК, она будет расстреляна.

— Так, может, и этот Меркулов там?

— Вряд ли. Он скрывается где-то в Москве. Скажу вам как боевому товарищу, принципиальному чекисту: он стрелял в товарища Ленина!

— О господи! — Семенов хотел перекреститься, но вовремя спохватился.

— Без господи... Идите и выполняйте приказ, товарищ Семенов... И вы назначаетесь заместителем начальника тюремного отдела. Я приказал.

— Спасибо, товарищ Троцкий. Служу трудовому народу.

— Вот и посмотрим, как вы служите... Идите.

В городе было беспокойно — грабили, стреляли, убивали. Вечером и ночью люди на улицу не выходили, запирались на замки. Было голодно, и люди продавали вещи. Только детские оставляли напоследок. Дочка Марии и Ивана неутомимо бегала по комнате и все что-то напевала, в основном мотивы украинских песен, которые прекрасно пела Мария. Иван появлялся очень редко. О работе не говорил, но привозил главное — продукты. Деньги никому не были нужны, да и денег как таковых не было — новая власть выдавала вместо денег почтовые марки с портретами большевистских вождей. Но, по-видимому, что-то про-

изошло и в Питере, и в Москве, из-за чего граждан десятками и сотнями стали хватать на улицах, вламывались в дома и увозили в неизвестном направлении. По городу упорно ходили страшные слухи о массовых расстрелах. Особенно когда молнией разнеслось, что убили главу ЧК Урицкого. Кто-то шептал:

— Еще одним евреем в еврейском государстве стало меньше.

Другие, понимавшие больше, отвечали:

— Зря! Сейчас большевики мстить начнут, и первыми будут невинные люди.

В маленькой квартирке Анастасии Мальцевой было не до Урицкого — им бы детей прокормить.

Мария ушла на стихийный рынок, что образовался за Апраксиным торговым двором, продать свою теплую шаль — в доме не было даже кусочка черного хлеба. Было немного картошки и репа, которую привезла Татьяна. После октябрьских событий Меркуловы-Мальцевы в Ораниенбаум не ездили. Как будто какая-то черта, грань прошла между женщинами, какой-то, самим им непонятный, холодок пробежал... И сами того не сознавая, в нынешнем бедственном состоянии своих семей они почему-то винили друг друга. Даже Танину картошку гордо не хотели принимать, но Таня, всплакнув, попросила взять хотя бы для детей. Посидела немного молча — говорить было не о чем. Сказала только, что приехал Сергей — уволился из армии, хочет стать гражданским доктором. Через неделю выходит на работу хирургом в какой-то маленькой больнице в Красном Селе. Как царскому офицеру, работу найти невозможно. Из-за натянутости, глухоты со стороны Анастасии, заплакав и не договорив, ушла. А когда ушла, заплакала уже Анастасия Мальцева и запричитала:

— Чего ж мы как-то не по-русски, не по-женски?.. Боже мой, что же происходит? Бежать бы, догнать, обратно вернуть — да где там: гордость, классовая ненависть, как говорит брат. Прости нас, Господи!

На улице стреляли!

Когда в дверь забарабанили и крикнули:

— Открывайте, иначе сломаем! — Анастасия прошептала сыну:

— Что бы ни спрашивали — молчи! Возьми Настю на руки и молчи! — И пошла открывать дверь. В квартиру вошли четверо: один в кожаной куртке и кожаной кепке со звездочкой, перепоясанный ремнем с кобурой, и трое солдат в шинелях с винтовками.

— Мы из ЧК. Ты — Мальцева? — спросил человек в кожаной куртке. — Где твой брат, Иван Меркулов? — и приказал солдатам: — Обыщите квартиру! Отвечай: где твой брат?

— Не знаю. Он здесь не живет.

— Не ври! Это чьи дети? Твои?

— Мои, — ответила Анастасия.

Солдаты прошли по комнате, лениво и глупо заглянули под кровать и стол, помотали головой.

— Одевайся! — приказал человек в коже. — Поедешь с нами.

— Куда это? У меня дети, семья. Не поеду.

— Тогда мы заберем детей. Выбирай.

— Хорошо.

Анастасия стала одеваться, а сама все думала: «Хоть бы Мария не пришла... Хоть бы Мария не пришла...» Когда оделась, командир повернулся к Ивану с ревушей в голос маленькой Настей на руках и прокричал:

— Да заткни ты ее! — от крика маленькая девочка замолчала. — А теперь главное! Ты, пацан, сообщи своему дядьке, Меркулову, что если он не явится добровольно в ЧК, мы его сестру расстреляем! Она — заложница. Если не явится, мы придем, заберем вас и тоже расстреляем. Понял? Вижу, что все понял. Выводите женщину...

— Можно с ребенком попрощаться, успокоить?

— Ладно, прощайся. Братец не придет — у нас встретись! У стенки.

Анастасия поцеловала ревушую и тянущую к ней ручки маленькую Настю, которая все повторяла: «Мама... Мама...» — обняла Ивана и прошептала на ухо: «Придет Мария, уходите все к Сибирцевым, к Татьяне. Прошу, за-

клинаю — уходите. И Иван, если придет, пусть не идет в ЧК. Они его не выпустят. И меня не выпустят! Ах, как Таня тогда была права... Прощай, сынок!»

Поцеловала, а затем отстранила сына от себя и, не оглядываясь, быстро вышла из квартиры.

— Ты понял меня? — уходя, крикнул Ивану человек в коже. — Иначе мы придем за тобой и за твоей сестрой.

Мария вернулась через полчаса после того, как ушли чекисты, и когда Ваня, сквозь слезы и плач маленькой Нас-ти, рассказал, что произошло, села за стол и, положив перед собой руки, завывала в голос.

— Тетя Мария, мама сказала, чтобы мы все уезжали в Ораниенбаум к Сибирцевым.

— Да-да, давайте собираться. Я только Ивану записку оставляю...

Собрались быстро: побросали в платок детские вещи, завязали в узел, взяли шитую куклу, маленькая Настя успокоилась, только всхлипывала и держалась за юбку матери. — Все, — сказала тихо Мария, — прощай, дом, — и они быстро пошли на железнодорожный вокзал.

XVII

— Я поеду в ЧК, — возбужденно говорил Сергей Сибирцев. — Какие заложники? Свой народ в заложники?

Женщины, обнявшись, плакали. Дети с аппетитом уплетали жареную картошку с грибами, приготовленную Феклой.

— Я боюсь, внук, что этим все не закончится. Это уже другая война. Война внутри страны. Господи, почему ты от нас отвернулся? — сказал старый граф. — Фекла, там вроде в дверь звонят?

Фекла открыла дверь — на крыльце стоял поджарый седой мужчина с жестким взглядом серых глаз.

— Я — Иван Меркулов.

— Да-да, проходите, барин.

Иван вошел, к нему навстречу уже бежала жена и сменяла ножками маленькая дочка. Мария подбежала, при-

жалась лицом к груди и вновь заплакала, а дочка дергала за пальто: «Папа, папа...» Иван оторвал лицо от жены и смотрел, как к нему с грустной улыбкой подходил Сергей Сибирцев.

— Возмужали, Сергей Владимирович. А всего-то два года не виделись...

— Так какие два года — войны. — Сергей подошел, Иван, отстранив жену, шагнул навстречу, и мужчины обнялись.

— Здравствуй, Сергей.

— Здравствуйте, Иван Матвеевич... Проходите.

В гостиной ждала Татьяна. Она протянула руку и сказала:

— Здравствуйте, Иван. А меня вы узнаете?

— Если честно, не Сергей бы — не узнал. Изменились, похорошели, — показал на мальчика с голубыми глазами. — Это ваш сын? Как его зовут?

— Владимир.

— В честь Володи?

— Да.

— Это очень хорошо, что Владимиром назвали.

Все расположились в гостиной, пили чай. Старый граф хворал и, извинившись, ушел к себе в кабинет. Свою спальню он отдал Марии с дочкой.

— Иван Матвеевич, что же делать? Я собирался ехать в ЧК — выяснить, потребовать отпустить...

— Хорошо, что не успел уехать. И тебя бы взяли в заложники.

— Почему, Иван?

— Убили председателя Петроградской ЧК Урицкого, а в Москве стреляли и ранили Ленина.

— О господи!

— Совет народных комиссаров издал постановление «О красном терроре», а в нем черным по белому сказано о заложниках, о расстрелах. И в первую очередь дворян, помещиков, бывших офицеров... Так что, если бы ты пришел, они бы тебя сразу к стенке поставили... Я пойду, искали-то они меня. Я же из партии эсеров, а говорят, что и в Урицкого, и в Ленина стреляли эсеры.

— Но не ты же стрелял?

— Я? В Ленина? Да я ему жизнь в июле спас... Но я пойду — Анастасия там...

— Давай, я с тобой пойду? — сказал Сергей.

— Нет. Я боюсь, что вам всем надо бежать — время наступает кровавое, и первыми под топор пойдете ты с дедом и Татьяной. Вы дворяне.

— Я пойду с тобой! — сказала Мария.

— Ни в коем случае! Неужели ты не поняла, Маша, что, если бы ты была дома, они бы арестовали тебя. Анастасия отвела от всех нас беду. Если бы она сказала, что есть ты, они бы дождались и арестовали тебя... Сергей, Таня я вас прошу, не отпускайте ее, и еще, Сергей, если что-нибудь случится со мной, не оставь их.

— Об этом ты даже не думай. Но ты же ни в чем не виноват, я надеюсь, все будет хорошо.

— К сожалению, я боюсь, что это уже не играет роли. Но сейчас главное — это сестра... — Иван поднял дочку, поцеловал. — Маша, проводи меня.

Мария шла, держась за мужа, а сзади, на крыльце, тихо стояла вся большая семья.

— Товарищ заместитель начальника тюремного отдела, арестованную привели, — доложил, открыв двери в кабинет Семенова, солдат с винтовкой.

Заместителем начальника отдела Николай Семенов стал со вчерашнего дня, а в кабинет вселился только-только, даже продавить кресло не успел. Первое, что он сделал еще вчера, — съездил в бывшее полицейское управление, как сотрудник ЧК свободно прошел в архив, нашел свое дело и уничтожил часть листов...

— Введи! — сказал Семенов.

Солдат пропустил вперед Анастасию Мальцеву.

— Можно идти? — спросил солдат.

— Стой за дверью... Садись, Мальцева, — Семенов указал на стул в середине комнаты. Анастасия присела. — Ну и где твой брат?

— Я не знаю. А в чем вы меня обвиняете?

— Тебя пока ни в чем, кроме того, что ты сестра Ивана Меркулова.

— А в чем виноват мой брат?

— Хорошо, я тебе скажу. Он стрелял в товарища Ленина!

— Этого не может быть! Он всегда хорошо отзывался о Ленине. Он много лет жил с Лениным в Швейцарии и даже в июле семнадцатого года спас его.

— А сейчас он поднял руку на нашего вождя! Он враг! И когда он сюда придет или мы его поймаем, а это произойдет непременно, мы его расстреляем.

— Но говорю вам: он ни в чем не виноват. Судите, и суд докажет, что он не имеет никакого отношения к этому злобному покушению.

— Не понял. Какой суд? Суд — мы, ЧК! Суд здесь я! Говори, где скрывается твой брат? Я не буду тебя пытаться. Я просто прикажу привести сюда твоих детей и начну их при тебе мучить. Хочешь, мы выколем им глаза илиотрежем уши?

— Господи! Что вы говорите? Вы же наша власть. Я учитель. А Иван всю жизнь боролся против царского режима. На каторгах из-за этого сидел.

— Не один твой брат сидел. Я тоже сидел.

— Вы тоже бросали бомбы в царских министров?

— Нет! Я убил своего отца — буржуя, заводчика.

— Как убили?

— Просто: я его приковал цепью к стене в сарае, он и замерз. Зима была.

Анастасия отшатнулась на стуле и непроизвольно вскрикнула:

— Вы... Вы — Николай Семенов, сын Аристарха Семенова и бывший муж Татьяны Русановой?!

Николай Семенов побелел лицом, резко вскочил со стула, подбежал к Анастасии, схватил ее, как клещами, за подбородок и заорал в лицо:

— Откуда ты меня знаешь? Шпионила? Тоже эсерка? Что ты знаешь о моем отце? Откуда ты знаешь Татьяну? — и вдруг остановился, разжал пальцы и прошипел: — Она

жива? — и отскочив, крикнул: — Жива?! Говори, где она? Говори!.. — и с размаху ударил кулаком Анастасию в лицо. Потом бил еще, еще, и еще... Кричал: — Говори, сука!.. Говори!.. — и бил, бил, превращая лицо в кровавую маску. Анастасия упала на пол, и он в испугании стал пинать ее сапогом в лицо, в живот...

Открылась дверь, заглянул солдат, увидел и испуганно, заикаясь, крикнул:

— Товарищ Семенов, там, внизу, на входе задержали этого... как его... Меркулова... Сам пришел... Говорят, что к вам...

— Кто пришел? Какой Меркулов? А-а-а!.. Задержите его! Связать! В подвал его... Я сейчас приду. Потом возьми кого-нибудь и эту... суку... оттащите в камеру.

В подвал Семенов спустился уже спокойный. В низенькой, с покатым потолком и без окон комнате, при тусклом свете маленькой, забранной металлической сеткой электрической лампочки, на стуле, со связанными руками сидел седой мужчина. Рядом стояли два солдата. Когда в камеру вошел Семенов, мужчина ровным голосом сказал:

— Я Иван Меркулов. Где моя сестра?

— Если эта блядь еще не подохла, то ты с ней увидишься! Говори, как ты стрелял в Ленина?

— Ты, чекист, белены объелся? Как я мог стрелять во Владимира Ильича, если мы с ним друзья? А за сестру я тебя сейчас придушу! — Иван рванулся — охрана схватила.

— Ты, сука, Савинкову друг и своими погаными руками хотел лишить жизни нашего вождя.

— Ты — сволочь! Я никогда этого не делал. И где это я мог стрелять в Ленина?

— Это сейчас уже не важно. Ты стрелял, и ты будешь казнен!

— Я это понял. Отпусти мою сестру.

— Она умрет вместе с тобой!

— Ах ты... — Меркулов вскочил со стула и, оттолкнув солдат, прыгнул и ударил Семенова головой в живот. Удар был столь силен, что Семенов отлетел к стене и потерял со-

знание. Солдаты повалили Меркулова на пол и стали бить его прикладами винтовок, превращая в кровавое месиво лицо и ломая кости...

— Остановитесь! — крикнул очнувшийся Семенов. — Для него это будет слишком легкая смерть... Помогите мне...

Солдаты помогли Семенову встать, и он, согнувшись, вышел из камеры.

Все тихо сидели за столом. Пришел, поддерживаемый Федором, старый граф Сибирцев. Сгорбившись, сидел на стуле приехавший Илья Петрович Боков.

— Я не могу здесь сидеть, когда мой муж в тюрьме! — говорила и плакала Мария.

— Ты же, Мария, слышала, что сказал Иван, — сказал Сергей Сибирцев. — Поеду я.

— Ехать могу только я, — тихо произнес Илья Петрович. — Я условный дворянин, профессор университета, меня не арестуют. И я... должник Ивана. Вспомните: это он написал мне письмо о Владимире и Маше.

— Я поеду с вами. И не удерживайте меня! Я поеду! — закричала Мария.

— Не держите ее, она права! — тихо сказал старый граф. — Но идти должен Илья Петрович, а Мария пусть ждет на улице. Вы же сами говорите, что людей хватают и расстреливают без суда. Мария, у тебя дочь, и ты в ответе за нее. Хватит нам терять своих детей и внуков. Если бы я мог идти, я бы пошел. И еще одно: надо готовиться отсюда уходить. Если они узнают через Анастасию, что у Ивана есть жена и дети, они будут искать их и рано или поздно придут сюда. Спасти всех — это твоя задача, Сергей, вся надежда только на тебя.

Когда Мария и Илья Петрович подошли к дому ЧК на Гороховой улице, Боков умоляюще попросил:

— Маша, голубушка, станьте на той стороне улицы. Если что-то произойдет и я не выйду, ни в коем случае не входите и быстро уезжайте в Ораниенбаум. Значит, произошло самое страшное — они ищут тебя и детей.

Илья Петрович, опираясь на палочку, вошел в здание ЧК и, представившись, спросил у сидевшего за деревянной перегородкой дежурного солдата, к кому можно обратиться по поводу задержанной Анастасии Мальцевой. Дежурный проверил какие-то списки, нашел нужную фамилию, подчеркнутую неровной линией, внимательно посмотрел на Бокова, поднял телефонную трубку, что-то спросил и сказал профессору:

— Вам на третий этаж, в кабинет номер тридцать семь, товарищ профессор. Вас там ждут.

На вежливость и «вас там ждут» Илья Петрович, привыкший к такому к себе обращению, внимания не обратил и, опираясь на палку, стал тяжело подниматься по лестнице. Дежурный еще раз поднял трубку и сказал:

— Он идет, товарищ Семенов.

Илья Петрович тяжело поднимался — солидный возраст и усталое сердце давали о себе знать. Он не замечал, что за ним так же медленно поднимаются два сотрудника ЧК. Коридор третьего этажа был пуст, слева шли двери кабинетов, свет падал из окон справа, и в коридоре было сумрачно. В конце коридора стоял какой-то человек; судя по номерам на дверях, Илье Петровичу предстояло идти в сторону этого человека. Шедшие позади чекисты остановились на лестничной площадке и стали закуривать папиросы, создавая видимость непринужденной беседы, при этом внимательно поглядывая на идущего профессора. Илья Петрович медленно шел, смотрел на каждую дверь, и чем ближе подходил к человеку в конце коридора, тем тревожнее у него становилось на сердце; за грудиной нарастала боль, рвущаяся куда-то к горлу. Боков остановился и оперся на палку, пот побежал по лицу. Тогда человек пошел в его сторону, и чем ближе он подходил, тем явственнее Илья Петрович вдруг начинал понимать, что он уже не раз видел этого человека. А идущий навстречу человек улыбался, и Илья Петрович его вспомнил и ужаснулся — к нему шел сын замученного Аристарха Семенова.

— Что же вы, сосед, остановились? Неужели не рады? — спросил идущий к профессору Семенов. — Мы с госпожой Мальцевой и ее братцем вас заждались.

— Вы... вы — тот отцеубица? Вы...

— Бросьте, господин Боков... Идите, идите сюда... Сейчас вы мне все расскажете...

И тут Илья Петрович сделал невероятное: человек, не обидевший в своей жизни даже кошку, резко поднял палку и ударил ее концом в лицо Семенова. Конец палочки был стертым за многолетнее пользование и довольно острым и попал в глаз Семенову. Тот охнул, взревел, как раненый зверь, и схватился за окровавленный глаз. «Сука!..» — заорал он. А Илья Петрович бессознательно кинулся к окну и стал палкой иступленно бить по стеклу и кричать: «Мария, беги... Мария, беги...» Вдруг сердце в его груди разорвалось, он как-то жалобно всхлипнул и рухнул мертвый на пол.

Когда из дверей здания ЧК стали выбегать на улицу люди, перебегать через дорогу и смотреть на окна верхних этажей, где только что разбили стекло, Мария спросила одного из них:

— Что случилось-то, товарищ?

— Ты бы шла, товарка, отсюда, — сказал грозно курносый сотрудник ЧК. — Тут сейчас такое начнется... Старикан какой-то глаз начальнику тюремного отдела Николаю Семенову выбил своей палкой, а потом хотел бежать, да то ли пристрелили, то ли сам умер. А говорят, что он очень важный свидетель по делу убийства товарища Урицкого... Иди-иди, а то тебя загребут, как свидетеля.

Мария все поняла. Первая мысль была — самой идти в здание и хотя бы увидеть Ивана, а потом, материнским чутьем поняла, что Ивана она больше не увидит и не спасет и что надо спасать дочь. Она развернулась и, плача, почти побежала на остановку трамвая.

Половина лица Семенова оплыла в кровоподтеке, глаза не было видно. Вызванный врач осмотрел Семенова и сказал, что повреждена роговица, но сам глаз цел и Николаю Аристарховичу грозит лишь небольшая потеря зрения, и

то вряд ли. Врач понимал, в какой организации он в этот момент находился. Он знал: скажет правду, что Семенов, возможно, окривел, — может и не выйти из этого здания. А так соврал и спас себя. Семенов, отлежавшись за несколько часов на диване в своем кабинете, не согласовывая с руководством, позвонил в Москву Льву Троцкому и рассказал о задержании Ивана Меркулова.

— Правда, его здесь сильно помяли. Не знаю, выживет ли, — сказал он в конце доклада.

— Меркулов — отработанный материал. За него может и Владимир Ильич заступиться, так что он больше нам не интересен и не нужен. Принято решение, что в Ленина стреляла эсерка Фаня Каплан. А Меркулов давно примазался к Ленину, еще в Швейцарии. Ленин — добрый, не смог распознать врага. И нам всем Меркулов мешал! Его не должно существовать, и никаких документов по нему не должно сохраниться. Нет человека — нет проблемы. Я понятно выразился, товарищ Семенов?

— Да, товарищ Троцкий, я все понял.

Ивана Меркулова и его сестру Анастасию притащили в дальний угол подвала и поставили к выщербленной от пуль и окровавленной кирпичной стенке. К ним подошел Николай Семенов с перевязанным глазом.

— Ну все, брат и сестра, прощайтесь с этим светом. А Таньку я все равно найду, и ее доктора, и их ублюдка. Когда пришел этот профессор вас защищать, я все понял — я знаю, где их искать. У соседа, у графа Точно? Точно!..

Иван плюнул окровавленной слюной Семенову в лицо — тот отскочил, а потом с размаху ударил кулаком в окровавленное лицо — Меркулов качнулся, но не упал. Повязка с лица Семенова сползла, и стал виден огромный кровоподтек, закрывающий глаз. И вдруг Меркулов стал смеяться, громко, кашляя кровью; а потом прохрипел:

— Кто ж к тебе так приложился? Неужели Илья Петрович? Профессор? Вот если бы его сын к тебе приложился — ты бы уже сдох. Впрочем, ты сдохнешь! Сергей тебя убьет! Я знаю! Я верю! Он тебе за всех отомстит!

Семенов, утеревшись, отошел к стоящим солдатам и глухо приказал:

— Чего стали? Приготовиться...

Иван нащупал руку сестры и прошептал:

— Прости меня, Настя...

Раздалось:

— Пли!..

XVIII

Когда в дом вбежала Мария и плача, сбивчиво стала рассказывать о том, что произошло в городе, все начали креститься.

— Семенов! — глухо произнес Сергей. — Опять Семенов! Чекист?! Теперь он придет за нами. Он понял, что ты, Таня, жива и здесь. Хорошо, если приедут утром. Надо срочно уходить в Финляндию, и единственный способ — плыть через залив.

— А как через залив переплыть? — спросил старый граф.

— На яхте. Я вчера ходил на берег — моя яхта цела. Я даже паруса проверил. Только одна проблема — мы все сразу в яхту не поместимся. Да и плыть надо сейчас, ночью — днем расстреляют из кронштадтских фортов. Здесь, на канале, нас и до Малой Ижоры не допустят — утопят первым же снарядом. Так что лучше со стороны города, а потом вдоль северного берега. На севере мелко, поэтому и стерегут кое-как. Я залив хорошо знаю.

— А что в Финляндии? — спросил граф.

— Там есть дом в Перя-Куоккала. Если, конечно, есть. В конце концов, там Маннергейм.

— Правильно, там Маннергейм, — обрадовался граф, — он поможет. Сергей, забирай женщин и детей и уплывай, а потом уже за мной, Феклой и Федором.

— Я, барин, не поеду, — сказал Федор. — Чего мне там, на чужбине-то, делать? Спасибо, но я как-нибудь здесь.

— Всё, времени на пустые разговоры нет, быстро соберитесь, одевайте детей теплее, и пошли, — стал торопить

всех Сергей. — Дед, я вернусь за тобой завтра вечером. Схоронитесь где-нибудь, чтобы не нашли.

— Сережа, не переживай за меня... я дождусь. Главное — женщин с детьми спасти. Как и положено русскому офицеру, — тихо произнес граф Сибирцев.

Яхта была маленькая и сразу сильно просела в воду.

— Садитесь на дно и не вставайте, — сказал Сергей. Он вначале неуклюже управлял парусом — сказались три года войны, — и яхта рыскала, кренилась, заваливалась на волну, но через полчаса он «поймал» ветер и уже с наполненным ветром парусом яхта быстро побежала к северному берегу, огибая Кронштадт со стороны города. Быстро темнело, и когда появился северный берег, Сергей повернул яхту и поплыл, стараясь слиться со стоящими стеной на берегу соснами, подальше от линии северных фортов. С последнего, Тотлебена, все-таки заметили мелькнувшую в темноте и пропавшую тень. Сергей хорошо знал прибрежную линию и финские городки Терийоки, Куоккалу, Перя-Куоккалу. Когда пристали к берегу, все устало вздохнули. Дети спали. С непривычки ладони Сергея прорезали кровавые полосы от веревок, руки болели и дрожали. В темноте, неся детей на руках, нашли дом, указанный Аристархом Семеновым. Когда на стук им открыла женщина с испуганным лицом, Татьяна спросила:

— Вы Анна? — и на утвердительный ответ сказала: — Я от Аристарха Семенова.

Женщина вначале удивилась, а потом улыбнулась и протяжно, как говорят финские женщины, произнесла:

— Входите. Это ваш дом...

Это был деревянный, одноэтажный, очень уютный, чистый, убранный дом, в котором была кухня, веранда и несколько комнат, был камин и были дрова, и было чувство, что он все эти годы ждал хозяев и наконец дождался — как будто обрадовался, как живое существо. Анна пошла на кухню, а с ней Татьяна с Марией, и они быстро приготовили нехитрую еду, чтобы накормить детей, но кормить не пришлось — те продолжали спать.

На следующий день к вечеру Сергей засобирался.

— Возьми! — Сергей протянул Тане золотые часы, подаренные императрицей Александрой Федоровной. — Они золотые, продашь. Если будет тяжело, найди генерала Маннергейма — ты его знаешь. Надеюсь, он вам поможет. А будет возможность — съезди в Швецию, чем черт не шутит, может, Семенов был прав, сказав про драгоценности в банке. А его сыночка я все равно найду.

— Сережа, мне страшно, ты так говоришь, как будто прощаешься. Ты же сегодня ночью вернешься.

— Вернусь. Обязательно вернусь, и не один. Я поплыл за дедом.

Таня шла с мужем к берегу и плакала, а когда яхта отошла и, распустив парус, поплыла, все уменьшаясь вдали, опустилась на колени и зарыдала.

Когда яхта, пройдя вдоль северного берега Финского залива, развернулась и, пересекая залив, пошла к Ораниенбауму, уже почти на подходе, по ней открыли огонь с одного из южных фортов.

Пьяные матросы сидели в оружейной башне. В этот день они украли со склада парочку матросских бушлатов и обменяли на самогон, хлеб и сало и сейчас, закрывшись в башне, пили и горланили песни. Когда старослужащий по пятому году, к которому все обращались уважительно: Кондратий Степаныч, встал с вращающегося, привинченного к железному полу стула, чтобы размять кости и по многолетней привычке взглянул в дальномер, то увидел в сумерках одинокую яхту, ныряющую на волнах.

— Чего это она здесь делает? — удивился он, повернувшись к товарищам и сказал молодому, по второму году службы матросику, который почти не пил — наливал: — Иди-ка сюда, Васек. Хошь пальнуть? Братва, идите все сюда, сейчас Васька шамальнет по гаду.

Четверо матросов, пившие с Кондратием Степанычем самогон, пошатываясь, поднялись, тоже поглядели в дальномер и стали привычно заряжать оружие... От выстрела лопнула бутылка с самогоном. Снаряд в яхту не попал. Волной сломало руль, оборвало парус, и образовалась пробойна по правому борту. Несколько минут Сергей боролся

за жизнь яхты, но в конце концов она затонула. Сергей, скинув брезентовую рыбацкую куртку, вплавь добрался до берега в районе Мартышкина. Отжав одежду, он пошел к дому Сибирцевых.

Это его и спасло.

— Бл... — ругнулся Кондратий Степаныч, — только самогон потеряли! Неси, Васек, вторую. Надо же обмыть твой первый выстрел.

XIX

Расстреляв Ивана Меркулова и Анастасию Мальцеву, Семенов утром, взяв трех солдат, на грузовом автомобиле поехал в Ораниенбаум. Дорога была разбита, вся в колеях, полных воды, и машина несколько раз застревала, ее вытаскивали из грязи, но, проехав несколько километров, она опять проваливалась в грязь. Солдаты устали толкать машину, были раздражены и открыто ругали Семенова. Когда доехали до дома Сибирцевых, все были измотаны и столь громко и открыто ругались, что Федор, увидев их и поняв, кто они, успел забежать в кабинет к графу и крикнуть: «Солдаты!» И удивился: граф был в генеральском мундире с множеством орденов на груди.

— Федор, хватай Феклу и уходите через сад. Быстро! — приказал Сибирцев.

— А вы, ваше сиятельство?

— А я солдат! Русский генерал. Мне непозволительно бежать от врагов. Уходи. Внуку, Сергею, скажи, что я его люблю и пусть он меня простит за его мать. Прощай!

Когда солдаты со злости зачем-то сломали прикладами дверь и ворвались в дом, то увидели в гостиной сидящего за столом гордого седого бородатого старика с множеством орденов на генеральской форме. Солдаты заворуженно остановились. Вошедший Семенов с повязкой на глазу, увидев графа Сибирцева, струхнул, но все-таки вышел вперед и язвительно спросил:

— Что, ваше сиятельство, не ждали?

— Ты и есть Семенов — убийца своего отца?

— Ну я! — гордо ответил Семенов. — И тебя, сиятельство, сейчас мы будем кончать так же, как Меркулова и его сестру и этого... профессора. Но прежде ты расскажешь, где скрывается Танька со своим доктором. Говори, сука!

— Этот доктор — мой внук и граф Сибирцев. Понял? — Сибирцев встал, поднял руку, в которой блеснул пистолет, и выстрелил. С Семенова слетела фуражка, кровь залила лицо, и он упал без сознания. Под штанами стала растекаться лужа. Запахло. Солдаты стояли в замешательстве. Старый граф положил пистолет на стол, блеснула золотая рукоять. Он стоял, седой, гордый, прямой — ордена блестя. Сказал звонким голосом:

— А сейчас стреляйте в графа и генерала Сибирцева. Не бойтесь — стреляйте!

Солдаты вскинули винтовки...

Семенов застонал, вытер рукой кровь на лице, пощупал голову.

— Сука! Чуть-чуть — и в голову... Уничтожьте всё, — прохрипел он и снова потерял сознание.

Солдаты брезгливо перенесли раненого Семенова на диван, а сами разбрелись по дому и стали рыться в шкафах, на полках, в столах; тащили в машину серебро, посуду, картины, ковры. В дом вошел старик. Солдаты обернулись.

— Я у барина по хозяйству был...

— А, холуй!

— Можно мне барина забрать и похоронить?

— Забирай, пока наш начальник обоссанный отдыхает, — засмеялся один из солдат. — А то очнется и тебя пристрелит. Ишь ты, разлегся, а всего-то по голове царапнуло, только кожу содрало. На фронте от такого упал бы — свои же пристрелили бы... А барин-то твой сильный, видно, мужик был — мог бы нас всех из пистолета-то, как курят, перестрелять, ан нет, не стал, только в начальника нашего пальнул. Жалко, не попал... Генерал... Тащи его быстрее — мы сейчас здесь все запалим.

— Зачем дом-то уничтожать?

— Приказано. Буржуйское. Попили, суки, нашей кроушки. Всех уничтожим! Забирай, пока не передумали...

Федор наклонился и, с усилием подняв мертвого графа, вынес его из дома. Солдаты бегали, вытаскивая все, что могли унести. Очнувшегося и стонущего Семенова понесли к машине, тот мутным взглядом осмотрел гостиную и просипел:

— Всё ко мне в дом везите, и сабли не забудьте. Пистолет, из которого эта сволочь стреляла, мне отдайте.

Солдаты, сорвав оружие со стен, вышли и подожгли дом. Солдат, что ругал Семенова, тихо проговорил:

— Сука. Про сабельки с пистолетом вспомнил, а что нас под пули подставил? Генерал-то хоть и враг, а лучше этой бляди был.

Через полчаса после того, как ушла машина, к горящему дому подошел Сергей. В конце сада он нашел Феклу и роющего яму Федора. Рядом, под деревом, лежал граф, генерал Сергей Александрович Сибирцев, в окровавленной форме при всех своих многочисленных орденах. Сергей опустил на колени над дедом и заплакал.

— Барин, а начальником-то у солдат был сын Аристарха Семенова, Николай. Я его сразу признал. Он на диване лежал окровавленный. Солдаты сказали, что это барин его ранил. А солдаты всё из дома вынесли и подожгли. Я вот только с земли подобрал — обронили, — и Федор протянул небольшую коробочку. Сергей открыл — в коробке лежали его ордена, погоны штабс-капитана, швейцарский нож, свернутая в кольца пила Джильи и ключи от квартиры на Большой Посадской улице.

— Давай, Федор, я тебе помогу копать.

Яма была вырыта. Фекла принесла из сарая старое одеяло, в него завернули графа и опустили в могилу. Сровняли без холмика, чтобы не нашли и не разрыли.

— Как хозяйка-то, дети — добрались? — спросил Федор.

— Все хорошо, Федор. Только яхты у меня больше нет. Так что не увезти мне вас.

— Так мы, ваше сиятельство, с Феклой решили здесь остаться. Простите, барин.

— За что прощать? Только и дать-то вам нечего.

— А нам ничего и не надо. Нам барин все при жизни дал. Строгий был, а никогда не наказывал. Просьба у меня к вам, Сергей Владимирович... Конечно, не по-христиански это, но вы с Семеновым-то поквитайтесь. Ведь всех он убил. А если бы вы не уехали, то уж точно бы всех. Не должен такой зверь по земле ходить. Не должен!

— Это я тебе обещаю... Скажи, Федор, у тебя есть во что переодеться?

— Да, барин, — Федор сходил в сарай и принес старую солдатскую шинель, в которой граф любил сидеть в саду. Нашлись старые солдатские ботинки с обмотками, а также брезентовый ремень и шапка. Сергей переоделся, спрятал в карманы нож и пилу Джильи, а коробку с орденами и погонами отдал Федору, потом снова открыл коробку, взял ключи и, обняв Федора и Феклу, сказал:

— Прощайте... Я обязательно вернусь за вами...

— Прощайте, ваше сиятельство, Сергей Владимирович, — сказала рыдающая Фекла, а Федор добавил:

— Прощайте, барин. Вы за Феклу-то не беспокойтесь. Я ее в обиду никому не дам.

Сергей ушел, а два человека еще долго стояли над могилой и горько плакали.

Часть четвертая

Противостояние

I

«Да, моя профессия, моя обязанность перед людьми — спасти человеческую жизнь. Но Семенов — не человек. Он зверь! Он хуже зверя. У зверей законы природы, там побеждает сильнейший или самый хитрый и быстрый, а здесь убивают людей за просто так, и не врагов, и не на войне, где люди в военной форме воюют друг с другом, где свои законы — войны, Но и там существуют законы чести, а здесь война против простых людей. И их уничтожают без всякого суда, и у них нет даже надежды на правосудие или хотя бы милосердие. Почему же так? Что сделали эти люди против этой власти, чтобы их вот так, как скот, убивали — не по суду, а по желанию, по прихоти? Почему, по какому такому праву этот Николай Семенов убивает невинных людей? Чего он добивается? Власти? Но большевики ее получили. И эти невинные люди не мешали им брать эту власть, даже помогали. В чем виноваты Иван Меркулов и Илья Петрович? А в чем виновата Анастасия? В чем виноват мой дед? А в чем виновата Татьяна? В чем виноват я? В чем виноваты маленькая, еще ничего не понимающая Настя и мальчик Ваня, у которых убили родителей? Кто дал ему право вершить судьбы людей? Он, этот убийца, кто — бог на Земле? Почему его не покарает Господь? Нет, такие, как Семенов, не должны жить на земле, среди людей, и если его не остановить, он будет продолжать безнаказанно казнить, терзать, уничтожать людей. И если я его убью, то это не будет мстью с моей стороны, это будет справедливость по отношению к уже погибшим и к другим, еще живым людям, которых Семенов будет убивать, если его не

остановить! И если Господь считает, что я не прав, — пусть считает. Но он не остановил эту злую волю. Тогда мой долг перед убитыми родными людьми — остановить это зло. И я это сделаю!»

С такими мыслями ехал Сергей Сибирцев из Ораниенбаума в Петроград и обдумывал планы своего мщения. Он ехал посоветоваться к теперь единственному оставшемуся в этом большом городе родному человеку — он ехал на Большую Посадскую улицу к своему дядьке Афанасию Ружникову. Он не знал, что Афанасия Ефремовича уже нет на свете и что убит он Николаем Семеновым. Он не знал, что Семенов занял всю когда-то принадлежавшую семье Афанасия Ефремовича квартиру, выгнав из нее только что заселившиеся туда многодетные семьи питерских рабочих.

Николая Семенова Сергей в лицо не знал, но остановился, увидев, как в парадную, где находилась квартира Афанасия Ефремовича, из машины тащили, как охапку дров, оружие деда. Золотые эфесы шашек, шпаг, сабель блестели на солнце. Когда машину разгрузили и она ушла, Сергей подошел к одиноко стоявшему бородатому мужику в такой же старой солдатской шинели и спросил:

— Скажи-ка, браток, в этом доме комнату можно найти?

— Ты чего? Тут даже пролетариев выселили из этого подъезда, — он указал на парадную, где жил Афанасий Ефремович. — И прожили-то всего ничего, как буржуя-то здешнего выселили из всех комнат в одну, а потом и убили. Так нет, новый поселился, — солдат посмотрел осторожно вокруг и тихо добавил: — Говорят, из чеки. Они сейчас над всеми правят. Вла...ась!

— А кто такой, не знаешь?

— Нет. Но говорят, большой начальник, и грозный — у-у-у... Чуть что не по нему, сразу волокут того человека в чеку, а оттудова, сам знаешь, уже одна дорога — в яму. Все ему кланяются: «Доброго здоровья товарищ Семенов... Как дому-то повезло, что вы здесь живете, товарищ Семенов...» Тьфу-ты!.. Вон у меня брат без ног с войны вернулся, и что?.. Как в подвале пух с голоду, так и пухнет... Ни-

чего не принес с войны, только ноги там оставил, да вот шинель, что на мне. Ему-то она зачем, безногому, пусть в подвале и сидит, пока Бог приберет. И чего буржуев скинули? Где же она наша, народная власть?

— А ты здесь живешь?

— Да, комнатку дали, а семья — семь душ. А через стенку какую-то суку поселили, говорят, подстилка чья-то из совета, так ей одной две комнаты!.. И на кухне у нее свой стол и керосинка! Вот как ныне бляди-то живут!.. Так что ты где-нибудь в другом месте поищи... Сейчас буржуев и господ всяких под корень уничтожают, много комнат освободится, да только держи карман шире, новые хозяева все позанимают, — мужик плюнул, осторожно оглянулся и, внимательно посмотрев на Сергея, спросил:

— А ты откуда?

— Да с фронта. Контузило, вот и выкинули.

— А чего доброго с войны принес?

— Да что было, всё в лазарете украли. Гол как сокол.

— А-а... Чего же здесь-то угол ищешь?

— А где еще? В деревню, что ли, возвращаться? Не, там голод.

— И то правда.

— Может, у дворника или истопника узнать? — спросил Сергей.

— Ищи-свищи! Говорят, как этого буржуя кокнули, истопник-то сам убег. Его еще арестовать хотели, а он как всех раскидал! У-у-у! И это на одной-то ноге! И убег!.. Что дается? У тебя выпить нету?

— Нет. Не могу — желудок немцы химией сожгли.

— А-а, брат рассказывал. Ужас! — Мужик еще раз плюнул, утерся рукавом шинели и пошел из двора.

— Ничего, товарищ Семенов, от меня ты не уйдешь, — тихо прошептал Сергей и побрел, как бредут старые или уставшие люди.

С момента, как Анастасия Биценко перебралась в Москву, Николай Семенов недолго оставался один — спас от расстрела симпатичную питерскую шлюху по кличке Зинка и

сделал ее своей содержанкой. Первое время из дома Зинка выходила только на рынок за продуктами, а остальное время готовила, стирала и ублажала Николая. Быть хозяйкой Зинке нравилось — не на панели и не в грязной постели, но прибирать в доме — это увольте, и завела, как и положено новым хозяевам, девку по хозяйству — нашла на вокзале деревенскую дуру, которую облапошили в первый же день, когда она привезла два мешка картошки на продажу. Возвращаться домой в деревню та боялась, знала: в такое дикое время батя прибьет! Так и попала к Зинке. Дуня, так звали девку, была к труду привычная, да и тут по сравнению с деревней рай какой-то, правда, комнат много — убирать целый день надо, а еще готовить, да на рынок... И еще тайно следить за хозяйкой, которая, почувствовав свободу, быстро вернулась к своему прежнему ремеслу. Правда, на улице не стояла — имела постоянных клиентов. Особенно ей нравился молодой парень, вор по кличке Беспалый — у него не было указательного пальца на правой руке. Сам отрубил, когда в шестнадцатом году всех из тюрем и лагерей стали отправлять на фронт. Отсутствие пальца несколько не мешало воровать — кто ж знал на медицинской комиссии, что он левша.

Сергей своим видом заросшего щетиной солдата не привлекал внимания — ну бродит по дворам солдатик в старой шинели, так таких солдатиков по городу шатается — не счесть. Не всех же сотрудниками ЧК берут. Сергей три дня походил около дома и выяснил, что за Семеновым приходит утром, в девять часов, машина с двумя охранниками. Приезжает он с работы в восемь вечера, бывает и позже, и тоже на машине. Водитель, как и Семенов, вооружен, дверцу машины открывает-закрывает, в парадную впереди Семенова входит — смотрит. Дуня почти целый день дома, только раз в два дня бегаёт на Сытный рынок за продуктами. Судя по покупкам, деньги в доме водились, и немалые. А вот хозяйка, Зинка, та каждый день часов в двенадцать уходила недалеко, на Большую Монетную улицу, как выяснил Сергей, к знаменитому на Петроградской стороне вору Лешке Беспалому, и там проводила часа два,

потом возвращалась домой. Оставалось только попасть в квартиру, когда никого не было.

На третий день, когда Семенов уехал на работу, Зинка убежала к Лешке, а Дуня ушла на рынок, Сергей вошел в дом по черной лестнице и своими ключами открыл дверь когда-то родной для него квартиры. От бывшего великолепия не осталось и следа: когда квартира была превращена в коммуналку, жильцы содрали со стен всё: картины, обои, гардины, люстры, не было и мебели, только большой сейф был на месте, а то, что натащил в дом Николай Семенов, лежало неразобранными кучами по комнатам. Искать оружие пришлось недолго: шашки, связанные веревкой, валялись в глухом, темном, маленьком чулане вместе метлами и вениками. Тускло блеснули эфесы наградных георгиевских шашек деда и подаренной Сергею генералом Красновым. Еще одна была с малиновым, аннинским шнуром. Взяв оружие и уже идя к двери, Сергей вдруг остановился — что-то необычайно знакомое, родное бросилось в глаза: из кучи лежащих на полу свернутых ковров, когда-то украшавших дом графа Сибирцева, торчал уголок деревянной картинной рамы. Сергей раздвинул ковры и вытащил самую дорогую для него картину из гостиной дедовского дома — портрет красивой женщиной с ребенком. «Ты у меня за все ответишь!» — зло прошептал Сергей. У него было огромное желание поджечь квартиру, которую испоганил этот ненавистный ему человек, но не поднялась рука уничтожить дом, в котором он прожил столько счастливых лет. Он вздохнул и, засунув портрет в мешок, прижал им спрятанные под широкой шинелью оружие и по черной лестнице, покинул квартиру.

Может быть, и не заметили бы пропажу — столько чужих вещей валялось в квартире, если бы Николай Семенов не расхвастался в Смольном одному из заместителей председателя Петросовета, тоже тащившему в занятую им огромную квартиру в доме Бенуа на Каменноостровском проспекте сабли, шпаги, посуду из домов убитых петербуржцев, что у него имеется оружие самого графа Сибирцева. Заместитель не стал упрашивать Семено-

ва подарить ему оружие графа, он, мягко улыбнувшись, просто сказал:

— Про вас, товарищ Семенов, говорят, что вы заняли чрезмерные площади, при этом выселив из квартиры пролетариев с их семьями? Неужели правда, Николай Аристархович? И куда смотрит Петроградская ЧК?

Семенов все понял и, к удовольствию заместителя, сказал, что он с огромным удовольствием подарит «эти безделушки» товарищу заместителю председателя Петросовета.

Приехав домой, Семенов приказал Дуне принести связку сабель. Та сбегала в чулан — знала, что лежат рядом с метлами — и, вернувшись, удивленно, разведя руки, произнесла:

— Нетуть!..

— Как это нет? — вытаращил на нее глаза Семенов. — Иди ищи, должны лежать, связанные, как веник. Я помню, как их заносили. Куда положила?

— Так их в каморку бросили.

Дунька опять сбегала и вернулась с тем же: «Нетуть».

Семенов разозлился и сам пошел по комнатам. Взял для большего света керосиновую лампу, обыскались — не нашли оружия. Семенов рассвирепел, стал бить Дуньку, приговаривая:

— Сучка, унесла, продала... воровка... Не найдешь — пристрелю!..

— Барин, ведать не ведаю, куда делись? Их как привезли вы тогда, раненый, так никто не трогал. Я еще вчера их видела...А-а-а!.. — рыдала Дуня.

Семенов еще пару раз хлестнул ладонью по Дунькиному лицу, остановился и пошел в спальню, где на кровати лежала в шелковом халате объявившая о внезапно набравшей головной боли Зинка.

— Зинка, ты сабли не брала? Может, кому отдала? — зарычал Семенов.

— Нужно мне очень. Натаскал сабель — лучше бы ковров да посуды побольше волок — больше проку, хоть продать можно. Не трогала я.

— Точно? Смотри, не найду — ноги выдерну!

— Ноги? — хихикнула, потянувшись всем телом, Зинка. — А как же ты желание-то справлять будешь без ног?

— Я не шучу. Это особые сабли, графские. Я их самому заместителю Зиновьева пообещал. А они пропали... Или... — Семенова пробило подозрение. — Может, украли?.. А ну ищите!..

— И я? — спросила, вновь потягиваясь, Зинка.

— Все! Бегом! Не найдете — из дома выгоню!

Крик подействовал — все бросились искать. Перевернули всё — не нашли. Зинка поняла, что угроза коснется и ее, и заявила:

— Это Дунька сперла, больше некому!

— Да вы что? — запрочитала Дунька. — Зачем мне сабли-то — капусту, что ли, ими рубить?

— Украла и продала, — сказала Зинка, и подумала: «От греха подальше уходить надо. Сейчас Дуньку смертным боем бить будет. Впрочем, поделом. Ленивая стала, сука».

— А что? — крикнул Семенов. — И то верно: украла и продала. Сучка! Воровка!..

— Вот те крест! — девка размашисто перекрестилась. — Не брала я ничего. Зачем мне?

— Пошла вон из дома! — заревел Семенов и, схватив Дуню за шею, стал толкать к двери.

— Так ее, так! — обрадовалась Зинка. — Воровка... Блядь!.. Шлюха!.. Хахалям своим продала!..

Дунька наконец поняла, что ее выкидывают на улицу, и, теряя голову от страха, крикнула:

— Чего ж вы меня-то такими погаными словами ругаете? Может, это ваш хахаль, вор Лешка Беспалый, и украд? Все же вокруг говорят, что он ваш хахаль...

Наступила тишина. Семенов отпустил Дунькину шею и тихо спросил:

— Повтори, что ты сейчас сказала?

— Я... Я ничего... Это не я, это все вокруг говорят, что у вашей Зинки хахаль — известный вор Лешка Беспалый. Она к нему каждый день бегаёт, как вы на работу-то уходите...

— Кому ты веришь? — истерично закричала Зинка. — Этой бляди?

— Да какая я блядь? Я девка еще!

— А ну цыц! — Семенов повернулся к своей любовнице. — Давай, Зинка, говори о своем Беспалом. И не ври мне. Я таких, как ты, каждый день пачками в расход пускаю!

— И ты в это веришь?

— Я никому не верю! И тебе тоже. Где сабли?

— Да какие сабли? Я их в глаза не видела.

— А Беспалый видел?

— Да как же он мог видеть? Он здесь и не бывал ни разу! — выпалила Зинка и осеклась.

— Ах ты, сука! Я тебя от петли спас, а ты у меня в постели с мужиками е...ся! Вон отсюда!

— Как, Коля... За что?

— Вон!.. Пристрелю!..

— Хорошо, я уйду, но ты, Коля, об этом пожалеешь...

— Ты... Ты мне угрожать? — Семенов сгреб на Зинкиной груди халат и, подтащив ее к двери, открыл и вытолкнул. — Пошла вон, сука! — повернулся к Дуне: — Ищи! Не найдешь — и тебя выкину!

Дуня искала до ночи, перерыла все — не нашла. Пошла докладывать Семенову — тот пил в бывшем кабинете, где он приказал забить штыками хозяина квартиры Афанасия Ружникова. Даже камин разжег. Труба была не чищена, и дым валил в комнату.

— Нетуть нигде...

Семенов посмотрел пьяными глазами на Дуньку.

— Девка, говоришь... Иди сюда...

Зинка, плача, в одном халате и босиком ушла к Лешке Беспалому, где пила водку и, размазывая слезы, кричала:

— Я тебе отомщу! Козел! Чего ты можешь? Только людей убивать! Лучше бы в постели хоть что-нибудь мог — только когда пьяный, и то... У-у-у, сволочь!..

На следующий день к Лешке Беспалому подошел какой-то заросший щетиной солдат и предложил:

— У меня ключики есть от хаты, где твоя краля проживала... Может, возьмем? Там, говорят, добра...

— А что же ты сам-то не подломишь?

— Так мои кореша сейчас кто где — всех за войну растерял.

— А ключи откуда?

— А я у бывшего хозяина, Афанасия Ефремовича, истопником до войны был, вот ключи-то и остались. Да и контуженный я.

— Ну и что ты хочешь за такую сказку?

— У хозяина в доме сейф был. А в сейфе вторая стенка, потайная — он там драгоценности хранил. Раз хозяин не убежал, а убили его, значит, там они. Вот половину того, что в тайнике лежит, мне и отдашь.

— Половину?!

— Хорошо — треть.

— А если их там нет — тогда, получается, тебе ничего?

— Должны быть.

— Ладно, договорились. Будешь стоять на шухере. Я с товарищем работать буду. Там черный ход есть?

— Есть, но у меня от него ключей нет. Утерял на фронте. Только от парадной.

Дома Беспалый спросил у пьяной Зинки:

— Ты знала, что у твоего хахала в доме сейф есть?

— Есть в кабинете, но он ключи с собой носит. Здоровый сейф, говорят, от бывшего хозяина остался.

— Нарисуй мне план квартиры и где сейф стоит. Еще что-нибудь стоящее в доме есть?

— Да ты никак решил квартиру эту обнести? Я тоже хочу участвовать. Там добра море!..

— Ты дома сиди — тебя там знают, а как узнают — донесут и спалимся. Рисуй!..

Выждав, когда Семенов уехал на работу, а Дуня, теперь уже по отчеству Мелентьевна, плавно покачивая широкими бедрами, пошла на рынок, Беспалый с подельником, известным питерским медвежатником по кличке Фока, вошли в парадную, которая была так загажена, что больше походила на помойку. Отданными солдатом ключами открыли дверь и легко пошли по квартире, как будто в ней бывали не раз. Сейф нашли быстро. Вскрыли с трудом —

замок был швейцарский, банковский, но Фока свое дело знал очень хорошо. В сейфе оказалась масса золотых и с бриллиантами колец, часов, браслетов, жемчужных ожерелий. Некоторые были покрыты ржавчиной — от крови. Потайную дверцу тоже вскрыли, но там ничего достойного не оказалось, кроме нескольких фотографий, которые как доказательство прихватили с собой, и довольные покинули квартиру. Фока по своей странной, присущей только ему привычке, уходя, закрыл сейф на замок. Когда в небольшом садике под деревьями встретились с наводчиком-солдатом, то Беспалый со смехом протянул фотографии.

— Уговор дороже денег. Вот все, что было в тайнике. Мне не надо — отдаю. Если хочешь, от себя немного могу добавить. За наводку.

— Уговор есть уговор, — сказал глухо солдат, забирая фотографии. — Ключи верни.

— Э-э, нет, они теперь мои. Может, еще пригодятся. А ты иди, служивый, пока я добрый и, значит, ты цел, — и Беспалый выкинул перед лицом Сергея руку — щелкнула пружина, и появилось жало ножа. — Иди-иди. Впрочем... — вытащил из кармана золотой перстень. — На, продай и выпей... И больше мне на глаза не попадайся...

Леха Беспалый до своего дома не дошел — знаменитый медвежатник Фока в первой же подворотне пырнул его финкой под левую лопатку и, превратившись из медвежатника в «мокрушника», все драгоценности унес с собой.

Николай Семенов приехал вечером домой, Дуня хозяйка накормила, водочки налила и отпросилась прогуляться по вечернему городу. Семенов ее отпустил, но приказал гулять недолго, а сам, когда за Дунькой закрылась дверь, в прекрасном расположении духа достал из кармана несколько колец — сегодняшнюю добычу с убитых им в подвале ЧК женщин — классовых врагов, достал ключ и открыл сейф. То, что он увидел, поразило его; он онемел и даже пошарил руками в сейфе — не сон ли все, что он видит. И, брызгая слюной, заорал матом... Когда Дунька, довольная, что на нее обращают внимание на грязных улицах города,

пришла домой, обезумевший Семенов с криком «Сука!..» ударил ее по голове подвернувшимся под руку тяжелым бронзовым подсвечником. Дунька как-то странно всхлипнула, криво улыбнулась и завалилась на пол. Из головы на ковер потекла темная кровь.

— Сука! Сука!.. — продолжал кричать Семенов, бегая по дому, потом подскочил к лежащей Дуне, пнул сапогом: — Чего разлеглась? Вставай, говори, кто в доме был?

Девушка лежала не двигаясь. Семенов хотел выругаться и вдруг наклонился над Дуней, боязливо потрогал рукой ее голову и отскочил... Он, за какой-то год убивший так много людей, вдруг испугался этой смерти, отбежал к столу, налил себе в стакан водки и махом выпил. Вновь подскочил к мертвой девушке, поглядел и уже медленно пошел в свой кабинет, открыл дверцы сейфа и начал звонить в ЧК.

Прибывшим чекистам Семенов объяснил, что, приехав домой, обнаружил убитую кухарку Дуню и вскрытый сейф, где хранились некоторые важные документы, с которыми он работал на дому по ночам — не успевал на работе из-за большой загруженности. Сотрудники ЧК не просто знали Семенова, но открыто боялись заместителя начальника тюремного отдела — наслышаны были об его жестокости — и никакого дознания не стали проводить, оформив протокол со слов Николая Семенова. Заминка вышла, только когда стали выяснять фамилию убитой. Семенов немного помычал, а потом назвал первую всплывшую в его сознании фамилию убитой им женщины. Так и записали. Труп увезли. Семенов закрылся в доме и стал пить водку. Потом позвонил в ЧК и, выяснив адрес вора Алексея Петрова по кличке Беспалый, вызвал машину с солдатами.

Когда, взломав дверь, солдаты ворвались в комнату Беспалого, они обнаружили пьяную невменяемую Зинку, которая не понимала, что за вопросы ей задают, и, еле ворочая языком, говорила:

— Что, Коля, пришел? Не можешь без меня? — и лезла к Семенову целоваться.

— Где поделник твой, Беспалый? — орал ей в лицо Семенов.

Та ухмылялась криво и продолжала:

— Что, Коля, не можешь без меня?.. — а потом вдруг отчетливо сказала: — Так он же к тебе ушел. Сейф брать... Там, говорят, у тебя золотишка с убитых... море...

Семенов ударил ее в лицо.

— С кем он был?

— Так это... с «мишкой»... я не знаю его. А наводку дал какой-то солдатик. Говорил, что в твоём доме истопником был.

— Какой солдатик? Говори!..

— Да отстань... Откуда я знаю? Я его не видела... Лешка говорил... А ты за мной пришел? Соскучился?.. Хочешь, здесь дам?..

— А Лешка твой где?

— Да свалил, наверное, сука. Как золотом-то у тебя в доме разжился, так и свалил... Вот гад... Ну давай, Коля... забери меня...

Семенов, вне себя от ярости, ударил ее кулаком в лицо и, повернувшись, сказал солдатам:

— Пошли отсюда.

В кузове машины один солдат тихо сказал другому:

— А этот, Семенов-то, испугался, когда пьяная баба про него стала говорить. Узнала она его. Видимо, грабанули у него золото, с убитых снятое?

— А чего не грабануть — вспомни, сколько людей-то в последний месяц в подвал к нему привезли. И где они? Нету! Говорят, там, в подвале-то, такое вытворяется, не приведи господи увидеть. С живых пальцы отрубают, чтобы перстни снять. Тьфу, погань!..

Через три дня, когда завоняло, соседи вызвали милицию, и та нашла Зинку мертвой — застреленной в голову через подушку. Все списали на бандитов. Лешку Беспалого тоже нашли — мертвого. И не искали бы, да Семенов попросил. Драгоценностей при Лешке не было, одни ключи от квартиры Семенова.

«Кто же на квартиру-то навел? — думал по вечерам Семенов, наливая в стакан водку. — Что это за солдатик такой, что в этом доме служил истопником? Истопник-то хромой, одноногий был — сразу бы узнали. Не, тут кто-то чужой на-

вел... — и, сопоставив пропажу оружия графа Сибирцева и драгоценностей из сейфа, вдруг сообразил: — Это же Танькин хахаль, доктор. Как же я забыл, что он жил в этой квартире. Таковую мать! Вот кто за мной охоту устроил! За дядьку неродного и за родного деда решил отомстить?.. Надо его в розыск подавать! Завтра же займусь!» Выпил водки и пошел проверять запоры на дверях. Испугался...

На следующий день по заявлению чекиста Николая Семенова в российский розыск был объявлен белогвардеец, офицер, граф Сибирцев Сергей Владимирович. Особые приметы: высокий, стройный, большие голубые глаза и длинные пальцы. Может представляться доктором, одет в солдатскую шинель. Особо опасен. Вооружен...

В маленьком городке Ораниенбаум на берегу Финского залива Сергей Сибирцев разговаривал с Федором.

— Прошу тебя, сохрани оружие деда и портрет моей матери — это все, что у меня от них осталось. Нет у меня больше никого, кроме моей семьи и тебя с Феклой. И еще одно: спрячься где-нибудь и спрячь Феклу. Думаю, Семенов будет искать не только меня, но и вас и если найдет — убьет. Он убийца! Он боится, и его охраняют, а меня ищут в городе. Мне надо уходить. Но я вернусь, обязательно вернусь и заберу вас с собой.

— Ваше сиятельство, Сергей Владимирович, вы за нас не беспокойтесь. Мы васждемся... — Федор заплакал.

Сергей обнял старика, поцеловал в лоб и ушел, и уже издали слышен был его голос:

— Обязательно дождитесь. Я вернусь!..

Федор крестил уходящего в спину и шептал:

— Вернитесь, барин, живым...

В кармане шинели Сергея лежали свернутая пила Джильи и швейцарский нож — подарок покойного деда.

II

В Кремле шло заседание Исполнительного комитета. Взволнованный Владимир Ленин никак не мог усидеть на

стуле и все подсказывал и перебивал докладчика. Докладчиком был Александр Цюрупа — первый нарком продовольствия РСФСР, и докладывал он о страшном: о том, что без всякой гражданской войны могло привести к краху созданного большевиками государства, — о голоде! Он рассказывал, что в городах нет мяса, молока, масла, но, главное, нет хлеба.

— А хлеб у крестьян есть, но они не хотят его продавать за советские деньги, называя их бумажками. Но и промышленных товаров взамен хлеба мы не можем крестьянам предложить. Заводы стоят. Рабочие бастуют — они требуют хлеба. Замокнутый круг какой-то.

— Товарищи! — закричал Ленин. — Если мы не решим проблему хлеба для рабочих, завтра эти рабочие сметут нашу власть.

— Пусть только попробуют — мы им общероссийский Ленский расстрел устроим, — произнес с угрозой Лев Троцкий.

— А кто будет стрелять, Лев Давидович? Вы? Товарищ Дзержинский? Голодные солдаты? Они и так похожи на мародеров. В Красной армии после объявления мобилизации уже больше миллиона человек, а что-то побед не видно! Они только объедают тех же самых рабочих — потому и пошли, чтобы не умереть с голоду. А если мы их не будем кормить, они нас первых расстреляют! Еще один замкнутый круг, как правильно выразился товарищ Цюрупа. Вы же этой армией руководите, Лев Давидович. Где ваши хваленые победы?

— Будут! Будут, Владимир Ильич. Расстреляем несколько сотен дезертиров, возьмем в заложники семьи не желающих идти воевать — и как миленькие начнут воевать. И побеждать начнут.

— Всё слова, слова, слова, Лев Давидович. Пролетарская революция перешла в новую стадию — мировую революцию, и если нашу русскую революцию задушат — мировая революция уж точно не победит! Ее просто не будет. Сегодня главный враг — это наш, свой, российский кулак-мирод! Товарищ Цюрупа, у вас есть предложения по разрешению этого острейшего, архиважного вопроса?

— Да, Владимир Ильич. Не предложение даже — пример!

— Интересно, мы вас слушаем, Александр Дмитрич. Только, прошу, дельный пример.

— Необходимо начать насильственную реквизицию хлеба у кулаков. А пример: в Орловской губернии большевик Семен Середа, кстати, сам из дворян, создал и возглавил вооруженный продовольственный отряд — разъезжает по своей волости и забирает хлеб у кулаков.

— И что — его не пристрелили?

— Так, Владимир Ильич, он первый стреляет. Часть хлеба оставляет совету для кормления бедноты, и за это они за него горой, а собранный хлеб передает нашему наркомату продовольствия.

— Великолепно! Отлично! Давайте примем сейчас же декрет о введении в стране продовольственной диктатуры и создании продовольственных отрядов по изъятию хлеба у крестьян.

— У кулаков, товарищ Ленин, — поправил Николай Бухарин.

— Нет, у крестьян, имеющих излишки хлеба. Кулак и крестьянин, имеющий излишки хлеба, — это не одно и то же! А для того чтобы иметь поддержку среди неимущих крестьян-пролетариев, надо, как предлагает товарищ Цюрупа, часть хлеба оставлять для их пропитания. И еще одно: необходимо для усиления направить в эти отряды сотрудников ЧК, отличающихся особой непримиримостью к нашим врагам. Феликс Эдмундович, направьте самых лучших. И никакого проявления сочувствия и слабости: либо они нас, либо мы их! Укрывателей хлеба — расстреливать!

— Правильно, Владимир Ильич! — вскочил со своего места Троцкий. — Надо и армию направить.

— Вы, товарищ Троцкий, лучше бы хорошо воевали! А если понадобится и чекисты не будут справляться — тогда и армию направим ... В конце концов, можно создать части особого назначения Красной армии. ЧОН! У, как умно! Как грозно звучит! Так, пишите проект декрета...

— Владимир Ильич, можно в декрете еще добавить: крестьян, в трехдневный срок не сдавших излишки хлеба, необходимо признавать врагами народа и приговаривать революционным судом к десяти годам тюрьмы, а имущество конфисковать...

— Правильно, товарищ Свердлов... Только о каком суде идет речь? У нас нет судов.

— Революционным! И еще — доносчикам отдавать половину реквизируемого хлеба...

— Сколько? А половину не жирно будет, Яков Михайлович?

— Так это же на словах. А так можно и самих доносчиков в тюрьму: не вовремя сообщил или не весь хлеб указал... Главное — натравить крестьян друг на друга. А рабочих на крестьян.

— Какой вы, Яков Михайлович, иногда свержкровожадный.

— Вы же сами, Владимир Ильич, говорите, что революция должна уметь защищаться.

— Ишь ты, как вы на меня-то указали. Хорошо, согласен.

— Владимир Ильич, что мы делаем? Вместо того чтобы предложить крестьянину за его хлеб промышленные товары, мы его насильственно разоряем? Сегодня мы заберем хлеб, а завтра он сеять не будет — нечего ему сеять-то будет. Он тогда за винтовку возьмется, — заговорил Бухарин. — Вы прекрасно знаете, что все эти комитеты бедноты хлеб выращивать не будут. Вспомните недавнюю историю государства и реформы Столыпина: только зажиточный крестьянин смог накормить страну. Надо не изымать хлеб, а вводить продовольственный налог и тогда он будет знать, сколько он должен отдать хлеба, а сколько останется ему...

— Вас послушать, товарищ Бухарин, так вы не большевик, а эсер! Земля крестьянам! Этого вы хотите? Земля должна принадлежать государству! Революция в опасности, и промедление в этом архиважном вопросе смерти подобно. Прекратите, Николай Иванович, ваши либерально-экономические штучки. Мы и без этого знаем, что вы

умный. Но сегодня нужны не умные, а жестокие!.. Всё, давайте голосовать за декрет. Кто «за»?..

III

Схватили Сергея Сибирцева в Тамбовской губернии. Он и не скрывался — шел по скользкой от дождя дороге, когда подъехали трое всадников.

— Стой! Кто таков? Красный? — крикнул с большой бородой, по-видимому, старший.

— Не красный точно. Просто человек.

— Ты зубы-то не заговаривай. Сейчас плеткой съезжу по роже — будешь знать.

— А за что съездишь?

— За то, что ты красная сволочь... Шагай вперед, у нашего начальника рука тяжелая. Эй, руки ему свяжите.

— Да куда он убежит? Чуть что — мигом шашкой.

— Я что сказал! Слезай и свяжи.

Всадник, которому приказали, слез с коня и оказался подростком с лаптями на ногах. Он достал аккуратно свернутый кусок веревки и стал зло и больно связывать Сергею руки, приговаривая:

— Ишь, какие ручки-то холеные. Не крестьянин, сразу видно... Барин, — связал и, толкнув Сибирцева в спину, крикнул: — Давай шагай.

Повели к видневшемуся за голым полем селу. Ноги у Сибирцева на грязи скользили и разъезжались, приходилось останавливаться, чтобы не упасть. Это злило всадников.

— Так, может, и правда не вести — здесь шлепнуть, да и все, — произнес каким-то спокойным, равнодушным голосом третий всадник.

— Можно, конечно, но уж раз повели, то доведем. Там быстро разберутся, кто таков, — ответил старший из всадников.

— Ладно, повели, — так же равнодушно произнес предлагавший убить Сибирцева.

— А по мне бы, так шашкой — и все. И сапоги мне, — крикнул подросток.

— Ишь ты. Да ты хоть представляешь, сопля, как человека-то убить? А туда же, шашкой. Ты ее и в руках-то первый раз держишь. Молчи уж, — сказал мужик с бородой.

По всем улицам села несся женский вой, на окраине стреляли. К стоящей в центре села церкви несли убитых. Сергея ввели в избу, где сидели с винтовками разномастно одетые бородатые люди.

— Вот красного лазутчика поймали, — сказал бородатый крестьянин, толкая Сибирцева в спину.

— А чего привели? Сразу надо было там и кончать, — раздался голос. — Ну подведите! — Сергея толкнули в спину. — Давай рассказывай, кто таков? Только быстро. Говори — и в расход...

— Сибирцев Сергей, врач.

— Врач? Сибирцев? — сидевший на лавке мужчина в офицерской шинели без погон, с бритым лицом, поднялся и, чуть прихрамывая, подошел к Сибирцеву и вдруг расплылся в улыбке. — Э-э... Сергей Дмитриевич, да неужто вы? Точно, вы — повзростели и с бородой. Не узнать. А почему Сибирцев? Вы же Мезенцев. Я помню...

— А вы... Ефим Кольцов? Четырнадцатый год, август, ранение в бедро?.. Прапорщик?

— Так точно. Я тогда зауряд-прапорщиком был. А войну закончил поручиком.

— Надо же, а я штабс-капитаном.

— О, простите, Сергей Дмитриевич, — Кольцов обернулся к сидевшим на лавках крестьянам. — Это, мужики, великий доктор, хирург, он мне жизнь спас в августе четырнадцатого. Я о нем потом много хорошего слышал. Вот дал Бог — свиделись. Садитесь, Сергей Дмитриевич.

— Я сейчас не Дмитриевич — Владимирович.

— Это как?

— Так я же сиротой был, а нашелся родной дед и фамилию настоящую узнал.

— Это хорошо... А мы вот своих односельчан хороним.

— Я слышал плач по деревне. Что случилось, Ефим?

— Большевики продотряды создали и весь хлеб подчитую у крестьян забирают. А для защиты этих продотрядов

создали части особого назначения и тех крестьян, которые сопротивляются, расстреливают, а избы сжигают. У нас тут зверствует совсем мальчишка по фамилии Голоков. Всего пятнадцать годков, от сиськи материнской только оторвался, а уже командует таким вот отрядом. Хуже зверя — руки по локоть в крови. И с ним такой же зверь, чекист Семенов. Кривой! Мы вот собрали отряд — будем их ловить, и как поймаем, казним принародно... Сергей Дмитриевич, вы же хирург, может, посмотрите раненых? Это те, которых они добить не успели — мы помешали.

— Конечно, Ефим... Анисимович... Правильно назвал?

— Ну и память у вас!

— Так вы, Ефим, были моим первым раненым на фронте, поэтому и запомнил.

— Да, повезло мне тогда. Скажите, какая помощь от нас нужна?

— Мне нужна большая чистая изба, большой стол, горячей воды побольше, простыни, ножи, нитки, толстая игла, сапожное шило и пара помощников, чтобы крови не боялись, лучше женщин... Да, еще водки, а лучше крепчайшего самогона... И, если можно, кружку бы мне молока и кусок хлеба.

— Эта изба подойдет? Здесь раньше купец жил, а потом его расстреляли большевики и превратили дом в свой совет... Тьфу! Испоганили!

— Подойдет. Только не плюйтесь...

— Слышали, мужики? Уходите отсюда и скажите женкам, чтобы быстро здесь помыли и принесли все, что доктор просил... И раненых несите сюда...

Сибирцев, со своим опытом военного врача, быстро превратил дом в лазарет: в одной комнате смотрел раненых, в другой делал перевязки и зашивал раны, а в третьей оперировал. Он без усталости, с каким-то упоением, с радостью, счастливый — даже пальцы подрагивали от удовольствия — перевязывал, зашивал раны, удалял осколки, вправлял вывихи, накладывал шины при переломах; все быстро, точно, красиво. Оперировать пришлось двух тяжело раненных. Первым был седой, бородатый, большой и

коренастый крестьянин. Его продотрядовцы били штыками, и из десятка ран на теле текла кровь. От потери крови он был не белый — синий, как покойник, но был спокоен, в сознании, лежал на столе, скрипел зубами, когда Сергей зашивал раны, и только тихо спрашивал:

— Где внук? Где внук?

А Сергей шил, качал головой, приговаривая:

— Ну и повезло — ни одной проникающей раны!

Правая рука у крестьянина висела, как плеть, была пересечена мышца плеча, но нерв был цел, и Сергей сшил мышцу; попробовали — рука сгибалась.

— Недельки три придется левой рукой все делать: и есть, и пахать, — сказал Сергей. — Сможешь?

— Какая уж пахота, барин, всё красные уничтожили. Хлеб, корову, овец забрали, собаку убили, а дом сожгли. Что с внуком?

— А где он?

— Так около дома остался — чекист-то в коже со звездой на шапке из револьвера в него выстрелил.

— Уведите раненого, — попросил помогавших ему женщин Сибирцев, — и если можно, то чаем с сахаром напоите. О каком внуке он говорит?

— Так вроде он мертвый, — тихо сказала одна из женщин. — Сейчас еще раз спрошу, — но договорить не успела: в избу вошел Ефим Кольцов с окровавленным ребенком на руках.

— Живой еще, дышит, — жалостливо сказал Ефим. — Спасите, если можно, Сергей Дмитриевич.

— Положите его на стол, — Сергей стал осматривать мальчика: пуля попала в грудь, сломала ребро. Сергей приложил ухо к груди мальчика, послушал, после сунул неглубоко в рану свой тонкий длинный мизинец и сказал:

— Вот она, прощупывается. Не проникающее. Надо пулю достать... Вытерпит ли?

Мальчик был без сознания, но изредка чуть-чуть тихо стонал. Сергей обжег на горящем самогоне нож, ножницы, проволочную пилу Джильи, которую он достал из кармана, и стал оперировать. Он рассек рану, пилой перепилил

ребро в двух местах, удалил выпиленный кусок и осколки кости и своими длинными пальцами, уцепив пулю, с огромным усилием — испарина выступила на лбу и лице — вытащил пулю из раны. После чего зашил рану нитками. Когда он перенес ребенка на стоящую в углу кровать и вышел из комнаты, то удивленно замер: на него с мукой в глазах смотрели женщины, Ефим Кольцов, несколько крестьян и белый как снег дед ребенка. Никто не курил, никто ничего не говорил, все молчали и смотрели на Сергея.

— Устал! — сказал Сергей. — Но до чего же я доволен. Ефим Анисимович, может, по стопке?

— А-а-а... мальчишка?

— Все хорошо. Можете Богу свечку ставить, — взгляды у всех напряглись. — Не за упокой — за здравие!

— У-у-у!.. — завыл дед. — Живой?.. — и упав на колени, пополз к Сибирцеву. — У-у!.. Живой!.. Барин, я за твое здорovie свечку поставлю...

— Ты бы лучше полежал. Ефим Анисимович, прикажите земляку... Можно в комнату к внуку... И чтобы не вставал. Да налейте ему самогона и пусть отдыхает. А мальчика, как очнется, чаем напоите, горячим и сладким. Есть пока не давайте... Ну-с, Ефим Анисимович, где ваш самогон? И мне бы побриться.

Всех крестьян из избы выгнали, и те с радостью ушли рассказывать, что доктор, которого они чуть не пристрелили, оказался чем-то вроде бога. Женщины стали мыть столы и полы, выносить окровавленные куски материи. Это были настоящие русские женщины, которые пережили в этой жизни все и ничего не боялись. Кроме Бога!

— Вот они, некрасовские женщины, что «коня на скаку остановят, в горящую избу войдут...» — с грустью сказал Сибирцев. — Чем же все это в стране закончится?

— Если мы все вместе не остановим этих Голоковых, то землю русскую точно некому будет пахать. Они не просто убивают, они вызывают у людей жуткий страх. Я такого страха на фронте не встречал, а уж там сами знаете что было. Я на большевиков еще на фронте посмотрелся. Они там что-то в бой не рвались, а здесь стреляют по людям,

как в тире по мишеням. Вот у меня отец — старый человек, прапорщик в отставке, всю жизнь в войнах, никуда не лез, никому не мешал, тихо жил с матерью в своем доме, здесь, недалеко, в Осиновой, и что? Пришли, обоих убили и дом сожгли. Родители что — против власти большевической выступали? Нет. А убили за то, что отец мой когда-то был офицером царским. Так он сам из простых крестьян и до этого первого офицерского звания лямку солдатскую не один десяток лет тянул. Так что мы с вами, Сергей Дмитриевич, у этой власти первые для расстрела! И лучше живыми не попадать — ножами погоны на плечах вырезают. Вот какая ненависть, Сергей Дмитриевич!

— Я, Ефим Анисимович, сейчас Сергей Владимирович. Отец у меня был революционером. Погиб вместе с моей мамой на севере, когда с каторги убежал. Там я сиротой и стал. А во время войны все так переплелось и выяснилось, что по матери я внук генерала и графа Сергея Сибирцева, а второй дед — профессор Петербургского университета Илья Боков.

— Вот ведь как бывает! Удивительно.

— Расскажите лучше, что же здесь произошло и кто эти Голоков и Семенов? И почему он кривой?

— Большевики разезжают по деревням и забирают весь скот и хлеб у крестьян. Вот и у нас в губернии такой отряд объявился. Командует им совсем мальчишка, Голоков Аркадий. Он точно умалишенный — стреляет, вешает, в домах запирает и живьем сжигает... И как его свои же, большевики, не пристрелят? Говорят, ему всего-то пятнадцать лет! Под стать ему чекист Семенов. Такой же изверг... Как такого родители-то могли вырастить? Отряд этот, как войдет в деревню, давай глумиться: баб насилюют, по старикам и детям, как в тире, стреляют: яблоко поставят на голову и палят.

— А почему Семенов кривой?

— Так у него бельмо на одном глазу.

— Он откуда?

— Не знаю, но не из нашей губернии — иначе его родителей давно бы прикончили...

— Ефим, я знаю, кто он! Он убил своего родного отца, убил моих дедов, убил моего фронтового товарища и его сестру, а уж что он творил в Петроградской ЧК — лучше не рассказывать. Он-то мне и нужен. Я его сам, своими руками казню... Я его видел всего один раз, он был с повязкой на лице... Но узнаю. Ты говоришь, что у тебя отряд — возьми меня к себе...

— А вы куда направлялись-то, Сергей... Владимирович?

— Меня в Петрограде ищут. Приказ в ЧК издали. Шел на Дон, к генералу Краснову. Я его хорошо знаю. Вот вроде бы и не мое это дело — воевать, мое — лечить раненых и больных, но тоже понимаю: не остановим эту кровавую гидру — погибнет Россия. Потому и шел...

— Конечно, Сергей Владимирович, не надо бы вам в бой. Но понимаю, что за родных поквитаться вам надо. Оружие я вам дам: свой пистолет — на германской, в пятнадцатом, в штыковой атаке в Августовских лесах завоевал, когда из окружения вырывались... Ох, сколько же тогда наших русских солдат полегло — не счесть! Вы ешьте, ешьте, Сергей Владимирович — всем миром собрали, со всех домов...

— Да чего-то еда в горло не лезет... Пойду я, посмотрю мальчика...

Полсотни бывших солдат и крестьян, вооруженных кто винтовками, кто ружьями, кто на лошадях, кто пешком стали выслеживать отряд Аркадия Голокова. И выследили. В село Красиково продотряд ворвался, как банда разбойников: на лошадях, с гиканьем, со стрельбой. Вынесли весь хлеб у крестьян, согнали коров и овец в один двор. Голоков с Семеновым и крестьянами, помогавшими находить у своих же земляков схроны с хлебом, уселись пьянствовать в доме только что расстрелянной семьи крестьянина-кулака. Стол ломился от еды и бутылей с самогоном. Командир продотряда, коренастый, чубатый, безусый юноша, был столь молод, что наличие у него оружия могло бы вызвать удивление. Но безумный взгляд, речь, похожая на крик

умалишенного, останавливали солдат продотряда от лишних пересудов. Этот безусый командир всякий раз, когда ему казалось, что кто-то не подчиняется его приказам, хватался за револьвер, стрелял вверх и кричал: «Следующая пуля твоя!» Быстро напившись, он становился ужасен: его пьяная бессвязная речь, состоящая в основном из ругательств, вызывала страх. Но подчиненные криво улыбались, подобострастно поддакивали. Не смеяться и не поддакивать мог только Николай Семенов, представитель ЧК в продотряде. Он сидел угрюмый, пил мало. Ему не нравилось, что вокруг села не выставлены дозоры, что бойцы продотряда почти все были пьяны. «Сброд, — думал он. — Если на отряд нападут, нас передушат, как котят. А этот сопляк, блядь, совсем рехнулся от водки... Куда меня послали? Надо отсюда как-то выбираться, пока не пристрелили или этот псих спяну не пристрелил... Сука, опять целится!» Сказал с раздражением:

— Ты бы, товарищ Голоков, револьвер-то убрал. Пальнешь ведь ненароком!

— Что, Колька, боишься? А если и шмальну в тебя, то что с того?.. Скажу, что ты предатель, что нашу советскую власть не любишь... Я по глазам вижу: не любишь ты ее... Может быть, ты и есть главный наш враг. Эти, — показал наганом куда-то за окно, — враги, но их видно и с ними просто: пух — и нету, а ты — нет, ты враг внутренний, самый страшный враг, ты в спину нож воткнешь!..

— Ты на кого это замахиваешься, сопля?.. Я чекист! Понятно?

— Какой ты, к такой матери, чекист — в кожу завернулся, стреляешь крестьян и говоришь, что чекист. Не-е, ты, как и я, — убийца! Мы все убийцы... Молчать! Налейте!.. Где враги?.. Пошли во двор, постреляем... Ведите арестованных, сейчас революционный суд над ними вершить будем.

Пьяный, шатающийся Голоков вышел из избы, сел на ступеньки крыльца и стал рассматривать крестьян, что со связанными за спиной руками стояли перед ним.

— Ну что, кулацкие морды, недобитки, суки, против советской власти выступаете? Когда бьющийся с мировой

буржуазией, с белой конторой пролетариат пухнет с голоду, вы, бляди, спрятали хлеб... Но у нас зоркие глаза и острый нюх и как бы вы ни прятали хлеб, мы его всегда найдем. А вас за сокрытие хлеба я приговариваю революционным судом к высшей мере социальной защиты — к смерти. Ставьте их в ряд...

Это были несколько бородатых, в лаптях, а кто и босиком (сапоги солдаты сняли) крестьян. Они смотрели удивленно и никак не могли понять, за что этот подросток хочет их убить? Да, они спрятали по мешку зерна, но если бы они его не спрятали, их семьи умерли бы с голоду. И теперь вот этот пьяный юнец, которого за такое непотребное для деревни состояние надо было бы отхлестать вожами, вдруг решает — жить им или не жить. И они стояли и никак не могли поверить в происходящее... Голоков поднял револьвер и выстрелил в стоявшего справа крестьянина. Пуля попала тому в живот — крестьянин скрючился, упал на землю и завыл. Голоков выстрелил в него, лежащего, еще три раза — тот затих.

— Раз! — сказал Голоков и поднял револьвер. — Кто следующий? Сами решите, или я посчитаю? — крестьяне в ужасе сдвинулись в кучу. — Ну не надо этого делать. Чего сбились? Это же так просто. Скажем: третий. Кто из вас третий? Никто?.. Тогда ты! — и Голоков показал револьвером на одного из крестьян. — Отойди в сторону, а то я могу попасть в другого врага, а это будет нечестно по отношению к нему. Может быть, он должен быть последним...

На краю села раздались выстрелы и крики.

— Что это? — удивленно спросил Голоков.

— Окружают! — раздался истошный крик. — Белые! Разбегайся!..

— Куда?.. Суки!.. Стоять! Всех расстреляю! — истошно завопил вскочивший Голоков.

А из вечерней темноты появились тени с винтовками и донеслось:

— А-а-а! Бей их!.. Командира ихнего и чекиста не упустите...

Первым сообразил, что делать, один из солдат — он подскочил к коням, привязанным к крыльцу, и, быстро отвязав одного, легко прыгнул в седло.

— Врешь, не уйдешь! — крикнул Голоков и выстрелил в спину всадника. Тот вскинул руки и упал с коня. Голоков подбежал к остановившейся лошади, схватился за гриву и, стараясь сунуть ногу в стремя, волочась, пропал в темноте.

— Сука! — закричал Николай Семенов и, выхватив пистолет, стал стрелять в темноту, откуда неслись крики и надвигались люди с винтовками. Он видел, как от его выстрела схватился за плечо и упал на колени бегущий на него солдат. Что-то в лице этого солдата показалось Семенову очень знакомым: эти большие голубые глаза на бритом лице, этот рост, эта тонкость фигуры, не скрываемая широкой шинелью. Но эта мысль промелькнула в голове Семенова и исчезла, а страх заставил искать спасение. Он еще несколько раз выстрелил туда, в надвигающуюся на него смерть, и побежал к единственной оставшейся, привязанной к перилам крыльца и рвущей повод лошади. Сунул пистолет за пазуху и, отвязав коня, стал залезать в седло. Но ездить он не умел и, вцепившись в седло, повис на лошади, которая рванулась в сторону от надвигавшихся и стрелявших людей и поскакала в темноту, за околицу. Сзади звучали выстрелы. Семенов мертвой хваткой держался за седло и не видел, как раненный им человек стрелял в него из пистолета. Одна пуля сбила фуражку, вторая попала в ягодицу, но Семенов, вскрикнув, удержался, и конь унес его в темноту...

— Эх, Сергей Владимирович, напугали вы меня, когда упали. Всё, думал... — Ефим Кольцов стоял напротив сидевшего на лавке, бледного от потери крови Сергея Сибирцева.

— Повезло — навyleт руку прошла. Вот, перевязали. Это был Семенов. Я его узнал, и я в него попал. Точно!

— Оба, суки, успели удрать. Жаль! Остальных крестьяне убили. Такая злоба к продотрядовцам. Вилами закололи!..

— И что сейчас будет?

— Боюсь, бросят на нас ЧОН.

— Это уже война!

— Да, война. Меня вот мужики избрали своим командиром. Будем создавать настоящий военный отряд и защищать свою землю. Понадобится — в леса уйдем... Вы, Сергей Владимирович, что дальше решили делать? С нами или на Дон, к Краснову?

— Поеду дальше, к Петру Николаевичу...

— Согласен с вами, Сергей Владимирович — надо вам ехать, не по лесам же с нами бегать. Не ваше это дело... Пойдемте, там мужики стол накрыли. Не побрезгуйте с мужиками-то...

— Пойдем, посидим. И от стакана самогона не откажусь. Для обезболивания полезно.

— Да, совсем из головы вылетело. Вот! — Кольцов протянул Сергею пистолет с золоченой рукояткой. Сергей взял и прочитал надпись:

— «Графу Сибирцеву за храбрость от Государя», — и, погладив рукой металл, тихо сказал: — Это моего деда.

Через две недели в район восстания были введены части особого назначения и началась война вооруженной армии против безоружных крестьян. Через полгода восстание было подавлено, а командир восставших крестьян Ефим Анисимович Кольцов повешен.

IV

Сергей Сибирцев этого не знал, он был уже далеко, в Новочеркасске, где в ресторанах играла музыка, красивые женщины гуляли по улицам, а казаки Войска Донского блестили орденами и при ходьбе придерживали рукой шашки. И госпиталь в столице Войска был, и очень хороший: в достатке было бинтов, хирургического инструмента и особых ниток для зашивания ран — всего, чего не хватало на фронте, — с военных царских складов. А вот Добровольческая армия после великого Ледяного похода мало была похожа на боевую армию: офицеры еще куда

ни шло, в форме и сапогах, а солдаты — кто в чем: сапоги, ботинки, лапти, кое-кто, несмотря на осень, ходил босиком. То же самое было и с оружием: винтовки, охотничьи ружья, пики, вилы и топоры. Из всей армии, из этих десяти тысяч голодных, оборванных людей боеспособными были только Корниловский ударный полк, созданный когда-то в семнадцатом погибшим в один день с Корниловым Митрофаном Неженцевым, и Офицерский полк генерал-лейтенанта Маркова. Войско Донское их приняло, обогрело, но воевать вместе не желало.

— Смотри, смотри, Сергей Владимирович, вот территория Всевеликого Войска Донского, — Петр Николаевич Краснов, атаман Войска Донского, в генеральской форме, при орденах, подкрутил усы и показал рукой на висевшую на стене карту. — Что там государства европейские. Тьфу! Посмотри: Новочеркасск, Царицын, Луганск, Донецк! Мы создадим на этой территории Казацкую республику. У нас есть все: леса, степи, реки, у нас самая плодородная земля, у нас есть руды, уголь. И у нас население в сорок миллионов человек. У нас есть все атрибуты государства: печать, флаг, гимн — Краснов красивым тенором пропел: — «Всколыхнулся, взволновался православный тихий Дон...» У нас есть свои деньги, и у нас есть своя Донская армия! Пятьдесят тысяч штыков и сабель, шестьсот пулеметов, сто пятьдесят орудий! Да мы любого разобьем, кто к нам сунется!..

— А что с Добровольческой армией?

— Да пошли они... Нет, мы им помогли, когда они попросили помочь разбить красных. Представляешь Сергей, что у большевиков за армия: мы двадцатью тысячами разбили их стотысячную армию! Ой как они бежали! Мы их догнать не могли... И Деникину я подчиняться не буду. Я Корнилову не подчинялся, а уж Деникину... Нет, нет и нет. И я не Каледин — я стреляться не буду. Тоже мне атаман Войска Донского — полторы сотни сабель всего собрал, чтобы поддержать Добровольческую армию, когда та бежала через степи из Ростова в Новочеркасск. Взял и от позора выстрелил себе в сердце. Нет, конечно, как русский офицер поступил честно, но какой ты к черту донской ата-

ман, если тебя не признает казачество? А все из-за того, что предложил им вместе с Добрармией идти на Москву. А казаки не пошли. И правильно, и я не пойду. На кой нам Москва? Мы и без Москвы хорошо проживем. Вы к нам не суйтесь, и мы вас трогать не будем. Чего же тогда покойный Лавр Георгиевич с Деникиным Юденича-то не поддержали — он бы Петроград-то мигом взял? Так нет же — сами захотели получить лавры победителей. Получили? Вот то-то и оно! И они считают, что я должен им подчиниться? Хрен им! И что у них за армия — толпа оборванцев. Офицеры еще ничего, но солдаты... Лучше бы они мобилизацию не объявляли. Да и как можно назвать армией десять тысяч штыков? Правда, в основном офицеры. Пока они будут отказываться от помощи из-за границы, нормальной армии у них не будет. Пусть берут пример с Колчака в Сибири — тому и американцы, и Антанты помогают. А эти гордые!.. Хуже всего то, что все они хотят воссоздать Россию в ее имперских границах, а народы бывшей империи не хотят! Вот мы, казаки, — не хотим!

— А кто вам, Петр Николаевич, помогает?

— Как это ни прискорбно — немцы!

— Ленину немцы помогли власть захватить, сейчас вам в борьбе с Лениным помогают.

— А им деваться некуда — без нас им на Украине не удержаться, их Петлюра сожрет!

— А что в Европе, на фронте?

— Вот тут, Сергей, все плохо. Ленин, захватив власть, предал Россию и союзников и огромные территории немцам отдал. Самые богатые и плодородные. А война в Европе идет к завершению — во Франции высадились американцы — больше миллиона солдат, и немцы покатались от Парижа. Бегут! В самой Германии голод, забастовки. Вот-вот капитулируют, и где, Сергей, мы, Россия? Почти четыре года войны, миллионы жертв, и что — мы на обочине, в грязной канаве? Только за это надо всех этих Лениных, всех большевиков вешать и расстреливать! Погубили Россию!..

— Так если Германия капитулирует, то кто вам-то, Петр Николаевич, будет помогать?

— Антанта. Весь остальной мир. Они же прекрасно понимают, что если большевиков не остановить, то вся эта зараза с «пролетариями всех стран, объединяйтесь» и у них объявится! А мне хоть с чертом обниматься, лишь бы против большевиков!

— Я, Петр Николаевич, от Петрограда до Дона пешком прошел и скажу вам честно: так просто большевиков задушить не удастся. Это необычайно жестокая и кровавая сила. Везде страх, страх и жертвы, жертвы! Они каленым мечом и огнем выжигают всякое сопротивление. Они реквизируют у крестьян хлеб. А кто сопротивляется — расстреливают...

— Вот-вот, этими зверствами они себе яму и выкопают, против них крестьяне и выступят — единственные, кто старается не участвовать в этой гражданской войне. И крестьяне станут на нашу сторону.

— Боюсь, что далеко не все. Большевики убивают зажиточных крестьян, а часть реквизированного хлеба отдают бедноте, и те готовы за большевиков любому горло перегрызть. Это не христианская, это какая-то дьявольская сила. У нее свои герои: Голоковы и Семеновы.

— Мне так жаль, что Сергей Александрович и Илья Петрович погибли... Но ты молодец, что семью успел в Финляндию увезти... Там все-таки Маннергейм. Он с большевиками драться будет до последнего солдата, а финны драться умеют. Все равно я не пойму, почему держится эта большевистская власть? В Сибири — Колчак, на Волге полковник Каппель, на юге — Деникин, на Дону — мы, в Эстонии Юденич, на севере — американцы, на Востоке — японцы. А держится... Точно — дьявольская власть!

— И все же, что будет, когда немцы проиграют?

— Скажу честно: я уйду из атаманов. Вся моя армия по станицам и хуторам сидит. Как это всегда было в империи. Если война — объявляй круг. Казаки воевать не хотят — навоевались. Тогда придется подчиниться Деникину — за него Антанта. Я уже решил — уйду в Северную армию, в Эстонию... А может, уеду за границу и вместо винтовки возьму ручку и посвящу себя литературе.

— Да, одна написанная вами биография Суворова чего стоит. И «Кзаки в Африке»... Что нового, Петр Николаевич, написали?

— Война, Сергей, мешает, война. Вот по ночам набросал рукопись «Цесаревна» — о молодой Елизавете, дочери Великого Петра. Хочу написать роман о царствовании Екатерины Великой. И конечно, надо описать это время, это ужасное время, в котором мы живем, когда гражданская война, когда брат на брата, когда гибнет Россия...

— Так пишите, Петр Николаевич. Как генерал, как храбрый офицер, как атаман Войска Донского вы уже свой след в истории отечества оставили. Напишите об этом, чтобы потомки помнили!..

— Дай-то бог, может быть, когда-нибудь и напишу... Давай, Сергей, лучше выпьем за твоего деда. Вот предки у тебя! Правда, мои тоже из простых казаков до генералов дослужились. Давай помянем... А просьбу твою насчет Семенова я выполню. У меня неплохая агентура в Москве и Петрограде. Все о нем узнаем, найдем и прикончим.

— Нет, убить его должен я и только я. Если он вернется в Петроград, я поеду туда. И хоть меня там ищут, я все равно поеду! А потом уеду из страны.

— Правильно сделаешь и что сам убьешь, и что уедешь!..

Оперировать Сибирцеву пришлось много, но так недолго...

11 ноября 1918 года Германия капитулировала. Мировая война закончилась. Гражданская война в России переросла в смертельную схватку. Донская армия, лишившись помощи немцев, перешла в подчинение Добровольческой армии. Петр Николаевич Краснов, как и говорил, подал в отставку и поехал в Северную армию. Сергея Сибирцева с ним не было — он уехал в армию Каппеля за две недели до окончания мировой войны. Краснов получил сведения, что в Енисейской губернии появилась часть особого назначения, отличающаяся особой жестокостью к мирному населению и что этой частью командует Аркадий Голоков, а в помощниках у него чекист Николай Семенов. Сибирцев поехал за Урал, в Сибирь.

Прощались с Красновым, как будто понимали — навсегда. Посидели тихо, выпили мало, обнялись, расцеловались, прослезились.

— Найдешь его — убей и уходи от войны, Сережа. Твое дело лечить и спасать. Самое благородное дело... после защиты своей отчизны. Но ты и отчизну защищаешь, и спасаешь людей! Да и где она, наша с тобой отчизна — одни воспоминания... Наверное, больше уже не свидимся. Я тут письмо отписал, — подал конверт. — Владимиру Оскаровичу Каппелю передашь. Блистательный офицер и храбрец. Он поможет найти нашего общего врага. Прощай!

— Прощайте, Петр Николаевич. Все-таки надеюсь, что еще свидимся...

Пробыв несколько месяцев в армии Юденича, Петр Николаевич Краснов уехал за границу и занялся литературным трудом, чем прославил себя в Европе. В 1946 году, вместе с генералом Шкуро и тысячами казаков, осевших в Европе еще с Первой мировой и гражданской войн, из-за предательства англичан был выдан Советскому Союзу. Повешен как враг в 1947 году.

V

Николай Семенов лежал на животе и страдал. Повезло: конь вынес за село, а там красноармейцы, что успели убежать от пуль и топоров крестьян, сбились в небольшой отряд — понимали: за бегство от врага наказание одно — расстрел. Пьяного Голокова кое-как остановили — по лошади распластался, намертво вцепившись в гриву коня. Разжать кулаки не могли, пришлось шашкой гриву резать — так с челкой в руках и сняли остекленевшего от водки, злобы и страха.

Семенов доехал, упал на землю и заплакал — от счастья, что остался жив! Вывозили его до регулярных частей Красной армии животом вниз. В лазарете хирург пулю вытащил, а потом долго раздавался смех сестер — всё заглядывали в палату: посмотрят, приснут и бегут, гого-

чут на весь лазарет. И еще вспоминал лицо бегущего на него с пистолетом солдата. «Где-то я его видел? Где? Где? Где?.. — и наконец вспомнил: — Муж Танькин — Сергей... как его — Мезенцев? Мало ему золота из сейфа. Решил до меня добраться! Мстит за деда! Плохо, что он живой. Значит, и Танька жива. Надо ее найти. Ее и ребенка. А найду, то как с Меркуловым и с этим... профессором поступлю — заложниками, а потом всех к стенке!..» От таких мыслей боль чуть стихала. И еще думал, что надо выбираться — тут, с этим психом Аркашкой, можно только пулю в голову или вилы в бок получить. Надеялся, что теперь, после ранения, поедет домой в Петроград и вернется в свой тюремный отдел ЧК. «Хватит, навоевался! Пусть теперь других посылают. Место-то мое как бы уже не заняли. Всё, домой... Надо по новой богатство наживать, — думал, обнимая подушку и вдруг, как удар: — А вдруг этот доктор где-то рядом, здесь — договорился с врачами и в палату проникнет? Пистолет-то графский, где — обронил?» Опять страх схватил за сердце, захотелось в уборную, да куда там — терпи!

Прошипел в подушку:

— Суки, в какое место попали! А если бы повыше — какую, сразу бы и растерзали там, в деревне.

И опять холодок в животе... Не выдержал, опозорился... Доктор пришел и стал ругаться — повязку испортил. Пришли санитары-солдаты, грубо отмыли, переодели, доктор повязку заменил, погрозил:

— У нас с бинтами туго. Так обосранный и будешь лежать, чекист, — и, заржав, ушел. Семенов крикнуть хотел: ты бы у меня посмеялся в Петрограде. Сука! Подожди, я встану!.. Но промолчал, а потом опять мысли: «Таньку-то он где-то спрятал, я же искал! Где? Везде же искали!.. Сам-то за мной сюда, в Рассею, пошел, а ее спрятал... Подожди... он же яхтами занимался! Он же ее мог в Финляндию увезти... Через залив переплыл — и все. Что там Кронштадт — пьяная матросня. Там искать надо! В Финляндии сейчас красные финны с этим... Маннергеймом воюют. Большевики помогут финнам, и никакой свободной Фин-

ляндии, — и вдруг такая злоба желчью изнутри накати-лась. — Эта сука, Мезенцев, всего меня лишил: и жены, пусть и нелюбимой, и отца, и богатства... Где-то же спря-тал покойный батенька деньги? Были они у него, были!.. Стоп!.. А ведь он мог снюхаться с Русановым и с его доч-кой. У-у-у! Как же я сразу-то не сообразил? Как же я из от-ца-то не выбил все сведения? Как же я с ним поспешил-то? Вот я... Точно, Таньке он все рассказал! Она за ним, змея подлая, тихонько ухаживала, в доверие вошла, он ей все и рассказал, — и как озарение: — А адвокат-то с документа-ми, которого пришлось убрать, он-то их откуда взял? Че-рез Таньку Русанов передал!.. У-у-у!.. Сволочь, батенька! Родного сына ограбил!.. В Петроград надо, в Петроград!.. Чекистам сказать, чтобы искали Таньку и муженька ее... Здесь он где-то, рядом, по кругу, как бешеная собака, ходит... А через Таньку все богатства найду. Пистолет к голо-ве ее выродка приставлю — все расскажет. Деньги найду, и поминай, как звали. В ту же Финляндию уйду, а там дальше весь мир, с деньгами-то!..»

Семенов счастливо уткнулся в подушку и заснул, струй-ка слюны потекла из уголка полуоткрытого рта. А про-снулся как от удара по голове: «Так не Мезенцев же он, а Сибирцев — граф-то об этом кричал! И Танька, значит, Си-бирцева! Вот как ее искать-то надо»,— и уже заснул креп-ким сном, довольный.

Но вернуться на службу в Петроградскую ЧК не при-шло. Его после излечения вызвал начальник ЧК Ларио-нов.

— Ну ты тут и наворотил дел, товарищ Семенов! Ты за-чем Меркулова и его сестру убил? Ну посадил бы для по-рядка, а ты... сука! Тебя бы надо самого расстрелять! — за-орал на него, как только он вошел в кабинет, начальник Петроградской ЧК.

— За что?

— За Меркулова!

— Он же враг! И вы же, товарищ Ларионов, знали о нем и то, что его необходимо расстрелять. Помните, что сказал товарищ Троцкий?

— Троцкий — не Ленин! И ты хочешь сказать, что я дал разрешение на расстрел Меркулова?

— Но вы же сами...

— Что сам? Я тебе отдавал такой письменный приказ?

— Не-е-ет... — пролепетал Семенов. Рана пониже спины заныла.

— Вот именно — нет! Козел ты! Меркулов-то, оказалось, друг товарища Ленина! Понял? Ленина!.. А сейчас товарищ Ленин, оправившись от ранения, ищет этого Меркулова. Тот, оказывается, ему жизнь спас в июле семнадцатого. И знакомы они не первый год. Вместе в эмиграции были. А ты его шлепнул. Я пока об этом молчу, но если до Ильича слух дойдет, что у нас его расстреляли, я тебя прикрывать не буду — сам тебя расстреляю. До Москвы ты не доедешь и до товарища Троцкого не доберешься. Да он тебя защищать не будет, не надейся... Он еврей, а ты нет! Так что ищут тебя. Беги обратно, к этому психу сопливному. Он сейчас, по моим сведениям, в Енисейской губернии, под Красноярском... Вот туда и поезжай, помогай собирать хлеб. Зато сыт. Мы, чекисты, перед этим Голоковым агнцы Божии! У нас революционная необходимость, а у него революционное сумасшествие! Уезжай и не высовывайся! Пошел вон... Бегом отсюда, пока я не передумал!..

Семенов не побежал — заковылял, обиженный, но к заместителю Ларионова, своему начальнику, в кабинет заглянул — кое что из накопленного с квартиры на Большой Посадской притащил: возьмите в подарок! Попросил:

— Товарищ Аладьев, найдите, пожалуйста, Сибирцеву Татьяну Николаевну. Враг она советской власти. Дочь дворянина и промышленника, губителя пролетариев, что столетиями над народом издевался. Жена графа Сибирцева. Поддерживала врагов, стрелявших в товарища Ленина, и убийц товарища Урицкого. Она где-то скрывается. Жила в Ораниенбауме. Возможно, успела перебежать в Финляндию. Найдите, прошу вас. Я в долгу не останусь.

— Трудно, конечно, будет, товарищ Семенов, но мировая революция полыхает по всей Европе и вот-вот пере-

кинется в Америку и Африку; враги никуда не денутся от справедливого меча революции. А долг у нас один, — хохотнул, — революционный. Найдем, ликвидируем.

— Нет-нет, ликвидировать не надо — я очень хочу с ней побеседовать. Будет особенно хорошо, если схватите ее с ребенком...

— С ребенком не обещаю. А зачем она тебе? Если ушла за границу, ну и черт с ней.

— Она виновна в смерти моего отца.

— Тогда да. Думаю, недолго твоя поездка в Сибирь продлится. Стихнет все, уляжется — и возвращайся. Нам такие ценные кадры, как ты, нужны, — а потом, наклонившись к уху Семенова, прошептал: — Начальники-то быстро меняются... Но это между нами.

— Спасибо, товарищ Аладьев.

— Надеюсь, что-нибудь интересное из Сибири привезешь. Там иконы древние у староверов есть. Не забудешь?

— Не забуду.

— Ну тогда место твое постараюсь за тобой сохранить.

Семенов от радости чуть не упал в ноги Аладьеву. Впрочем спохватился.

Перед самым отъездом Аладьев позвонил и сообщил, что на территории Петроградского военного округа найти Татьяну Сибирцеву не удалось. Никаких сведений — как под землю провалилась. Поиски на территории бывшего герцогства Финляндия затруднены из-за постоянных военных действий. Но поиски будут продолжены. Зато есть сведения о графе и царском офицере Сергее Сибирцеве — он находится на территории Войска Донского и служит хирургом в госпитале города Новочеркасска.

«С собой через всю воюющую страну, да с ребенком, он ее не потащил! Значит, все-таки спрятал, и скорее всего в Финляндии», — подумал Семенов и попросил товарища Аладьева еще раз проверить нахождение Сибирцевой в Финляндии. И с надеждой уехал в Енисейскую губернию, в отряд под командованием знакомого ему по Тамбовской губернии Аркадия Голокова.

Не знал он, что и на него сведения из Петроградской ЧК уходили на другую сторону фронта, в Войско Донское, к генералу Краснову.

Первые недели в Сибири Аркадий Голоков как будто осторожничал: не зверствовал, с крестьянами говорил строго, но доброжелательно, наганом не тряс и никого не расстреливал. И не пил! Сказывался испытанный дикий страх от бегства в Тамбовской губернии. Когда приехал Семенов, засмеялся:

— Что, Николай Аристархович, опять к нам? Знай — это я попросил, чтобы представителем ЧК у меня был ты. Недоволен? Что делать? Мы с тобой теперь одной не веревочкой — цепью связаны... А где твой особый, с ручкой золотой, пистолет? Утерял? А может, обронил, когда поперек лошади лежал, убегая от вооруженных вилами крестьян?.. Это они тебе в жопу вилами ткнули, — засмеялся, — когда скакал? Вот смеху-то было... Был кривой, а стал еще и хромой!

— Ты, товарищ Голоков, тоже особо храбростью не отличился в том бою. Как заяц, бежал. Штаны-то по сей день, наверное, сырые?

— Что? Это ты мне, красному командиру? Да я в пятнадцать лет полки на пулеметы водил! Да я тебя сейчас!.. — Голоков полез в кобуру за наганом. — Становись, сука, к стенке!..

— Брось, Аркаша, я тебе не крестьянин и не солдат. Сам выстрелю — ты даже не успеешь свою пукалку из кобуры вытащить. Мне еще спасибо скажут, что тебя прикончил... И крестьяне, и большевики... За тобой больно много подтирать приходится. Ты десять человек убьешь, а сто против нашей власти восстают.

— Ой, а ты-то сколько невинного народа из того пистолетика, что, убегая, потерял, убил? Считать — не пересчитать. Мальчиков-то с яблоками на голове помнишь? Или забыл? В мозги тебе тогда в деревне попали? У тебя мозги в жопе? Запомни: ты подчиняешься мне! Я здесь начальник! Попробуй послушаться — расстреляю!.. Глазом-то единственным на меня не зыркай! Не боюсь. Здесь мое слово

закон! И других законов нет! А сейчас садись и давай выпьем. И не думай отказываться... Мы же с тобой друзья... А, Коля?.. Пей, а то я без тебя здесь соскучился. Выпить и то не с кем...

С первого стакана самогона к Голокову вернулась жестокость. Крестьян опять стреляли, сжигали, вешали.

Самогон вновь быстро объединил Голокова и Семенова, но если Голоков боялся только мести крестьян, то Семенов боялся и своих, чекистов. Он мучился, ожидая, что вот придут за ним и объявят врагом народа за убийство Меркулова. Спать не мог Семенов, потому и пил страшно и весь этот страх вымещал на крестьянах.

VI

— Я рад с вами познакомиться, Сергей Владимирович, — генерал Владимир Оскарович Каппель с улыбкой и явным удовольствием пожимал руку Сергею Сибирцеву. — Я о вас слышал еще на германской. Говорят, что вы спасли жизнь наследнику? Только ни государя, ни его семьи больше нет. Большевики расстреляли всех в Екатеринбурге. И спасти не успели... Или не захотели... Что привело вас к нам? Вы же прибыли из Войска Донского, от Петра Николаевича Краснова. Юг на север поменяли? Там слишком жарко?

— Да, не холодно! Война там идет нешуточная.

— Здесь, поверьте, тоже. Так все же, что?

— В Енисейской губернии действуют против местного населения части особого назначения Красной армии. Одной из них командует некий Аркадий Голоков.

— Я об этом подростке-изувере наслышан. Сволочь!

— Я с этим Голоковым уже сталкивался там, в России... Но меня интересует представитель ЧК в этом отряде, Николай Семенов...

— Хромой!

— Почему хромой?

— Так при ходьбе хромает на обе ноги, как будто ему кол в ж... вставили... Простите...

— А-а, понятно — это после ранения. Я все-таки в него попал. Он убил моего деда.

— Сергей Александрович убит? Извините, не знал. Один из лучших генералов императорской армии. Какое горе!

— Да, его расстрелял Семенов. И второго моего деда, профессора Петербургского университета Илью Петровича Бокова убил, и своего отца насмерть заморозил...

— О господи! Изувер!

— Я поклялся на могиле деда, что я его найду и убью. Там, в России, не удалось. Вот приехал сюда. Поможете?

— Безусловно. Я разведке дам задание и все узнаю. Но у меня к вам просьба: пока ищут эту мразь, полечите наших раненых?

— С превеликим удовольствием!

— Вот и прекрасно. Как нам вас не хватает. Пойдемте, я познакомлю вас с нашей медициной. У нас врачей нет, только фельдшеры и сестры милосердия.

Омск был так необыкновенно быстро, почти без боя сдан наступающей армии Тухачевского, что тридцать тысяч солдат Белой армии оказались окруженными в городе и сдались. И госпиталь, где хирургом служил Сергей Сибирцев, был захвачен красными. Солдаты с красными полосками на шапках вошли и стали стрелять и добивать штыками раненых и больных.

— Ах ты, сволочь! — крикнул на одного из стрелявших Сибирцев и с размаху ударил по лицу. Солдат упал.

— Бей его, гада! — закричал другой солдат и ударил Сибирцева прикладом винтовки в лицо. Из раны хлынула кровь и залила белый халат.

— Ты чего? Он же доктор, — закричал один из раненых. Его тут же добила штыком. А Сибирцева повалили и стали бить сапогами. И забили бы, но раздался грозный крик:

— Прекратить! — какой-то человек в шинели и фуражке со звездочкой стал расталкивать солдат. — Разойдись! Прекратить избиение! — показал на лежащего окровавленного Сибирцева: — Это кто?

— Доктор, кажись! Петьку ударил, сука, в лицо. Добить надо.

— А за что ударил?

— Как за что? За то, что в белых стрелял.

— Твой Петька в раненых стрелял. Понятно? В раненых.

— Это, товарищ командир, враги. И доктор враг. А вы его защищаете!

— Разойтись! — приказал тот, кого назвали командиром. Солдаты недовольно расходились. Командир подошел к поднявшемуся с пола окровавленному Сибирцеву. — Идите, доктор, умойтесь. Что вы хотите — это солдаты, они воюют и ненавидят своих врагов.

— Заметно, — проговорил Сергей и пошел в свой кабинет; следом вошел и красный командир. Сибирцев снял халат и обмыл из рукомойника лицо. Раны были небольшими: синяки и ссадины, и Сергей, морщась, обработал их йодом.

— Я вас, доктор, охранять не собираюсь, — сказал человек в шинели и фуражке. — Не надейтесь. Просто на австрийском фронте один доктор мне жизнь спас, поэтому и уважаю вашего брата. Но думаю, что вас, как и остальных офицеров, а вы офицер — вон, даже погоны капитанские не сняли, расстреляют. Советую: одевайтесь теплей, сейчас за вами придут и отведут в тюрьму. Дай бог, чтобы не убили по дороге, — красный командир вышел из кабинета. «В окно выпрыгнуть?» — быстро прикинул Сергей. Поглядел в окно. По двору бегали солдаты. У стены расстреливали перевязанных раненых. Понял: не уйти — пристрелят. Спрятал нож — подарок деда и пилу Джильи, а зачем — сам не знал. В кабинет вошел солдат с винтовкой.

— Ты, что ли, доктор? Пошли!

Вели через город, на улицах в снегу лежали трупы, по поганам офицеры. Все без шинелей и сапог. В морозной дымке звучали выстрелы. Где-то злобно стучал пулемет — отстреливались? Выстрелы в ответ... Замолчал... Тюрьма была переполнена — все избитые. В камере сидели, прижавшись друг к другу, чтобы не замерзнуть, люди в военной

форме, лежали поближе к окну те, кто уже не мог сидеть, а у самого окна, навалом, трупы, чтобы не так сильно воняло смертью. Но запах был такой стойкий, что некоторые не выдерживали и падали в обморок. Солдат не было — все офицеры. И все понимали, что с ними будет. Сергей сразу протиснулся к раненым и стал из полос разорванных нательных рубах накладывать повязки на раны.

Офицеры ругались:

— Как же так произошло, что тридцать тысяч солдат не смогли оказать сопротивление красным?

— Нас просто предали.

— Но мы-то, где были? Почему Каппель нас сдал? Где Колчак?

— Александр Васильевич в своей любви к жене своего же подчиненного бросил на произвол судьбы и нас, и Каппеля.

— Да наплевать ему на всех нас!

— Как вы так можете, господа? Это же Верховный правитель России!

— Где она, Россия? Сейчас Омск сдали, потом Красноярск, и пошло-поехало, вдоль железной дороги на Иркутск и до Владивостока. И без остановки.

— Да-да. И пешком. Дорога-то чехами занята.

— Так они же против большевиков.

— Ага. Завтра им прикажут Колчака выдать большевикам — они, не задумываясь, его выдадут. Им война не нужна, они домой хотят.

— Что же с нами будет?

— Да прекратите вы! Понятно же что. Молитесь.

— Я не хочу умирать!

— Чего проще — покайтесь перед красными, и, может быть, они вас простят.

— Винтовку в руки дадут и предложат в нас стрелять. Не бойтесь — стреляйте.

— Как вы так можете?

— Значит, могу...

Уводили из камеры по одному. Те, кого уводили, уже не возвращались. Со двора слышались команды и выстрелы. Не хотевшего умирать молоденького прапорщика вызва-

ли, и он тоже не вернулся. Когда выкрикнули: «Кто здесь доктор? Выходи!» — Сибирцев встал и вышел из камеры.

Долго не допрашивали и не били — и так было видно по лицу, что досталось крепко. Записали, как назвался: Мезенцев Сергей, врач, хирург, офицер, в Белой армии добровольно. Сказали устало и зло: «Достаточно... Расстрел... Увести... Давайте следующего».

В темном коридоре проходивший мимо человек в длинной кавалерийской шинели и шапке внимательно посмотрел на Сергея и вдруг воскликнул:

— Доктор, Сергей Дмитриевич, это вы?

— Да, — повернулся и машинально ответил Сибирцев.

— Я Семен Винокур. Вы мне жизнь спасли на германской. Я еще вам пилку подарил...

— А... вспомнил. Ранение в спину?

— Точно, Сергей Дмитриевич.

— Товарищ командир, мне надо арестованного во двор отвести, — запричитал солдат. — Там его того... Приказ у меня...

— Вот, — Винокур показал на дверь, — мой кабинет. Я с арестованным побеседую, а ты стой здесь у двери и никого не пускай. Понятно?

— Понятно.

— Проходите, Сергей Дмитриевич, — Винокур открыл дверь и пропустил впереди себя Сибирцева. Небольшой кабинет, с маленьким зарешеченным окном, стол, два стула — всё. — Присаживайтесь, Сергей Дмитриевич. Хотите чаю? У меня и сахар есть.

Сергей сел на стул и с удовольствием вытянул ноги. Хозяин кабинета налил в стакан чай и пододвинул блюдце с ломтиком хлеба и маленьким кусочком сахара.

— Пейте, Сергей Дмитриевич.

Сергей отхлебнул теплый чай и скривился разбитыми губами.

— Досталось? Что поделаешь — война.

— Вы... товарищ Винокур, здесь кто? Я помню, вы все на фронт вернуться хотели и спрашивали, сможете ли воевать? Не навоевались?

— Нет, Сергей Дмитриевич, не навоевался. Нравится мне. Я командир части особого назначения Красной армии.

— А-а!.. ЧОН, — сказал Сергей. И отодвинул стакан.

— Что такое, Сергей Дмитриевич? Неужели с нами сталкивались? Мы с врачами не воюем.

— Правильно. Вы воюете с мирным населением. С крестьянами.

— А как вы хотите, если революция в смертельной опасности, если в городах дети умирают с голоду, а кулаки хлеб прячут?

— Так если бы только с кулаками воевали, а простые-то крестьяне в чем виноваты, что эти ваши товарищи из продотрядов их живьем сжигают или стреляют по ним, как в тире?

Винокур насупился, потом тихо произнес:

— Не спорю, есть перегибы. Скажите, Сергей Дмитриевич: почему вы здесь, в Сибири?

— Надо мне одну сволочь найти и прикончить. Тогда моя война закончится.

— Боюсь, что ваша война уже закончилась. Вас ведь на расстрел вели.

— Я это понял. Жаль, не достал гада.

— Что же такое сделал этот человек, чтобы доктор взялся за оружие?

— Он убил моего деда. Он убил моих друзей. Он убил своего отца. Он убивал людей в Петрограде, служа в ЧК, расстреливал, вешал, жег невинных крестьян, их жен и детей в Тамбовской губернии.

— Так уж и невинных крестьян? Женщин и детей — это, конечно, зря. Как зовут вашего врага?

— Николай Семенов.

— Стоп! — Винокур порылся в бумагах на столе, выгнул одну, пробежал глазами. — Сергей... Сергей Дмитриевич, вам не знакома фамилия Сибирцев?

— Это моя фамилия. Я же сирота. А вот нашелся дед и стал я не Мезенцевым, а Сибирцевым.

— Графом?

— Графом.

— Да-а!.. Плохо дело... На вас объявлен розыск, как на отъявленного врага народа, бандита, убийцу. Вот написано: может представляться доктором. Хирургом... По возможности взять живым и под усиленной охраной доставить в Петроградскую ЧК... Вот так, Сергей... э-э... Сибирцев. Переиграл вас Семенов.

— Семенов сейчас в Енисейской губернии в продотряде под командованием Аркадия Голокова.

— Вот как? Вот о ком вы сейчас говорили. Этот юнец уже на всю страну прославился своими зверствами. Тогда понятно, почему у него твой Семенов.

— Теперь он ваш.

— Скажите: вы кому-нибудь в тюрьме называли свою новую фамилию?

— Нет. Меня записали как Мезенцев Сергей. Даже отчество не спрашивали.

— То, что не спрашивали, понятно. Вы мне, Сергей Дмитриевич, тогда, на фронте, жизнь спасли. А я не люблю быть должником. Я сейчас вызову машину, и вы со мной поедете в губернскую ЧК, — Сергей произвольно дернулся. Винокур заметил и улыбнулся. — В здание вы пройдете со мной, там я посажу вас в коридоре и уйду. Если кто-нибудь будет спрашивать, к кому вы, отвечайте: «Я товарища Винокура жду. У него мой брат служит». Я минут через двадцать — полчаса из ЧК уйду. Даже если мимо вас проходить буду, не обращайтесь. А затем уходите. На выходе никто никаких документов не спрашивает...

— Спасибо, но я на могиле деда клятву дал, что отомщу. И пока я Семенова не прикончу или он меня, мне дороги с войны нет.

— А как прикончите, так все — хватит?

— Да. Пойду лечить людей.

— Ладно. Я пообещал долг отдать — отдам. Поехали.

Все произошло так, как сказал Винокур: Сергея как арестованного по приказу Винокура вывели из тюрьмы и посадили в машину. При входе в ЧК Винокур объявил сол-

дату, который явно его знал, что «этот товарищ со мной», провел Сибирцева в здание, посадил в коридоре на стул, а сам ушел. Через полчаса Винокур прошел мимо Сергея к выходу. И когда Сергея спросили:

— Вам кого, товарищ?

Он, не задумываясь, ответил:

— Так товарища Винокура. Он просил, чтобы я его подождал здесь.

— Так он уже уехал. Странно, что разминулись. Он, наверное, у себя, в тюрьме. Знаете, где тюрьма?

— Да. Тогда я пойду, а то он опять куда-нибудь убежит. Вот занятой человек.

— А он вам зачем?

— Так у него мой брат в особой части служит.

— Тогда понятно. Идите, товарищ.

Сергей вышел на крыльцо, где стоял знакомый часовой и грустно сказал:

— Ну и служба у вас... Ждал-ждал, а оказывается, он уже ушел. Пойду искать.

— Да у нас все такие быстрые — карающий меч революции! Проходи, товарищ, не мешай!..

Когда из Омска информация о захвате и непонятном побеге Сергея Мезенцева дошла до Красноярской ЧК и об этом узнал Семенов, он отправил по спецсвязи в Москву срочную радиограмму о предательстве. Была назначена специальная комиссия, которая выявила, что разыскиваемый Сибирцев, он же Мезенцев, убежал с помощью командира одной из частей особого назначения Красной армии Семена Винокура. Винокур был арестован, доставлен в Красноярск и приговорен к расстрелу. Расстреливать попросился Семенов.

— Ну что, предатель трудового народа, проданся врагам? Сколько же тебе Сибирцев отвалил, что ты его от расстрела спас? Ты думал, что мы не узнаем? — кричал в лицо Винокуру Семенов. — Врешь! Твой водитель — честный товарищ, все рассказал. Правда, признаюсь — под пытками. Так что догоняйте его, господин Винокур. А Мезенцева-Сибирцева мы обязательно поймаем.

— Нет, не поймашь. Слабак ты против него — он тебя быстрее убьет! И правильно сделает. Ты трудовому народу враг!..

VII

Бронислав Зиневиц, генерал Белой армии, герой мировой войны, Георгиевский кавалер, с легкостью предал армию Каппеля, сдав меньшевикам Красноярск, которые передали его большевикам. Каппель, не защитив столицу Сибири Омск, отходил к Красноярску в надежде спасти свою армию от наступающей армии Тухачевского, от голода, от лютых сорокоградусных морозов — запасы продовольствия, теплой одежды, снарядов, патронов были в Красноярске. Он так надеялся и верил герою Белого движения Зиневицу... а Зиневиц предал! И обессиленная армия, не сумев взять город, потеряв при штурме тысячи солдат, покатила к Канску, к железной дороге, забитой на всем протяжении, аж до Владивостока, вагонами с пленными чехами.

Большевики один раз, в семнадцатом, сделали глупость: потребовали от чехов сдать оружие — и получили мятеж. На этот раз сами предложили: катитесь из России к чертовой матери при полном вооружении — и сразу же прекратились военные действия, да еще Антанта решила больше не поддерживать Белое движение и позволила арестовать Верховного правителя России Александра Колчака. Участь Белой армии была предрешена.

Бежавший из Омска Сергей Сибирцев вновь оказался в армии Каппеля. Он знал свою цель — Красноярск! Но армия Каппеля, не сумев взять штурмом город, пошла на восток, к Иркутску, и теперь Сергей не знал, что делать: уходить с армией или возвращаться и попробовать попасть в Красноярск?

Сергей спал, прикрывшись полушубком, на охалке жесткого прошлогоднего сена. Он смертельно устал, но сон его был прерывист, как у человека, который выложил из себя все силы, чтобы что-то совершить, но так и не смог

этого сделать. И сейчас, в этом прерывистом сне, он все-таки достигал своего врага и всаживал пулю за пулей в его тело...

— Проснитесь, Сергей Владимирович, проснитесь! — Сергей все никак не мог отодвинуть от себя сладость картины смерти Семенова и открыл глаза только тогда, когда трясший его за плечо штабс-капитан крикнул: — Беда у нас, Сергей Владимирович! С командующим беда!..

— Что? Как? — вздернулся Сибирцев и тупо посмотрел на адъютанта командующего. — О чем вы?

— Ждут вас... Пойдемте...

— Да скажете вы наконец, что случилось?

— Владимир Оскарович ноги обморозил. Под лед провалился и обморозил.

— Все равно не понял...

— Так не переоделся и поехал дальше...

— О господи! — Сибирцев натянул сапоги и накиннул полушубок. — Да как это возможно? А вы-то почему посмотрели?

— Вы же знаете командующего...

В избе было жарко и от нагретой печи, и от дыхания столпившихся вокруг кровати офицеров. Все расступились, когда вошел Сибирцев, и он прошел к лежащему на кровати Каппелю. Командующий был бледен, на лице выступила обильная испарина, ноги были прикрыты шинелью. Каппель вымученно улыбнулся и тихо сказал:

— Ваше сиятельство, Сергей Владимирович, перед вами самый глупый больной в вашей практике.

— Ваше превосходительство, попросите, чтобы все вышли из комнаты.

— Прошу вас, господа, выйдите, — тихо прошептал Каппель и обратился к своему заместителю генералу Войцеховскому. — Все, кроме вас, Сергей Николаевич.

Сибирцев дождался ухода офицеров и с щемящей тоской в сердце, уже понимая, что он увидит, откинул шинель и непроизвольно воскликнул:

— Как же вы так, Владимир Оскарович? — Пальцы стоп Каппеля были черными!..

— Что? Все плохо? — закашлялся Каппель.

— Плохо, Владимир Оскарович. Гангрена.

— Это смерть! — хрипло прошептал Каппель.

— Надо ампутировать ноги.

— Нет и нет! Не дам! Какой я командующий без ног?

Лучше пулю в лоб. Не позволю!

— Владимир Оскарович, знаете ли вы такого летчика — Александра Северского...

— Что-то я о нем слышал...

— Он без ноги, с протезом, самолетом управлял и немецкие самолеты сбивал.

— То самолет, а то армия.

— Вот именно, самолет!.. Владимир Оскарович, ваше превосходительство, надо делать операцию. Самое плохое — без обезболивания.

— О господи! За что такая мука?!

— Вы, Владимир Оскарович, сильный человек. Надо!

— Хорошо. И до куда вы мне их отрежете?

— Надо до середины голени.

— Не дам!

— Тогда обе стопы.

— Хорошо. Только стопы. Я буду смотреть. А спирта дадите? — вдруг как-то жалобно попросил Каппель.

— Дам, — сказал Сибирцев и подумал: «Хорошо, что у меня пила Джилль есть».

Владимиру Оскаровичу Каппелю, генерал-лейтенанту, командующему армией, в деревенской избе, без обезболивания, на простом деревянном столе хирург Сергей Сибирцев ампутировал обе ступни. Командующий попросил его не связывать, выпил стакан спирта и всю операцию был в сознании, держась побелевшими от напряжения руками за края стола. Сибирцев, когда командующего перенесли со стола на кровать, сказал:

— Все хорошо, Владимир Оскарович. Отдыхайте. Поверьте, я много оперировал таких больных. Но столь мужественных не встречал, — и с тревогой подумал: «Плохо, что легкие застужены...»

Каппель запретил армии останавливаться.

— Остановка — это смерть для армии, — через кашель, хрипел он своему заместителю Сергею Николаевичу Войцеховскому. — Как можно быстрее вперед, к Иркутску. Там Колчак... Да и замерзнет армия.

Мороз стоял за пятьдесят. И уже на следующий день после ампутации командующего положили в сани и армия пошла дальше на восток.

Через два дня у Каппеля поднялась температура, он время от времени терял сознание, потом приходил в себя и отдавал приказы. На четвертый день остановились в какой-то избе; командующий приказал собраться офицерам и стал прощаться. Командование передал Войцеховскому. Когда очередь дошла до Сибирцева, Каппель улыбнулся и тихо сказал:

— Вы, Сергей Владимирович, уходите. Найдите того изверга, убейте и уходите. Ваше дело людей лечить... Спасибо вам за спасенные солдатские жизни. Будьте счастливы...

Владимир Оскарович Каппель, генерал, которого уважали даже враги, умер, и армия не стала его хоронить в мерзлой сибирской земле, а при форме, орденах, шашке повезла с собой на восток, за границу бывшей Российской империи, только чтобы не отдавать его тело на поругание большевикам...

VIII

Двое стояли, потом крепко обнялись.

— Прощайте, Сергей Владимирович. Даст бог, свидимся! — новый командующий, генерал Войцеховский, крепко пожал руку Сибирцеву.

— Прощайте, Сергей Николаевич...

Остатки армии с телом своего командующего уходили по скрипящему снегу и растаяли в морозном тумане. Солдаты уходили туда, к горизонту, к низко сидящему в морозном тумане багровому солнцу. Человек в шинели стоял и смотрел вслед исчезнувшей армии, потом повернулся и пошел назад по проторенной тысячами ног зимней дороге.

Он шел назад, чтобы исполнить клятву, данную им безвинно убитым людям.

Чем ближе к Красноярску, тем чаще встречались сани, запряженные в белых от морозного инея, низкорослых лошадей. Кто-то подвозил идущего в солдатской шинели человека, а кто-то отказывал — проезжал мимо. Один такой посмотрел и поехал дальше, а потом остановил лошадь, подождал и, когда Сибирцев поравнялся с санями, сказал:

— Садитесь, ваше благородие, господин доктор.

Сергей внимательно смотрел на бородатого мужика.

— Что, не признали? — мужик снял шапку. Стала видна кожаная шапочка, охватывающая голову. — Не вспомнили? Колокольцев я, Иван. В четырнадцатом вы мне жизнь спасли, когда мне череп-то раскроило. А я вас, Сергей Дмитриевич, сразу признал. Да и как не признать — на всю жизнь запомнил.

— Вспомнил. Иван. Сибиряк. Мать одна в деревне.

— Ну и память у вас, Сергей Дмитриевич. Да вы садитесь. В город?

— Да, Иван, в город. Только так, скрытно. Поможешь?

— Не сумлевайтесь, ваше благородие. Мы люди понятливые. У меня домик рядом с городом. Один я. Мать-то померла в прошлом году. А жениться — куда нам с такой-то головой. Мозг-то под кожей так и прыгает. Самому страшно. А вы-то здесь как? Или тайна? Нельзя говорить?

— Поехали, Ваня, по дороге расскажу...

Красноярск успокаивался. Так, постреливали. Большевики, получив власть, обратились к находившимся в городе частям Белой армии с предложением перейти на сторону красных. Всем гарантировали свободу выбора: кто не хочет — сможет идти домой, но оружие придется сдать, всем, кто поможет отбить атаки армии Каппеля, было обещано вознаграждение... продуктами. К солдатам обратился генерал Белой армии Зиневич и призвал прекратить бессмысленное сопротивление, рассказал, что сдан без боя Омск и никого там не расстреливают, а отпускают домой, что отступающие части армии Каппеля, если войдут в город, начнут грабить, уничтожать мирное

население и... заставят их идти с собой на восток. Солдаты на восток идти не хотели — дом-то был здесь, в Енисейской губернии. Куда идти? Нет! Красноярск отстояли. Зиневича, как предателя, казнили свои, каппелевцы. Никто по нему не плакал. Большевики первыми расправились с подарившими им город меньшевиками — поставили к стенке... За ними последовали солдаты, которые отказались участвовать в боях с каппелевцами. Остальным было предложено: либо вступаете в ряды Красной армии и идете бить белых, либо пойдете вслед за отказавшимися — патронов на складах в Красноярске хватит на всех. И всего-то надо нацепить полоску красной материи на шапку — и ты красноармеец. Особо не бунтовали, поняли: с этой новой властью лучше не шутить. Кто мог, кто поближе — сибирский, по ночам бежали из города. Тюрьма была переполнена — решили освободить: расстреляли всех арестованных.

Отряд Голокова вернулся с набега на окрестные деревни. Хлеба у зажиточных сибиряков оказалось много, но отдавать, как и везде, не хотели. Пришлось забирать с боем, расстреливать непонятливых. Везли в город, на железнодорожную станцию обозами. И лошадей, на которых крестьяне под дулом нагана привозили зерно, тоже реквизировали — Красной армии нужнее. С воем, пешком уходили мужики из города.

Продотрядовцы отдыхали, веселились, пили, баб тискали. Когда к Голокову пришел начальник охраны города и потребовал прекратить разгул, тот его послал и пригрозил, что если еще раз появится и будет погаными словами поносить славных борцов с кулачеством, то может и головой поплатиться.

— Мои стрелять умеют! Уж поверь! — сказал на прощание. — А лучше садись с нами. Выпей!

— Сопляк ты и сволочь! — в сердцах сказал начальник и, плюнув под ноги Голокова, ушел.

У Семенова после разгрома армии Каппеля страх прошел: стал меньше пить, из отряда Голокова отлучаться в

город, в ЧК — по делам и уже лелеял мысль: может, оставят в Красноярском ЧК, а там и обратно в Петроград? «Хватит с меня по лесам да по морозу бегать». О Сибирцеве не вспоминал: пусть спасся из Омска, ушел с каппелевцами, все равно никуда не денется — найдем. Шел довольный, сердце грел новый полушубок — снял с богатого крестьянина. Тот сопротивлялся — пришлось пристрелить.

На обросшего щетиной солдата в шинели и старых сапогах никто внимания и не обращал. То, что мимо ЧК прошел несколько раз, так это такая организация: захочешь, да не минуешь.

Семенов шел в губернскую ЧК. Почему он обернулся? Посмотреть на идущего за ним солдата? И вдруг увидел его глаза — большие, голубые, жесткие глаза. Солдат вытащил руку из кармана шинели — блеснул пистолет — и нажал на курок. Раздался щелчок. Семенов почувствовал, как горячая струя полилась в его галифе. Он развернулся и с криком «А-а-а!» — побежал к зданию ЧК, а идущий сзади солдат нажимал и нажимал на курок — осечка, осечка, осечка... Когда Семенов уже добежал до крыльца, где с плеча неуклюже снимал винтовку часовой, раздался выстрел и Семенов упал. Часовой, не прицеливаясь, выстрелил в солдата с пистолетом — промазал! Испугался, упал на крыльцо и, с трудом передергивая замерзший затвор винтовки, стал стрелять. Так, не целясь, от страха! Из здания выскочили двое в гимнастерках, с револьверами и тоже стали стрелять. Солдат с пистолетом побежал назад вдоль здания, сапоги скользили — пули цвикали по кирпичной стенке дома и, отскакивая, пробивали шинель.

— Быстрей, быстрей, Сергей Дмитриевич, прыгайте! — крикнул со стоявших за сугробом саней мужик в тулупе. — Быстрей! — и плетку поднял, чтобы стегнуть лошадь.

Сибирцев упал в сани, повернулся лицом назад и стал нажимать на курок. Дважды пистолет выстрелил, и один из стрелявших упал с крыльца.

— Я его убил! Иван, я его убил! — закричал Сибирцев в спину хлеставшему лошадь вознице. — Все, Ваня, я его убил.

Лошадь понесла, Иван Колокольцев бил и бил ее кнутом и кричал:

— Ну давай, ну, милая, ну выноси! — и вдруг захрипел, начал заваливаться набок и упал с саней. Мертвые руки отпустили вожжи, шапка свалилась, и стали видны окровавленное лицо и кожаная шапочка, охватывающая голову. А лошадь бежала и бежала, сама выбирая повороты, все дальше и дальше, к одной ей известному маленькому домику, хозяин которого уже никогда не погладит ее и не даст вкусного сена. Выстрелы были уже не слышны. Лошадь встала. Сергей снял шапку и заплакал...

Семенову повезло: единственная попавшая в него пуля пробила красивый белый полушубок и только чиркнула по боку. Семенова затащили в здание ЧК и стали раздевать. Гимнастерка была в крови — задрали кверху и начали смеяться: раны не было — так, царапина. Налили в кружку воды и плеснули в лицо. Он очнулся, и все вокруг стали гоготать. Солдат-часовой свистнул залиvisto:

— Вот это да! Повезло-то как! Нашему-то пуля в руку попала, а этой суке хоть бы что — чиркнуло только!

Прибежавший начальник ЧК криком разогнал всех по местам и склонился над Семеновым.

— Семенов, а ты чего тут разлегся? Я тебя жду. Точнее, не я, а товарищ из Петрограда. Чем от тебя воняет?.. Я не знаю зачем, но не помню, чтобы за человеком через всю страну приехали... в наши-то каторжные места, а ты тут... пахнешь нехорошо, — и вдруг залиvisto засмеялся: — Да ты никак обосрался!

Когда Николая Семенова срочно отозвали из отряда Аркадия Голокова в Петроград и без объяснений, забрав оружие, посадили в сопровождении вооруженного чекиста на поезд из Красноярка, он решил, что все — везут на расстрел за смерть Меркулова, и даже подумал бежать, но струсил: «Куда бежать? К белым? Расстреляют! Пусть будет, что будет! Я честно исполнял свой долг... Может, не расстреляют?» И остался. Сидел тихо, не пил и даже в уборную унизительно и жалобно отпрашивался. Сопровождавший чекист на вопросы ничего вразу-

мительного не мог ответить, а может, не хотел, сказал только:

— Ты не беги, я стреляю хорошо. На фронте немцу, как белке, в глаз попадал.

— Да я понимаю, товарищ... — чуть не заплакал Семенов.

А рядом, в том же поезде, только в другом, в переполненном, больше похожем на предназначенный для перевозки скота вагоне ехал Сергей Сибирцев, уверенный, что он убил Семенова, пусть одним выстрелом, но убил... И радостно думал, что наконец-то всё!.. Домой, к семье!..

Поезд прибыл в Петроград, где на вокзале Семенова встретили два чекиста и повезли на Гороховую улицу. У Семенова мелькнула мысль: «Не в Петропавловку...» Знал: если туда — значит, сразу к кирпичной стенке. Сам много раз там, в подвалах или на берегу Кронверкской протоки, расстреливал разную мразь — врагов революции. Приехали и повели не в подвал, а на третий этаж, в кабинет нового начальника Петроградской ЧК Федора Аладьева. «Может, и не на расстрел? — подумал Семенов радостно. — Все таки Аладьев».

А Аладьев, увидев бледного, трясущегося Семенова, понял, что тот сейчас думает, и, засмеявшись, сказал:

— Боишься? Правильно! Мы тебя, товарищ Семенов, отозвали из Енисейской губернии, где ты отличился в борьбе с кулаками и другими врагами советской власти. ВЧК за это награждает тебя почетным оружием, — Аладьев взял со стола и протянул Николаю Семенову револьвер с латунной табличкой на рукоятке. Семенов посмотрел на выгравированную надпись «Товарищу Семенову за беспощадную борьбу с врагами советской власти» и, вытянувшись, заикаясь, сказал:

— Служу трудовому народу!

— Правильно, товарищ Семенов. Рази этим оружием врагов! А теперь главное: в Петрограде окопалось множество бывших дворян. Мы знаем тебя, Николай Аристархович, как непримиримого и бесстрашного борца с классовыми врагами. У тебя нюх на всю эту дворянскую мразь. Поста-

новлением Совета народных комиссаров закрыт Александровский лицей, но по нашим сведениям, все эти дворяне, что в разное время закончили этот рассадник зла, создали подпольную монархическую организацию для борьбы с советской властью. Об этой организации рассказал на допросе один из бывших лицеистов. Он думал этим спасти свою поганую дворянскую душонку, но мы его, конечно, отправили к его предкам. А вот подпольной организацией заняться надо серьезно. Запомни, товарищ Семенов: если ее нет, то она должна быть! Этого класса угнетателей не должно остаться на земле! Да и сам должен понимать, как о нашей работе судят в Москве. Чем больше раскроем контрреволюционных заговоров, чем больше расстреляем врагов революции, тем о нас лучше думают в Москве. Этого бывший-то наш с тобой руководитель не особо понимал, за что и поплатился. Расстреляли его, Николай Аристархович. Да и не жалко. Враг он... Вот тебе, товарищ Семенов, папка со списком лицеистов. Документы о создании комиссии, штатную численность и обязанности ты подготовишь сам. Ты парень грамотный. Работай! Докладывать мне лично каждые три дня. Бывший кабинет вновь твой. Иди.

— Можно один вопрос, товарищ Аладьев?

— Говори.

— А... это... что по Меркулову?..

— А-а! Спи пока спокойно. Владимир Ильич больше о нем не вспоминает, и надеюсь, не вспомнит... Работай, не отвлекайся. На тебя возложена очень важная задача. Понятно?..

— Да. Еще один вопрос можно, товарищ Аладьев?

— Много их у тебя? Давай, но только быстро.

— А что с моей просьбой?

— Какой?

— По... Сибирцевой Татьяне?

— А... Ищем, но пока никаких результатов. Сам понимаешь — война.

— Разрешите идти.

— Иди, товарищ Семенов. И с делом не затягивай. Очень это важное дело.

Семенов взял папку и, неловко повернувшись, прихрамывая, вышел из кабинета. Прошел в свой бывший кабинет, сел за стол и положил перед собой папку, на белой картонке которой была жирная надпись «Дело № 194Б. «Союз верных»». Раскрыл — в папке лежали несколько листов бумаги, где под номерами были напечатаны 150 фамилий. Под первым номером значилась фамилия Голицына Николая Дмитриевича, 1850 года рождения, князя, бывшего председателя правительства Российской империи. Под вторым — его сына, Голицына Николая Николаевича, князя, подполковника царской армии. А дальше — Владимир Шильдер, директор Александровского лицея, его сын Михаил, его жена Анна Михайловна, и еще дальше в списке что ни фамилия, то князь, граф, барон, и за каждым знаменитый русский дворянский род и учеба в Царскосельском или Александровском лицее. Семенов взял ручку, обмакнул в чернильницу и дописал в список лицеистов: «Сергей Сибирцев, граф», потом дописал ниже: «Татьяна Сибирцева, графиня, жена». Взял чистый лист бумаги и написал большими буквами: «Дело лицеистов», на другом листе стал писать постановление Петроградской ЧК на арест всех членов несуществующей контрреволюционной монархической организации «Союз верных».

Карательная машина ЧК работала без сбоев.

IX

По маленькой, темной, грязной, а когда-то самой известной, самой богатой улице столицы империи — Сергиевской шел человек в солдатской шинели; человек обогнул дворника, шаркавшего по заснеженной брусчатке старой ивовой метлой, и вдруг остановился, посмотрел внимательно на дворника и тихо спросил:

— Николай Дмитриевич, вы?

Дворник как-то странно сжался, как будто ждал удара, и боязливо посмотрел на человека в шинели.

— Извините, вы ошиблись.

— Николай Дмитриевич, это я, Сергей Сибирцев, хирург, товарищ вашего сына Николая.

Дворник еще раз робко взглянул, прищурился подслеповато, а потом радостно улыбнулся:

— Как я рад вас видеть, Сергей. Может быть, хотите увидеть Колю? Он здесь.

— Где здесь?

— Да вот в своем доме и живем. Правда, в подвале флигеля и в одной комнате.

— Но почему вы здесь? Почему не уехали?

— Из-за Коли. Он заболел тифом, и пришлось остаться.

— А что это за работа? Вы что — дворник?

— Что делать, Сергей, жить-то на что-то надо.

— Я могу увидеть Николая?

— Конечно, если вы не стесняетесь нашей нищеты.

— Что вы, Николай Дмитриевич, я вообще бездомный.

— А Сергей Александрович?

— Он погиб.

— Извините, Сергей... пойдете.

Полутемная сырая комната в полуподвале когда-то своего, одного из богатейших домов столицы империи и была тем «углом», в котором проживал князь Голицын с инвалидом-сыном. В комнате была одна кровать, топчан, стол и два стула. И небольшая печь. Николай Голицын лежал на кровати, прикрывшись старым дырявым одеялом и сверху для тепла шинелью.

— Коля, посмотри, кто к нам пришел, — сказал жалобным голосом Николай Дмитриевич. Николай вяло повернул лицо к вошедшему. Даже в полумраке было видно, как он худ и бледен. — Неужели не узнаешь? Это же Сергей Сибирцев.

— Кто? Сергей? — приподнялся на кровати Голицын.

— Да, Николай, это я.

— Сергей! — Голицын отбросил одеяло и сел. Стала видна худоба тела. — Откуда ты? Что ты здесь делаешь? Почему ты не там? — махнул в сторону маленького окна рукой. — Наши все там, — и тихо-тихо, со слезой, склонив голову, произнес: — Кроме нас.

— Ты неправ, Николай, — сказал Голицын-отец. — А семья Шильдеров? — повернулся к Сергею. — Шильдер — это директор лицея. Да и немало в городе старых лицеистов.

— Ах, отец, прекрати! Когда братья предлагали, надо было бежать, а сейчас...

— Как же я мог? Ты же был болен.

— Лучше бы я тогда умер.

— А где ваши остальные сыновья, Николай Дмитриевич? — спросил Сибирцев.

— Они все за границей. Во Франции, — тихо, озираясь, как будто боясь, что услышат, ответил Голицын.

— И вы работаете...

— Хотите сказать — дворником? И не только. Я еще и сапожник, и летом охраняю огороды. Князь-сапожник. Боже! И боимся, что вот-вот придут за нами... Да что я? Я свое отжил. Что будет с Николаем? Чай будете, Сергей? Расскажите, как вы?

— Деда убили. Друзей убили. Воевал в Белой армии.

— И вы вернулись сюда? Вас же арестуют?

— Меня уже несколько раз приговаривали к смертной казни, а я, как видите, жив. Я за зверем, что убил моего деда и друзей, по всей стране гонялся, под Тамбовом ранил, а в Сибири нашел и пристрелил. Он здешний чекист. Вот отомстил, вернулся сюда и собираюсь перебежать в Финляндию. Там у меня семья: жена с сыном.

— Молодец, Сергей! — сказал Голицын-младший.

— А хотите, побежали со мной?

— Как это? — спросил Николай Дмитриевич.

— А так же, как я свою семью перевез, через Финский залив, только не на яхте, а на буере. Лед еще крепкий. От Стрельны, ночью... Корабли же в город из Европы не ходят, вот канала во льду и нет. Придется, правда, за два раза. Согласны?

— Когда? — подскочил на кровати Николай.

— Вот съезжу в Стрельну. Мне надо буер найти. Там они всегда хранились. И думаю, через день-два уйдем.

— Я боюсь, — сказал Николай Дмитриевич. — Сергей, спасите моего сына.

— О чем ты, папа? Надо бежать! Как хорошо, что ты, Сергей, появился. А то, признаюсь честно, меня донимает мысль о смерти...

— Коля, прекрати!

— Прекратил, папа. Я с этой минуты самый счастливый человек на земле.

— Тогда до послезавтра.

— А чай?

— Чай, надеюсь, попьем в Финляндии.

— Сергей, мы тебя ждем!.. — сказал радостно Николай и протянул руку.

— Я вас провожу, — сказал старый князь.

— Не надо, Николай Дмитриевич. В вашем доме наверняка, как везде, одни большевики с пролетариями живут, а они строго и зорко следят и друг за другом, и особенно за классовыми врагами.

Из полуподвала флигеля красивого дома на Сергиевской улице приехавшие чекисты вытащили последнего председателя правительства русской империи, князя, старика Николая Дмитриевича Голицына и его сына, бывшего блистательного и смелого подполковника императорской гвардии, одноногого инвалида Николая Голицына и, толкая прикладами и штыками, погрузили в машину и повезли в Петропавловскую крепость, где ЧК по примеру ненавистного им же самодержавия организовала свою тюрьму, из которой был один выход — к стенке со стороны Кронверкской протоки, как раз напротив места, где когда-то повесили декабристов.

Операция по аресту была проведена молниеносно. За несколько дней были арестованы все оставшиеся, не убежавшие из города старые и больные, не сумевшие и не успевшие убежать, поверившие в эту власть ныне безвластные люди. И это было такое счастье для Семенова: лицо его светилось от радости и от того, что он жив, что вырвался из этого сумасшедшего ада пьянки и убийств во время службы в продотряде, что он вновь начальник, может принимать решения, приказывать и подчиненные ему люди беспрекос-

ловно исполняют его приказы. Здесь убийства казались ему каким-то успокоительным лекарством для его израненной от страха души. Он даже не приказывал бить и насиловать арестованных — они были такими старыми, что кое-как ходили, и, что всех удивляло, почти все, не скрываясь, с гордость рассказывали о своей прошлой жизни, перечисляя свои титулы и награды, своих предков, которыми явно гордились. И особенно они все без исключения гордились тем, что окончили Лицей, в котором учился «сам Пушкин». Семенов плохо помнил, а многие из палачей не знали, кто такой Пушкин и когда эти старики разъяснили, что это великий русский поэт, первый выпускник Лицея, друг декабристов и был уважаем императором Николаем Первым, дворянин, то испытали к этому уже давно умершему Пушкину такую же ненависть, как и к этим бывшим дворянам, классовым врагам. Молодых — детей, внуков — среди арестованных почти не было. Они либо погибли на войне, либо воевали с большевиками в Белой армии.

Николай Семенов сам в этот раз не стрелял — он наконец-то чувствовал себя начальником. Он иногда слушал, что рассказывают арестованные, но если вначале эти рассказы его забавляли, то потом стали навевать скуку, и он раздраженно махал рукой: «Хватит. В расход его, к стенке!» — и ставил крестик напротив фамилии еще живого, но уже мертвого человека. И не важно было, мужчина это или женщина, совсем старый человек или еще довольно молодой. Он отмечал в своем длинном списке фамилии арестованных и казненных «лицеистов», и все. Но когда очередь дошла до князей Голицыных, не удержался — вспомнил о Сибирцеве, сироте, в одночасье ставшем графом. Вспомнил — и бешенство и ненависть ударили в голову, и он вытащил револьвер...

Отец и сын стояли у красной кирпичной стены. А недалеке зияла огромная яма, наполовину заполненная трупами. Они не виделись с того дня, как их арестовали: их содержали в разных камерах, таков был приказ — родственников вместе не сажать. Отец поддерживал одноногого сына и плакал.

— Неужели Сергей оказался предателем? — прошептал Николай-сын.

— Не может этого быть, он же граф Сибирцев. Нет. Мне на допросе сказали, что нас выдал Владимир Шильдер.

— На него это похоже. Хорошо, что Сергей не виноват. Я знаю, он за нас отомстит. Найдёт вот этого кривого и отомстит.

— Я так виноват перед тобой. Прости меня, — сказал отец.

— Ну что ты папа. Это ты меня прости, что я заболел. Это моя вина.

— Я тебя так люблю.

— И я тебя, папа...

Раздался залп.

Сергей Сибирцев, довольный, что нашел нужный буер, с хорошим парусом, способный выдержать двух человек, шел к дому Голицыных. Еще и радостно подумал: «Может и троих выдержать. Тогда сегодня ночью все сразу. Сейчас заберу Голицыных и вывезу за город к Федору». Что-то остановило его: из подвала флигеля, где жили отец и сын Голицыны, выкидывали старый матрас, подушку и рваное одеяло.

— Чего тут случилось-то? — окая, спросил Сергей какую-то бабу с корзинкой.

— Так заселяются новые...

— А куда же старые-то делись?

— Так забрали их в чеку.

— Пошто так? Не बारे же, раз в подвале жили?

— Говорят, как раз самые что ни есть बारे. То ли графья, то ли князя. Скрывались! Вот их и нашли. Старик да сын-инвалид без ноги. По земле обоих волокли, да ружьями, ружьями по ним — всё в кровище. Инвалид-то все ругался! А один, начальник, хромой, как даст ему револьвером в морду — у-у-у, страх-то какой.

— А почему хромой?

— Так он как уточка переваливался, будто ему кол в ж... засунули.

— А какой он из себя?

— Да какой? Кожа черная да звезда красная на такой же кожаной шапке. Да еще бельмо на глазу...

Сергей зашатался от горя и предчувствия и тихо и хрипло спросил:

— А как звали-то этого, в коже?

— Да кто его знает? Только к нему все по имени-отчеству. Отчество такое красивое, русское...

— Не Николай Аристархович? — со страхом и надеждой, что это не так, спросил Сергей.

— Точно! Аристархович! А ты, солдат, че — знаешь его?

— Встречались, — тихо сказал Сибирцев и, пошатываясь, пошел со двора.

За отлично проведенную операцию по выявлению врагов революции — расстрел 150 монархистов-лицеистов — Семенов вызвали к руководству Петроградской ЧК, прицепили к гимнастерке орден Боевого Красного Знамени и зачитали приказ о назначении его начальником тюремного отдела.

Семенов был горд! И еще радость вызвал принесенный дежурным листок бумаги с приклеенными полосками телеграфа. Для других людей ничего не говорящие буквы сливались в слова, такие нужные, такие необходимые Семенову. В ней говорилось, что, по полученным сведениям, Татьяна Сибирцева живет в поселке Перя-Куоккала, в доме 24, и что, к сожалению, в настоящее время эта территория временно занята белофиннами. Семенов тотчас хотел вызвать нужных ему людей и отдать приказ о поимке Татьяны, что не составило бы для чекистов особого труда — помогли бы воюющие за советскую власть финны, но благодушно решил: «Завтра, завтра. Никуда она уже от меня не денется. Сегодня — праздник! Вон кричат, ждут... надо идти. Завтра, все завтра».

На работе хорошо отмечали, начальство хвалило, выпивали, искренне радовались подчиненные, и сейчас, довольный и пьяный, он приехал к себе домой на Большую Посадскую улицу. Водитель, он же охранник, вошел пер-

вым в парадную, проверил — нет ли посторонних, открыл дверь квартиры, прошелся по комнатам и, попрощавшись с Семеновым, удалился.

Семенов вошел в свою заваленную наворованными вещами квартиру, подумал: «Пора и хозяйкой обзавестись, а то зарос пылью — мыши уже бегают, — но вспомнил Зинку с Дуней, скривился, как от зубной боли. — Опять таких же сук?» Снял кожаную куртку, погладил с любовью блестящий на гимнастерке орден, прошел к столу, где с ночи стояла початая бутылка водки и закуска, налил полный стакан и, повернувшись к большому зеркалу, поднял стакан и сказал своему отражению:

— За вас, Николай Аристархович, новый начальник тюремного отдела, орденосец! А хорошо орден смотрится! — Начал пить и вдруг поперхнулся водкой и закашлялся — стакан выпал из руки и разбился. За спиной, в отражении зеркала, стоял Сергей Сибирцев.

— И-и... что? Убьешь? — повернувшись к Сибирцеву, спросил дрожащим голосом Семенов. В штанах, как тогда в Красноярске, опять стало сыро.

— Да, убью!

— Ну стреляй! Чего ждешь?

— Одно хочу узнать — где отец и сын Голицыны?

Семенов вдруг засмеялся:

— На том свете они! И Танька твоя там же, и выродок твой!

— А вот это ты врешь! До них твои кровавые руки не дотянутся!

— Дотянутся. В Финляндии они, в Перя-Куоккала. Только я смогу приказ об их расстреле отменить! Если меня убьешь — их убьют, а из города ты не выйдешь. Я чекист, начальник тюремного отдела. Видишь, какой орден получил! Самый главный орден республики! Убьешь — тебя со всеми собаками искать будут и найдут. Я тебе больше скажу: мы знали, что Голицыны должны были бежать со Стрельны на этой... лодке с лыжами. Отец-то, старик, бывший премьер царский, по доброте душевной о побеге рассказал директору лица Шильдеру, а того даже пытать не пришлось — все

выложил, как к нам привезли. Голицыны — те да, сильные оказались, ничего не признали, так обоих в одну яму в Петропавловке и положили. Не стреляй — я тебе дам золото, камни... все, что хочешь, отдам, и катись ты к своей Таньке. Я не трону ни тебя, ни ее. Клянусь! Я тебя через границу с легкостью проведу!.. Договорились?

— Нет! — Сергей поднял пистолет и нажал на курок. Осечки не было — пуля попала в плачущий от страха глаз и отбросила Семенова в зеркало, разбив его!

— Тварь! — сказал Сергей и тихо вышел из квартиры через черный ход.

Часть пятая

Каторжник

I

Два побега, и оба неудачные. Первый Сергей Сибирцев совершил еще в Петрограде, в двадцатом, из знаменитой тюрьмы Кресты. Точнее, когда везли из Крестов на Гороховую улицу, в Петроградскую ЧК, где высокое чекистское начальство захотело воочию посмотреть на человека, который убил, как они до этого считали, одного из лучших их сотрудников — Николая Семенова. А когда разобрались, кто да что, то оказалось, что оба уже не один год гонялись друг за другом, чтобы убить один другого. По всей стране! И знакомы, оказалось, были с дореволюционных, еще до империалистической войны времен. С доисторических времен!

Поплотнее покопались в подноготной Семенова и ахнули: сотрудник-то был самый что ни есть скрытый враг народа! Не зря, значит, его Троцкий так ценил. Выяснилось, что Семенов родного отца, богача и фабриканта, из-за денег морил голодом, а потом зимой приковал цепью в сарае и заморозил насмерть как классового врага. И срок каторжный получил, да февральская революция освободила. Она, буржуазная революция, многие чуждые пролетариям социальные и уголовные элементы освободила. Оказалось, что этот Семенов опять же врал в анкетах, что никогда не был женат, а сам был женат на дворянке Татьяне Русановой, у которой тоже были заводы и большие капиталы. Спустил их, правда, на баб да на водку, но ведь не на революционное дело. Выяснилось это случайно — нашли протокол одного из допросов Семенова. А само уголовное дело оказалось наполовину уничтоженным.

Стали проверять, кто ж его в ЧК подсунул и меч карающий, революционный в руки дал? Оказалось, Настя Биценко! Эта сука, подружка эсерок Фаньки Каплан, что в Ленина, сволочь, стреляла, и Машки Спиридоновой, такой же продажной шлюхи и эсерки.

А когда в квартиру на Большой Посадской вошли, ахнули: картины, ковры, хрусталь, вазы, меха, в сейфе жемчуг, камешки, валюта. Да он, сука, готовился удрать! Может, правильно его этот граф пристрелил?.. Вот и решили на Сибирцева посмотреть, перед тем как расстрелять.

На листочек с приклеенными полосками телеграфной ленты, что лежал на столе в кабинете убитого Семенова, новый начальник тюремного отдела посмотрел, прочитал — какая-то чушь... Какая-то Татьяна? Наверное, свою блядь разыскивал, используя агентуру ЧК. У тюремного начальства свои задачи. Ищут и ловят пусть другие — наше дело пытать да расстреливать! И бумажку выкинул.

Когда на одной из улиц заглох мотор машины, а охранник, простой деревенский паренек, не удержался, открыл дверь деревянного ящика для перевозки арестованных, в котором сидел и охранял арестанта, и крикнул водителю: «Что там?» — Сибирцев ему длинными тонкими пальцами под ребра ударил, тот без сознания упал, а Сергей ключи у солдата вытащил, разделяющую решетку открыл и убежал по подворотням.

Петроград — город сквозных, темных, сырых и страшных подворотен да дворов-колодцев. И никто и никогда никакой власти помогать ловить беглого не будет. Скорее, наоборот. Во все времена.

Поймали Сибирцева у реки Сестры, на бывшей границе с Финляндией. Хотел-то на буере из Стрельны по льду через залив, да их все сожгли чекисты, когда обнаружили. И пешком бы прошел, но канал между городом и Кронштадтом кораблем пробили. Поймавшие его красноармейцы, на удивление, не били — так, помяли и обратно отправили в Петроград, в народную милицию. Хорошо, что оружия при себе не было. Наградной пистолет деда Сергей оставил у

Федора. Попросил сохранить и ждать, когда он вернется за ними. Сказал, обнимая на прощание:

— Вы только меня дождитесь. Я, как в Финляндию перейду и лето наступит, тихонечко на яхте за вами и приплыву.

— Ваше сиятельство, мы вас каждый день ждем. Вот, возьмите хлеб на дорогу. Сама испекла. Ржаной, как барин любил, — говорила плачущая Фекла, протягивая узелок. — За барыней-то ухаживайте. Хорошая она у вас...

На допросах прикидывался простачком.

— Кто таков? Фамилия, имя, отчество, — строго спросил милиционер.

— Так Мезенцев я, Сергей Дмитриевич, доктор по нескромным болезням, — этим сразу всех и рассмешил.

— А чего бежал? В России что, бляди, перевелись?

— А где они? Клиентура вся убежала, вот без дохода и работы и остался.

— А ты, значит, за ними? — смеялись милиционеры.

— А как не побежишь — жрать-то в городе нечего, а там, говорят, о-о-о!..

— Ну ты даешь: доктор — и жрать нечего! Наверное, ты совсем уж никудышный доктор...

— Дворянин? — строго спросили.

— Кто, я? Не-е, не из дворян. Я с севера, с Архангельской губернии. Сирота.

— На германской воевал?

— А кто на ней не воевал. Куда денешься — всех забирали.

— Офицер, значит?

— Не-е, не офицер. Какой уж офицер, если ниже некуда — зауряд-врач! Академию-то не окончил. Ну и в нынешнюю, признаюсь честно, тоже служил. Немного. Сами же знаете, всех забирали, не спрашивали, хошь — не хошь, чуть что — сразу к стенке. Сам не-е, — перекрестился, — не стрелял, лечил всех, и наших, и ваших... Заболел потом тифом и комиссовали.

— Ишь пальчики-то у тебя какие длинные да тонкие. Видать, и вправду доктор... по нехорошим болезням.

Поверили. В ЧК не сообщали — а что сообщать? Таких беглецов каждый день... Суда не было — его вообще в новой стране не было; где-то кто-то решение принял быстро: три года лагерей. Повезли в Архангельскую губернию — лес рубить. Предупредили: убежишь — поймаем и еще пять лет добавим! Убежал бы, да все как-то не получалось. Три года старательно рубил лес, а когда срок вышел и заикнулся об освобождении, то оказалось, просьбу высказал не вовремя — великий Ильич умер, страна в трауре. Что-то нехорошее по поводу всего этого сказал — и опять срок, но уже как врагу народа — десять лет. Тогда совершил побег. Второй. Поймали с собаками и отправили в Печорский край, где стал добывать для молодой республики так необходимый ей уголь. В голой тундре, в пустом, гиблом месте с названием Мульда. А недалеко был еще такой же поселок зэковский Воркута, а еще дальше на север — совсем уж страшное место Хальмер-Ю, что в переводе с самоедского языка — Долина смерти.

Несколько тысяч зэков ломami и кирками вгрызались в промерзшую, твердую, как камень, землю — рыли широкую, как улица, шахту вглубь земли, туда, где когда-то, еще в царские времена, геологи нашли залежи каменного угля. Никто тогда и не думал его добывать: понимали, что в такое место и на такой труд даже каторжников посылать нельзя! Не выдержат! У новой власти каторги не было — были лагеря, и никто жалеть врагов народа не собирался. Стране нужен был уголь — заводы стояли, люди с голода умирали! И зэки умирали сотнями и тысячами — привозили новых. Всех бывших офицеров царской и Белой армий, всех дворян, всех инакомыслящих, всех попов, всех профессоров и прочую интеллигентскую сволочь свозили в лагерь. Так пусть радуются, что не к стенке!

Сибирцева поставили киркой рубить уголь — слишком худой для тачки. Часть зэков отправили на строительство железной дороги в поселок Воркута. Сергей махал киркой и все думал, как бы сбежать, даже про себя смеялся: «Вот она, кровь-то родительская, отцовская, где проявилась: тоже на каторге, и тоже бежать!»

В последние два дня рядом махал киркой такой же худой, заросший бородой ээк. Работал, как все: махнул — отдохнул, махнул — отдохнул. Известное дело — самый рабский труд у ээков. У заключенного на одной ноге был сапог, а на другой дырявый ботинок.

— Ты ногу-то отморозишь, — сказал, останавливаясь, Сергей. — Посматривай по сторонам, как кто упал и умер, пока не унесли, обувь снимай. Здесь все так делают. Пока до погоста донесут, мертвый голым остается. Все до последней рваной тряпки снимут. Ему-то все равно... Скоро зима. Когда в лагерь ведут, ешь ягоду, иначе от цинги загниешься.

— А у меня мерзнуть нечему — ноги-то нет, — ответил ээк и тяжело опустил кирку. Сибирцев положил руку на плечо:

— Дай-ка я на тебя взгляну! — посмотрел в лицо и уже обрадованно: — Северский? Александр Николаевич? Ты-то как сюда попал?

— Э-э?! Доктор! Сибирцев!.. Сергей Владимирович.

— Тсс! Я здесь Мезенцев Сергей Дмитриевич. Сибирцеву здесь быть не положено — его место в раю, — мужчины бросили кирки и обнялись.

Ближе к ночи, в бараке, улеглись рядом на нары и стали шептаться.

— Саша, ты как сюда попал? Я думал, ты давно за границей.

— Мне в сентябре семнадцатого Временное правительство предложило стать атташе по делам военно-морского флота в русском посольстве в Северо-Американских штатах. А я, дурак, отказался. Драться с немцами хотел. После октябрьского переворота, сам знаешь, Россия из войны вышла, немцы стали друзьями у большевистской сволочи. Скитался, ни за белых, ни за красных не воевал. Да и на чем воевать? Самолетов-то нет. Бумага о командировке в Америку у меня при себе была. Вся в печатях. Неразбериха. Подумал, чем черт не шутит, и рванул с этой бумагой во Владивосток. И почти доехал: проверяют — бумагу показываю, красным говорю, что от Ленина, белым, что от пусть и бывшего, но Временного правительства. И сходило

все! А в Сибири под Читой придрался какой-то чекист, и повели на расстрел. И расстреляли бы, да один матросик увидел мой протез и спрашивает: «А ты не летчик? Не с Балтики?» — «Да, — отвечаю, — с Балтики. Морская авиация». Тот как закричит: «Братва! Да это же самый знаменитый летчик у нас на Балтфлоте во время германской! Он без ноги столько немцев сбил! У-у-у! А сколько наших матросских жизней спас, когда немец на своих кораблях в Моонзунд вошел. Начальник, нельзя его расстреливать!» В общем, не расстреляли. Отправили в Новониколаевск. Я по дороге сбежал. Да куда убежишь с протезом! Поймали. И уже в лагерь, на Урал, а сейчас вот сюда. Помирать... Ну, а ты-то, Сергей, как здесь очутился?

— История длинная. Я же граф Сибирцев. Обоих дедов моих чекисты убили. Друга моего отца и его сестру тоже. Деда жены сожгли в собственном доме. И все это сделал один человек. Да какой там человек — зверь. Он и своего отца зверски умертвил — цепью приковал на морозе и оставил.

— О господи! Он умалишенный?! — приглушенно вскрикнул Северский.

— Я свою жену и жену друга с детьми успел переправить на яхте через залив в Финляндию. А деда не успел — убил его Семенов. Ну и решил найти эту сволочь и поквитаться за всех. Он в Петроградской ЧК служил. Зверь! Его потом в ЧОН отправили. Знаешь, что это?

— Нет. Название какое-то грозное.

— Часть особого назначения для борьбы с кулаками и крестьянами, а проще — чтобы хлеб в деревнях забирать. Я в Тамбовской губернии в него стрелял и ранил. Потом я к Краснову на Дон ушел, а как узнал, что он опять объявился, но уже в Сибири, поехал в армию к Каппелю.

— Говорят, он погиб?

— Да. Я Владимиру Оскаровичу отмороженные ноги ампутировал. Он умер через несколько дней от воспаления легких, так его не похоронили — помнили, что красные с телом погибшего Корнилова сделали, и увезли в гробу на восток. Меня арестовали в Омске, хотели расстрелять, да

командир чекистов мне помог убежать. Я его на германской оперировал. Потом слышал: его за это расстреляли. А я в Красноярске все-таки нашел Семенова, стрелял в него и думал, что убил, а оказалось, только ранил. Ты что-нибудь слышал о «Деле лицейстов»?

— Да, весь Петроград в ужасе содрогнулся.

— Так этим делом руководил Семенов. Он Голицына, последнего премьера царского, и его сына-инвалида расстрелял. Я их хорошо, еще с юности, знал. Сын-то, Николай, на фронте подполковником был, и это я ему ногу ампутировал. В общем, я все-таки его выследил и убил.

— Молодец!

— Меня схватили и на расстрел, а перед этим повезли в ЧК на Гороховую. Я и сбежал. Поймали на бывшей границе с Финляндией. Назвался Мезенцевым. Это моя сиротская фамилия с детства, пока дед — граф Сибирцев не нашелся. А то бы как графа расстреляли. Дали три года. Убежал. Поймали. Дали десять. Сейчас вот здесь: или убегу, или умру. Хорошо, что ты появился — значит, вместе убежим!

— Куда отсюда, Сергей, убежать-то можно? Голая тундра, тайга да зверь. Север дикий!

— Я, Александр, здесь, на берегу Ледовитого океана, родителей потерял, а потом приобрел новых, благодаря которым выжил. На севере испокон веку люди живут. Придумаем как... Главное — верить! Давай спать, через два часа подъем...

II

Третий день два человека шли по тундре, стремясь уйти на юг, к тайге, и уже в ней затеряться и выжить. Они хотели запутать следы, потом свернуть на запад, выйти к реке Печоре и, найдя лодку или на плоту — топоры были с собой, спуститься по течению вниз, на север, к морю и через маленькие деревни дойти до Мезени. «Там, — сказал Сергей Сибирцев, — в одной из деревень отец живет. Тот, что спас меня в детстве от смерти. А из Мезени вдоль берега моря, на лодке под парусом до Архангельска, а там уже железная

дорога...» Но до тайги они не дошли — их поймали и вернули обратно в лагерь. Сам начальник Печорлага удивился и засмеялся:

— Виданное ли дело, чтобы человек без ноги из лагеря бежал? Нет, наверное, хорошо — ноги не промочил, — и серьезно добавил: — В карцер я вас садить не буду. Ты, одноногий, и ты, Граф, даже не надейтесь, что здесь в Мульде уголек добывать останетесь. Как же — под землей-то тепло. Считай целый день как возле печки — руби да руби уголек. Я смотрю, сволочи, вы у нас большие любители бегать. Я дела ваши читал. Посему отправлю я вас в такое жуткое место, что вам и в страшных снах не снилось, в Амдерму. Там в вечной мерзлоте шахту флюоритовую рубить будете. Пойдете с партией таких же, как вы, самых злобных, самых отъявленных врагов нашей советской власти. Сразу скажу: я там не был, но говорят, что воркутинский уголек по сравнению с тамошней шахтой — рай. Не слышал, чтобы кто-нибудь оттуда живым вернулся. Здесь тоже мерзлота вечная, да шахта глубоко — в ней не замерзнешь, а там, говорят, шахта чуть-чуть под землей, в этой самой мерзлоте и идет, и даже летом, если, конечно, там лето есть, в ней все равно как зимой... И что у тебя за кличка такая «Граф»? А может, ты граф настоящий? Один безногий, другой граф — какая компания! Ваше сиятельство с киркой. Точно, мы вас, бояр, всех перевоспитаем. Не веришь? По глазам твоим волчьим вижу — не веришь... Клянусь — поверишь! Это я, начальник Печорлага, тебе говорю. И пойдешь ты со своим дружкой одноногим туда уже завтра; октябрь на дворе, тундра замерзла, в болотине первой не утонете. Сколько вас дойдет, не знаю, но если сотня из трехсот дойдет — и то хорошо. Но тебя, Граф, и тебя, одноногий, уж прошу, выживите, дойдите, а то для вас это будет слишком легкая смерть. Надо, чтобы вы осознали всю ненависть нашей власти к своим врагам. А сейчас идите в свой барак, прощайтесь с товарищами, тем будет наука — не бегайте!

От поселка Мульда триста заключенных по замерзшей тундре двинулись дальше на север, через Хальмер-Ю, что

на местном ненецком языке обозначало «Долина смерти». Первые пятьдесят эков замерзли и остались лежать голыми в этой Долине смерти, присыпанные камнями, чтобы медведи и волки не смогли сразу наброситься на трупы, а время потратили, разгребая эти каменные могилы, и у оставшихся людей была возможность оторваться от идущих позади колонны голодных зверей. Одежду с мертвых, с дракой, поделили оставшиеся в живых заключенные. Охранники за эков не боялись — боялись за себя и за упряжки оленей, на которых они ехали позади бредущей толпы заключенных, боялись зверей. Ночью эков никто не охранял — а куда они денутся в этой ледяной пустыне? Кормили кусками мороженой рыбы и сухарями. Горячей пищи, даже кипятка не было. С каждым днем мороз усиливался, день превращался в сумерки — наступало время полярной ночи.

Через десять дней пути полторы сотни человек вышли к берегу Карского моря, а еще через неделю всего сто, и уже не людей, а отмороженных, бессильных, шатающихся скелетов. И они бы не дошли, но в районе стойбища Усть-Кара ненцы, увидев бредущие скелеты, заплакали от ужаса и, зарезав своих оленей, напоили эков горячей кровью и накормили мясом. Когда эту обезумевшую от холода и голода толпу эков довели до малюсенького поселка Амдерма, они уже ничего не чувствовали, они даже не знали, живы они или нет. Они вползли шатающейся лентой в барак и в смертельной усталости упали на пол, даже не дойдя до нар, и это был самый счастливый день в их жизни...

III

Федора Степановича Арцинова в Амдерму сослали. А хотели расстрелять. Федор Степанович, славный рубака, донской казак, воевал в германскую — три солдатских Георгиевских креста получил за храбрость. И в гражданскую с такой же храбростью воевал за новую советскую власть, до командира полка дослужился, и надо же так вляпаться: влюбился в красивую женщину, свою семью с детьми бро-

сил, а женщина оказалась чужого класса — дворянка, да еще и жена погибшего белого офицера. Ее, без суда, к высшей мере социальной справедливости — пулю и в яму, и Арцинова хотели туда же, но пожалели за славное прошлое и отправили начальником только что созданного лагеря, в Амдерму. Одного там точно не было — баб. И предупредили: не справишься — не обессудь, там останешься, и уже навсегда. Так что старался Федор Степанович, зэков не жалел: лагерь обустроивал, порт строил, дорогу от шахты к морю, шахту рыл; вот новых заключенных пригнали, пусть и немного дошло — треть и все доходяги, но все равно работать смогут: добывать камень будут, а летом, в июле, корабль придет и новых заключенных морем привезут, и наконец-то он, Федор Степанович, в отпуск поедет — вот душу-то ответит... с бабами.

Солнце сидело низко, у горизонта, только-только поднявшись, сразу было готово опять упасть за горизонт. И мороза сильного не было — море, серое, с ленивыми льдинами, холод в себя забирало. Вдалеке высоченная, верхушкой в низкое небо, ажурная металлическая башня. Медведи белые по берегу бродят. А берег черный, сланцевый, как граница. В ад!

— Все вы бляди, суки, мразь, нелюди и враги народа! — Перед сотней стоящих плотным, с нависающим белым паром из глоток, людским прямоугольником пришедших вчера заключенных прохаживался начальник лагеря Федор Степанович Арцинов. Начальнику было уже привычно, но все же тяжело после ночной попойки. Сухо было во рту. А перегаром доносило аж до рядов зэков.

— Вы все враги нашей советской власти! — продолжал начальник. — Вы все здесь сдохнете, и поделом вам. Но прежде чем сдохнуть, вы принесете пользу моей родине. Вы будете работать на шахте и добывать необходимый стране этот... как его... блядь! — повернулся к стоявшему сзади своему заместителю.

— Флюорит, — подсказал заместитель.

— Во-во, флюорит. Через месяц придет новая партия такого же, как вы, говна, они будут строить порт и дорогу

от шахты к порту. Надо же вывозить все то дерьмо, что вы нарубите в шахте. А летом уже придут корабли с новыми зэками, и вы все больше и больше будете рубить этого... как... блядь...

— Флюорита, — крикнул кто-то из толпы зэков.

— Умный, сволочь? — продолжил начальник лагеря. — Ничего, я из тебя ум-то вышибу. Запомните: тот, кто не будет выполнять норму, будет отправлен в карцер. И не надейтесь, что это домик с парашей. Это вон там, за лагерем, чтобы не слышать ваши крики и рев, каменный полуподвал, без пола, нар, окон и дверей...

— Как это — без дверей и окон? — опять крикнул кто-то из толпы.

— А вот так. Там вместо окна и двери решетки. И зимой там зима, а летом — лето. Зимой вы замерзнете, а летом вас сожрут комары и мошкара. Заживо! А вокруг всю ночь будут ходить белые медведи и рвать решетки, чтобы вас сожрать. День посидишь, и всё — если жив остался, сутками будешь с радостью кайлом махать. Те, кто сойдут с ума, пусть не надеются, что в психушку попадут. Здесь даже лазарета нет. Незачем! Здесь лечение одно — пуля. А если кто-то думает отсюда убежать — скатертью дорога, не держу. Перед вами море, не море даже — океан без берега, а дорогу сюда, я думаю, вы хорошо запомнили. Сотня вас, доходяг, из трехсот дошла. Бегите! Я вас даже ловить не буду. Через день сами, если сумеете, вернетесь. Там, в тундре, костей обглоданных много лежит. Чувствуете, здесь даже собак нет. Не нужны. Но летом, говорят, будут. Здесь самое гиблое место на земле!.. Это я, Федор Степанович Арцинов, начальник Амдерминского лагеря, вам говорю. И мое слово — революционный закон!.. Я вас, тварей, столько в капусту порубил в гражданскую, что для меня ваша сотня — тьфу, — начальник плюнул и попал себе на валенки. — А сейчас всех разобьют на десятки, назначат десятников, и вперед, на работу!

— Начальник, а я не буду работать! Я честный вор! — сказал длинный, лучше всех одетый — в фуфайку, шапку и валенки — зэк.

— Кто это сказал? Выйди из строя!

— Ну я! — ээк вразвалочку вышел. — Я вор, гражданин начальник, а воры не работают. Если не знаете, так знайте, — и, криво улыбнувшись, блеснув золотой фиксой, плюнул Арцинову под ноги.

— Значит, не будешь? Ну что же, честный вор, на тебе и покажем, что такое неповиновение моим приказам и что такое наш карцер, — Федоров повернулся к охранникам в длинных кавалерийских шинелях: — Снять с него фуфайку и валенки и в карцер до завтра. Утром на развод привести... Если доживет.

Зэка сбили с ног, стащили с него, визжащего, кричащего матом, валенки и фуфайку и, толкая штыками и прикладами, погнали за ворота к стоящему невдалеке маленькому, чуть возвышающемуся над землей домику.

Всю ночь из карцера несли вой и плачь.

Утром на развод охрана притащила из карцера заключенного. Это был седой старик. Старик увидел начальника лагеря, упал на колени и пополз, плача и воя, обнял обутые в валенки ноги Арцинова и стал их целовать!..

— А я вам, падлам, что говорил? Кто следующий? — зэки молчали. — Вот так-то. Этому валенки и фуфайку верните, — и, увидев недоуменные взгляды конвоиров, Арцинов рявкнул: — Я что сказал! Вернуть! Он исправился и всем этим гнидам показал, что такое карцер и кто здесь я! Всё. Все на работу... Да, еще — берегите керосин в лампах, если кончится, с факелами в шахте работать будете. Задохнетесь! А норму никто не отменял.

Когда зэки побрели на работу, начальник лагеря дыхнул перегаром в лицо своему заместителю:

— Я всю ночь дела зэков листал. Кого только нет! Неужели не добились в гражданскую? Офицерье, профессора, попы. Есть врач, есть летчик. Без ноги! Оба злостные беглецы. Представляешь, с костылем бегают! Вот пусть здесь и убегут!.. — и хрипло засмеявшись, матюгнулся: — Блядь, лучше бы бочку керосину привезли... Пойдем, похмелимся... Это приказ!

Первый день для новых заключенных был самым простым и счастливым: кроме случая с воров, была радость от того, что живы и больше никуда не надо идти, радость от того, что напоили горячим чаем с сухарями и дали поспать, что выдали бушлаты, штаны и ботинки. В бараке уже было полсотни ранее пригнанных заключенных.

— Куда же мы попали? В ад? — спросили пришедшие.

— Нет! В аду хоть тепло, а вы попали в царство льда, здесь в сто раз хуже и страшней. Ад по сравнению с тем, куда вы попали, — рай!

— Все-таки где мы? Что это за место?

— Вы в Амдерме. На самоедском, ненецком языке — лежбище моржей. Я был членом Императорского географического общества и про север знаю почти все, — к прибывшим подошел худой седой мужчина в очках. — Позвольте представиться: профессор Петербургского университета Амосов Аркадий Иванович. Правильно сказал начальник лагеря: нас можно не охранять. Отсюда бежать некуда: обратнo до Мульды, откуда вы пришли, триста верст, здесь берег Карского моря, через пролив Югорский шар остров Вайгач, еще дальше, через пролив Карские ворота, Новая Земля. Ближайшая река, на запад, Печора — четыреста верст. Пусто там. Еще дальше по берегу — Архангельск, отсюда больше тысячи верст. Только если на аэроплане долететь.

— Не долетишь, хоть с полной заправкой, — сказал грустно Северский и, показав в зарешеченное окно на высоченную ажурную железную башню, спросил: — А что это за Эйфелева башня?

— А-а, это? Царь-то, Николай Александрович, не так уж и глуп был, как о нем говорили, — мы в Географическом обществе проект предложили, а император лично деньги выделил: по всему северному побережью семь таких башен поставили. Из особой стали — не ржавеет. Они построены в тринадцатом году для бесперебойной радиосвязи по северу России. Каждая высотой семьдесят два метра. Рядом с каждой полярная станция для наблюдения за погодой. После революции, насколько мне известно, ни одна

не работает. Кому нужна погода? Спыхватимся, да поздно будет. Вдоль берега Ледовитого океана самая короткая дорога из Европы в Азию. Здесь, в Амдерме, нет сильных морозов, как дальше на восток или на Мульде, но все время ветер. Что еще? Из животных: моржи, белые медведи, песцы, лемминги... пожалуй, все... да, олени. Без них коренное население — ненцы-самоеды не прожили бы и дня. Да и мы не проживем.

— А почему берег такой черный?

— Это черный сланец. В отличие от белого почти не горит.

— А что такое флюорит?

— Это плавиковый шпат. Добавляется при варке особых сортов стали — брони, а также при варке стекла. Особо ценный минерал — на вес золота...

— А вы-то как сюда попали?

— Нас морем доставили, летом, в июле. Должны были на Соловецкие острова, а привезли сюда. Две сотни везли, а осталась четверть. Половина в первый же шторм вместе с баржой потонула. Мы построили лагерь, бараки, ну и шахту мы начали строить — ствол на десять метров прошли, пока дошли до первой жилы. А вас пригнали, чтобы уже флюорит добывать. Когда эта жила кончится, глубже рыть будем, до следующей. Надолго хватит. Нам до конца не дожить.

— И что, здесь, кроме белых медведей, никого нет?

— Нет. Но север всегда манил сильных духом людей. Вспомните норвежцев Нансена и Амудсена. А нашего Седова! А экспедиция барона Толя! А сколько было неизвестных смелых людей, желающих пройти вдоль северного берега России! А сколько их погибло? Никто не знает.

— Это не смелость, господин профессор, это глупость!

— Я с вами не согласен. Еще великий Михайло Ломоносов сказал, что Россия будет прирастать Сибирью и Севером...

— И Ломоносов ваш дурак. Вас послушать, так мы — счастливые люди: государство это проклятое, большевистское, прирастает нашим трудом здесь, в богом забытом месте!

— Не спорю. По существу да. Только государство будет всегда, а большевики нет.

— Эх куда вас занесло, профессор. Ну-ну, прирастайте кайлом и лопатой!

Когда разговор утих и все расплзлись по своим нарам, Сергей подсел к Амосову.

— Уважаемый Аркадий Иванович, вы, наверное, должны были знать профессора Бокова.

— О да! — обрадовался Амосов. — Кто же не знает... не знал Илью Петровича. Говорят, умер.

— Да, он умер... в ЧК.

— Господи, не знал. А вы что — у него учились?

— Он мой дед.

— Я рад! — Амосов схватил руку Сергея. — Я очень рад вас видеть. — Потом как-то смутился и тихо проговорил: — О чем я? Простите.

— Да что вы, Аркадий Иванович. Это нас судьба свела.

— Вас как зовут?

— Сергей.

— А я, Сергей, знал и вашего отца. Владимир был лучшим из моих студентов. Жаль, связался с этими... бомбистами... против царя пошел, а что вышло. Наверное, увидел бы, что получилось, не стал бы бомбы кидать, — Амосов опять смутился. — Да что это я? Простите... А вас, Сергей, извините, по университету не помню. Как вы сюда попали?

— Я окончил Медицинскую академию. Врач, офицер. Посадили, убежал, поймали, вновь посадили. Все как-то в этой жизни стало просто.

— Можно один вопрос? — тихо, наклонившись к уху Сергея, спросил Амосов. — Почему вас называют Графом?

— Это кличка такая, лагерная.

— А-а, понятно. А я-то, дурень, вначале решил, что вы граф по статусу.

— Нет, Аркадий Иванович. Я даже не Боков, я Мезенцев Сергей, обыкновенный заключенный.

— Мы здесь все объединены этим страшным словом...

Ночью Сергей шептал Александру:

— Между Амдермой и Архангельском есть еще одно место — Мезень! Нам бы, Саша, туда добраться, а там найдем лодку с парусом и уплывем!..

— Как в прошлый раз? Как мы туда доберемся? Куда уплывем? Где ты возьмешь там лодку? Сергей, ты бредишь?

— Нам бы добраться до Мезени! А ты что — хочешь здесь сгнить?

— Нет!

— Когда человек чего-то очень хочет и стремится к этому — ему и Бог помогает!

— Спи, Сергей. Нам боженька будет помогать махать киркой, пока не сдохнем.

— Нет, Александр, мы не умрем! Вот увидишь — убежим!

— Хорошо, хорошо — убежим. Только давай спать. Руки чешутся от желания поработать киркой...

А вор ночью повесился! Снял обрывок веревки, что у всех вместо ремня придерживала штаны, уже непослушными, с лопающимися кровавыми пузырями, отмороженными пальцами размотал на тоненькие веревочки, связал и повесился в углу барака. И от позора, что начальнику лагеря ноги целовал, ушел, и, что еще главнее, от работы, что для вора самое низкое и поганое дело. Фуфаечку, штаны и валенки зэки с матом, поножовщиной поделили, и тогда стали видны ноги висевшего в петле человека: черно-красные, распухшие от гангрены пальцы. У всех еще сильнее ждалось сердце и еще больший страх прошел морозом по спинам, страх перед неизвестностью, перед начальником лагеря и маленькой каменной камерой там, за забором, с решетками вместо дверей, где, казалось бы, должна быть свобода, а была страшная, лютая смерть. И эта смерть как бы говорила: я здесь, рядом, я тебя все равно заберу, но можно тихо, спокойно, а можно... ну сам же видишь как... Первого мертвого из вновь пришедших понесли хоронить недалеко, за колючку, без ямы — какая яма, камень кругом: положили и заложили камнями, чтобы медведи не разрыли. Пока сытые.

IV

Первым погибшим оказался профессор Амосов. Подслеповато спускаясь по лестнице, идущей спиралью вдоль стенки шахты, он в своих ботиночках поскользнулся на обледенелых ступеньках и, проломив доски хлипких перил, ограждающих лестницу от центрального ствола шахты, где ходила на веревках деревянная бадня для подъема руды, упал в темноту! Только «Ах!» донеслось и удар тела.

Скользя, падая, ругаясь, вниз, на дно шахты, сбежал Сергей Сибирцев.

Амосов был жив и даже в сознании. Только стонал. Упал в деревянный короб для подъема руды. А так бы сразу!

— Поднимайте вверх! Быстро! — заорал Сергей, а сам побежал по лестнице вверх.

Наверху эки осторожно вытащили Амосова из ящика и положили на землю.

— Как вы, Аркадий Иванович? Где болит? — спросил выбежавший из шахты Сибирцев.

— Все, Сережа, конец. Спина — ног не чувствую.

— Все будет хорошо, все будет хорошо. Так иногда бывает при сильном ушибе.

— Нет, все...

Подошел начальник лагеря Федор Арцинов. Пьяный, решил проверить, как его эки работают.

— Федор Степанович, надо пострадавшего в лагерь аккуратно отнести. Я его осматрю, — сказал Сибирцев.

— Ты, тварь, как ко мне обращаешься? А ну встать! Запомни, здесь команды отдаю только я!

— Гражданин начальник лагеря, прошу вас дать приказ отнести больного в лагерь.

— Вот так-то лучше. Ты что — врач?

— Да, хирург.

— Ты здесь дерьмо! Вы здесь все дерьмо! Чего встали — мигом на работу, — эки стали быстро расходиться. — А тебя что, мой приказ не касается? — Арцинов пьяными глазами уставился на Сибирцева.

— Я врач, и мой долг помогать больным.

— Твой долг копать! Иди, или... — Арцинов полез в кобуру, — я тебя пристрелю. И его пристрелю!

— Значит, вам придется меня пристрелить!

— Подождите, гражданин начальник, — тихо проговорил Амосов. — Сергей, наклонись. — Сибирцев склонился к Амосову. — Ближе наклонись, Сережа... Не надо, не губите себя, Сергей Владимирович, ваше сиятельство, граф Сибирцев, ваше время еще не пришло. И долго еще не придет. Я все знаю о тебе; мне об этом радостный Илья Петрович рассказывал. Не надо, Сережа. Ты убежишь и будешь свободен!.. Прощай...

— Я вас вылечу.

— А ну уберите этого... доктора! — заорал Арцинов, вытаскивая револьвер.

Двое охранников схватили Сибирцева и оттащили от умирающего заключенного. Арцинов выстрелил в Амосова.

— Вот так надо поступать с симулянтами! Советую не болеть, а если падаете — падайте сразу насмерть.

— Вы подлец! — крикнул Сибирцев.

И вдруг Федор Степанович Арцинов засмеялся:

— Да, я подлец, сволочь, убийца. Спасибо за открытие. Я тебя за правду даже в карцер посылать не буду — вдруг помрешь. Нет, живи и мучайся. Пошел на работу!..

Сергей посмотрел на мертвого, улыбающегося доброй улыбкой профессора Аркадия Ивановича Амосова и побрел в шахту, шепча: «Убегу! Убегу! Убегу!»

При рубке горизонтальной шахты из-за горящих факелов и керосиновых ламп не хватало воздуха — зэки задыхались, падали в обмороки, их вытаскивали из шахты, они блевали и просили, умоляли не посылать обратно в шахту, но их били прикладами и орали, что, если они не выполнят норму, их отправят в карцер. Слово действовало лучше любого приклада.

А вечером барак гудел. Предлагали отказаться от работы, но больше смерти боялись карцера.

— Александр, мы же здесь и до весны не дотянем — содохнем. Или бадья на голову упадет, или задохнемся от

дыма. Ты же инженер, конструктор — придумай что-нибудь, — высказал общее лагерное мнение Сибирцев.

Веревки не выдерживали ящика с рудой, рвались, или ее тяжесть не могли удержать ээки, вращавшие наверху допотопный ворот — бревно с ручкой, и она летела с грохотом вниз, разбрасывая камни, которые, как снаряды, калечили людей.

Арцинов ужасался и боялся, что не выполняется план, а с ним и будущий отпуск летел к чертям. Да что там план — понимал: отпуск могут заменить и на кирку с лопатой здесь же, в шахте. И дня не отработает — убьют ээки!

Когда к нему пришел Северский, снял шапку и предложил переделать систему подъема руды, а заодно и провести электрический свет в шахту, подумал — ээк с ума сошел от голода и работы, Хотел выгнать, а потом решил выслушать — самому жить хотелось!

— Вы, гражданин начальник, видели ветряные мельницы? — спросил Северский.

— Ты рехнулся — да я донской казак! У нас мельница, считай, в каждой станице.

— Тогда все проще. Я предлагаю построить такую ветряную мельницу, но она не зерно в муку будет перемалывать, а давать электрический ток. Там у башни полярная станция была, и значит, электрический ток был. Нам нужен редуктор, лопасти с нужными углами мы сделаем деревянные, из бревен построим треногу и на ней установим редуктор с лопастями. Ветер у нас здесь сильный и постоянный, и у нас будет электричество в шахте и можно будет не пользоваться факелами. Второе: попробуем поднимать клеть на цепях, ворот усилим, передачи колесные поставим, тормозной башмак, как на кораблях, установим. Я видел зубчатые колеса, когда нас на работу в порт гоняли. Да и раз вышку строили, то там около нее железа разного полно должно было остаться.

— Не гоняли на работу в порт, а направляли. Ты мне мозги не забивай своей ерундой, математик. Делай! Сколько тебе надо людей?

— Человек десять. Я сам отберу.

— Тут один доктор покомандовал — не знаю, жив ли? И ты туда же. Бери любых, кроме этого доктора. Узнаю, что взял, — расстреляю лично.

— И еще, гражданин начальник, сейчас зима, можно построить ледяную дорогу от шахты до порта. Сделаем ледяные углубления и сани с рудой будем катать, как трамвай по рельсам.

— Это лишнее! Так дотащите! Еще чего!

— Так, гражданин начальник, больше же груза можно за один раз перевозить. До весны все в порт перевезем.

— А что?! Это уже дело! Молодец, математик.

Поздним вечером, ближе к ночи, в бараке назревала драка.

— Ты, Костыль, по знакомству, по блату, за пайку, людей отбирать будешь? Сука ты, перед начальством стелешься!

— Кто это сказал? — спросил Северский, которому заключенные дали кличку Костыль.

— Я, — ответил зэк.

— Ты пойдешь, — сказал Северский.

В бараке засмеялись:

— Нам что, всем тебя матом крыть? Ты лучше скажи: зачем ледяную дорогу предлагаешь строить? И так кое-как сани таскаем. И зачем бадью укреплять? Чтобы план увеличили?

— Зачем таскать, если можно катать. А бадья — она, как бомба с самолета, падает, и когда упадет — не знаешь, а тут тормоз будет.

— Ты, Костыль, инженер?

— Я летчик.

— Да ну?!

Ночью Северский шептал Сибирцеву:

— Сергей, ты в списке. Хоть месяц, да воздухом подышим.

— Зря ты — тебе что Арцинов пообещал? Но если не подышим, то я точно к весне загнусь. Такое иногда желание в шахту прыгнуть. Умираю я. Жалко, что так бездарно. Убить, что ли, начальника — хоть какая-то польза от этой жизни.

— К начальнику тебя не подпустят. Не успеешь подойти, пристрелят. Нет. Ты же сам говорил, что надо верить. Верь!

— Тяжело, Саша. Сил у меня не осталось. Снял бы со штанов веревку, размотал и, как тот вор, повесился в углу!

— Спи, Сергей. Завтра будем дышать воздухом свободы.

В тундре, на пустынном берегу Ледовитого океана, ввысь, в небо, уходило чудо человеческой мысли и человеческого труда, сравнимое с Эйфелевой башней: на 72 метра вверх бежала клепаная ажурная металлическая сетка. Снизу под башню встанешь, взглянешь вверх, и голова начинает кружиться: куда-то далеко-далеко в небеса уходила железная спираль. Один из заключенных — молоденький парнишка, плевать хотел на приказы — полез наверх, забрался на самый шпиль и стал махать рукой и орать от радости: «Я вижу мир! Я вижу свободу!..» Сорвался и долго летел, крутясь и ударяясь о металлические клепаные полосы. Похоронили здесь, под башней — не нести же на кладбище мешок с переломанными костями.

«Железа», как сказал Северский, было много — и нужного, и ненужного. Домик полярников был разграблен еще раньше: ничего, кроме бревенчатых стен, не осталось, а чтобы найти что-нибудь съестное — и думать бесполезно, белые медведи лучше людей чувствуют еду. Но все равно рылись, чтобы хоть что-нибудь найти поесть. На смятый комок бумаги посмотрели и пнули ногой, а Сибирцев подобрал, развернул и, оглянувшись по сторонам, спрятал за пазухой. И потом старательно рылся в куче мусора.

Когда барак спал, стонал и вскрикивал во сне, Сергей развернул найденную бумагу.

— Знаешь, Александр, что это? Это карта северного побережья России, от Ямала до мыса Норд-Кап. Представляешь, что это такое?

— Представляю! Только не пойму, что это нам дает?

— Как что? Это карта к свободе!

— Ну слава богу, отошел. Давай спать.

— Еще не все. Ты знаешь, что я еще нашел?

— Новый год наступил, Сергей? Вроде рано.

— Я нашел компас.

— Где?

— Там же, в домике полярников. Но я его в лагерь не понес, при обыске найдут. Под камнями спрятал.

— Правильно. Вот я нужные вещи нашел.

— Что?

— Две лампочки.

— И не разбитые?

— Нет. Давай спать.

Через месяц рядом с шахтой вращались лопасти ветряка, а в шахте пусть тускло, мерцающая, время от времени затухая, но горели забранные мелкой сеткой лампочки. Ворота переделали, поставили зубчатые колеса разных размеров и уже с легкостью поднимали клеть из шахты, как поднимают якоря на кораблях. И как у якорной цепи, был тормоз, чтобы цепь самостоятельно не пошла назад. Сани с рудой легко катились под горку по ледяным желобам, перевоза добытую руду на строящийся пирс. Начальник лагеря пил уже от радости. Понимал: отпуск состоится! Руководство Печорлага прислало поздравление в связи с перевыполнением плана добычи флюорита. Обещали наградить. Все так хорошо складывалось — почему бы не выпить!..

Федору Степановичу Арцинову донесли — «сук» хватало, и он был вне себя.

— Ты, морда каторжная! — орал он на Северского. — Да как ты посмел это сделать? Я же тебя, говно, предупредил, чтобы доктора не брал на свои работы. Эй, в карцер его!..

Пока Северского вели в карцер, ветряк сломался.

— Бля... верните!.. — вновь кричал Арцинов. — Слушай меня внимательно, математик. Будешь работать в шахте, как все, а если будет ломаться вся эта твоя херня, будешь ремонтировать. А не отремонтируешь, я тебя сам, лично, скину в шахту. Тебя и твоего дружка доктора!..

В апреле, с последними холодными днями, в Амдерму прибыла комиссия из Печорлага. Возглавлял комиссию большой и тучный Макар Анисимович Сивков. Сивков среди заключенных не считался зверем, как большинство начальников Печорлага. Он был прост в общении и в приказах: если ему что-то не нравилось, он, не повышая голоса, говорил: «Расстрелять» — и, зевая, отворачивался.

Сивков приехал, чтобы проверить, как идет строительство порта. В месте впадения в море небольшой речки Амдерминки, вытекавшей из озера Тоин-то, эски, стоя по грудь в ледяной воде, забили деревянные сваи из выброшенных на берег моря бревен и строили небольшой пирс. Но планы изменились: в Москве приняли решение о необходимости увеличить добычу флюорита и для этого привезти морем сотни новых заключенных. Поездка в Амдерму с проверкой была для Сивкова так, для галочки — заключенные никого не волновали, пусть хоть все сдохнут. Начальник Печорлага приехал на охоту — на белых медведей. Двести семьдесят километров от поселка Воркута до Амдермы под слепящим глаза, не заходящим за горизонт апрельским солнцем, с небольшим двадцатиградусным морозцем проскочили на оленьих упряжках за пять дней. Уставших оленей меняли, забирая свежих у ненцев. Те, завидев людей с оружием, стремились убежать, да куда там — пара выстрелов в их сторону или чум поджечь и всё — останавливались в страхе...

Медведей добыли, Арцинова наградили, отпуск пообещали, спирта напились, и Макар Сивков решил все-таки осмотреть шахту — наслышан был о ее красоте: при постоянной минусовой температуре в свете электрических и керосиновых ламп стены сверкали от ледяной изморози, как покрытые бриллиантами. Да и электричество, получаемое от ветряка, было для начальника в диковинку. Сивков, узнав об этом, решил забрать с собой в Воркуту этого уникального инженера — пусть там свои способности показывает. Ошибочка тогда вышла, что сюда отправили.

Гуляли в кабинете начальника лагеря день и всю ночь, а утром, перед отъездом, Сивков, тяжелый, с большой головой, опохмелившись спиртом, стал спускаться в шахту. На обледенелой деревянной лестнице его подшитые кожей валенки заскользили, и он с криком «А-а-ах!» покатился по ступенькам вниз и потерял сознание. Сопровождавший Сивкова Федор Арцинов с заместителем и парочкой охранников застыли в изумлении и страхе. И эски внизу, в шахте, затихли, не понимая, что произошло. Первым очнулся Арцинов и закричал охранникам:

— Быстрее вытаскивайте его!

Лицо Сивкова было залито кровью, правая нога была неестественно вывернута, из рукава шубы текла кровь. Безжизненное тяжелое тело Макара Анисимовича солдаты потащили волоком по обледенелой лестнице наверх и там, с помощью трех эсков, подхватив на руки, понесли в лагерь. Сзади семенил начальник лагеря и кричал:

— Да быстрее вы! Ко мне в кабинет несите!

Когда занесли в кабинет и положили на деревянный диван, Арцинов забежал по комнате и, заикаясь, зарычал на солдат:

— Вы чего, суки, не могли его удержать? Знаете, что сейчас с нами будет? Сами в шахту к эскам пойдем!

— Товарищ начальник лагеря, да как же мы могли его удержать — мы же позади вас шли.

— Чего делать-то? — заикаясь, спросил Арцинов.

— Надо вести сюда этого доктора... графа, — тихо подсказал заместитель.

— Точно! Быстро его сюда ведите. Быстро!

Заместитель рывкнул на солдат:

— Чего встали? Бегом!

— А кого вести-то? — спросил один из солдат.

— А, мать вашу, пошли. Мезенцев его фамилия. Доктор он. Кличка Граф...

Солдаты с заместителем осторожно спустились в шахту. В глубине стучали кайлом, по стволу шахты поднималась на цепях большая деревянная бадья, наполненная светлыми, блестящими камнями.

— Эй! — крикнул заместитель в шахту, как в преисподнюю — только гул пошел от эха. — Мезенцев, Граф, иди сюда. Быстрее, — когда из туманного сумрака появилась тень человека, заорал: — Да шевелись давай! — Зэк подошел. Из-под дырявой шапки глядело худое серое лицо со шрамами.

— Пошли быстрее в лагерь, в кабинет к начальнику! — приказал заместитель. — Не дай бог, товарищ Сивков помрет, мы тебя первого расстреляем!

— Нашли чем пугать! — хрипло ответил Сибирцев.

Когда Сибирцев вошел в кабинет Арцинова, то, увидев на столе еду, зашатался.

— Дайте ему кусок мяса с хлебом, а то, боюсь, он не сможет никого лечить, — сказал Арцинов.

Кусок был моментально проглочен.

— Видишь, товарищ начальник Печорлага пострадал. Лечи!

Сергей медленно снял шапку, ватник — сразу стала видна страшная худоба тела, не скрываемая рваным грязным свитером. Штаны висели и, если бы не веревка, упали. Сергей стал снимать с Сивкова полушубок. Сначала с одной руки, потом с другой — раненный не реагировал. Прогрел к столу, взял нож и попробовал остроту пальцем.

— Но-но, — Арцинов потянулся к кобуре с наганом, — не шути — шмальну.

Сибирцев не ответил и стал разрезать ножом рукав гимнастерки. Правая рука была вывернута, из раны бежала кровь. Сергей, не спрашивая, взял полотенце и перетянул рану.

— Придется разрезать валенок и галифе.

— Режь.

Сибирцев быстрыми движениями разрезал ножом валенок и галифе, стал осматривать ногу:

— Сломана. Вправлять надо.

— Ишь, какие у тебя длинные пальцы. Напомни-ка мне, почему тебя зовут Граф? — спросил Арцинов.

— Кличка такая.

— Вспомнил. Ну что там, Граф?

— Плохо. Рука сломана, разорвана мышца плеча. Бицепс. Голень сломана. Раны на голове. Надо вправлять переломы, шины наложить, сшить мышцу и раны на голове зашить.

— Так шей!

— Чем?

— Я тебе нитки и иголку дам.

— Нитки ладно, а игла нужна особая.

— И что делать? Не спасешь — расстреляю!

— Не пугайте вы меня расстрелом. Напугали! А делать что... Там, в шахте, зэк, Северский Александр, инвалид на деревянном протезе. Да знаете вы его. Он ветряк построил и электричество в шахту провел. Он мне нужен. Только он сможет сделать такую иголку, да и зажим нужен. Я пока шины наложу. Пусть принесут две доски шириной полтора вершка и пилу. Я нужную длину сам отпилю. А у вас нет гипса и бинтов?

— Бинты есть. А гипс... Тот, что для побелки, подойдет?

— Подойдет. Тогда доски не нужны. Вода нужна теплая. Таз. Тарелки.

— Принесите гипс и все, что просит. Быстро! — приказал Арцинов солдатам, — И бегом в шахту, за этим...

— Северский. Он летчик, — напомнил Сибирцев.

— Как летчик? Он же без ноги!

— А он с протезом летал.

— Ничего себе у меня контингент: дворяне, графы-доктора, летчики-инвалиды... Вспомнил я его дело. Чего встали — ведите быстрей!

Когда из шахты привели такого же доходягу Северского, тот, увидев еду, отвернулся.

— Дайте ему тоже мяса с хлебом.

Северский съел — не заметил.

— Саша, — тихо, чтобы никто не расслышал, зашептал Сибирцев, — мне нужно из стальной проволоки сделать иглу, изогнутую, как рыболовный крючок, острую, а на другом конце тонкую щель, чтобы нитку просунуть. И зажим, чтобы ее держать. Да ты знаешь — я тебе тогда,

в госпитале, показывал инструменты хирургические. Сможешь? — и совсем тихо: — Я бы и так зашил, но... Саша, сделай — это наш единственный шанс поесть.

— Понял, — ответил тоже шепотом Северский и обратился к Арцинову: — Гражданин начальник, мне нужна стальная проволока, ножницы, напильник, кусачки и огонь.

— Отведите его в оружейную комнату, — приказал начальник лагеря.

Сергею принесли гипс, бинты и нитки.

— У вас на столе спирт?

— Спирт.

— Мне он нужен.

— Зачем? Напиться хочешь? Так ты без спирта помрешь, дунь — и упал.

— Он нужен мне для обработки ран и инструментов.

— Тогда бери. Если что еще надо — говори.

— Да вроде пока все есть.

Через полчаса Северский принес изогнутую иглу и иглодержатель, сделанный из ножниц: на концах лезвий были прорезы, и при сведении в эту прорезь зажималась игла.

— Отлично, Саша! — сказал Сергей. — Ты мне поможешь накладывать гипс. Посиди пока. Гражданин начальник, может, дадите моему товарищу еще немного еды.

— Черт, опять раскомандовался. Смотри у меня. А ты иди, садись. Только не обжирайся — помрешь еще!

Сергей положил в тарелку иглу и ножницы, облил спиртом и поджег. Пока инструменты обгорали и остывали, он раскатал на столе бинты и густо посыпал гипсом. Потянул ногу и вправил обломки. Сказал Северскому:

— Саша, приподними ему ногу... вот так, — Сибирцев быстро забинтовал сломанную ногу гипсовыми бинтами. Положил под ногу подушку. Сивков застонал и открыл глаза.

— Лежите и потерпите еще немножко, гражданин начальник, сейчас зашьем раны.

Годы, проведенные в лагерях, тяжкий, нечеловеческий труд, мозоли, как рубцы, на руках не могли убить таланта

хирурга в Сергее Сибирцеве. Он так быстро и так легко накладывал швы, стягивая разорванные мышцы, останавливая кровотечение, что Сивков только морщился и ойкал. На поврежденную руку была наложена гипсовая повязка.

— Потерпите еще чуть-чуть, — и Сибирцев быстро наложил несколько швов на раны головы, а потом замотал бинтами, и эта белая повязка, как шапочка с завязками под подбородком, была такой комичной, такой красивой на страдальческом лице Сивкова, что Арцинов, не удержавшись, заулыбался. Сивков совсем пришел в себя и удивленно смотрел на этого страшно худого человека с большими голубыми глазами. Потом жалобно спросил:

— Доктор, я жить буду?

И этот изможденный человек вдруг как-то по-детски добро улыбнулся и сказал:

— Если, гражданин начальник, вы сильно нарушать больничный режим не будете, то конечно. Но недельку придется полежать в кровати, а там посмотрим.

— А выпить можно?

— Можно.

— Налейте мне, Федор Степаныч.

— Да-да, конечно, — обрадовался Арцинов и дрожащей рукой стал наливать в кружку спирт.

— Раненого надо перенести на кровать и подушку под ногу положить, — сказал Сибирцев.

Никто не возражал, что Сибирцев отдает всем приказания. Сивкова аккуратно подняли и перенесли на кровать.

— Гражданин начальник, — обратился к Арцинову Сибирцев, — мы можем идти? Желательно осматривать раненого вечером и утром. Дня три-четыре.

— Дайте им еды, и пусть идут в барак, — сказал Макар Сивков. — И ни в какую шахту его не отправлять... И второго тоже. Это не тот, про которого ты, Степаныч, рассказывал, что электричество изобрел, ветряк построил? У тебя тут что — все гении? Ты зачем их в шахту-то загнал? Они тебе своими мозгами все планы перевыполнят... Я их с собой заберу.

Через две недели, загрузив нарты медвежьими шкурами, Сивкова, завернутого в меховую одежду, уложили в нарты, и олени упряжки уже были готовы бежать по тундре, когда он пожелал видеть Сибирцева. Он мог бы этого и не делать, так как Сергей все эти дни наблюдал за ним. Он тихо сказал Сибирцеву:

— Я человек простой и хотел бы сказать свое любимое «расстрелять!» — но скажу: живи! Я вспомнил, кто ты и твой дружек — инвалид на деревянной ноге. Это ведь вас за побег отправили сюда умирать?! Я забрал бы вас с собой, да Федор Степаныч попросил оставить. Желаю тебе выжить в этом аду. Все-таки ты мне вроде как жизнь спас, а я не люблю оставаться должником. Мне Арцинов пообещал больше тебя в шахту не отправлять. Тем более уже к осени здесь будет больше тысячи заключенных. Наверное, и лазарет потребуется. Степаныч уже сам решит. Сумеешь выжить — буду за тебя рад. Надеюсь, так и будет, что-то в тебе есть такое... непонятное... Прощай, граф Сергей Сибирцев. А ты думал, я ничего о тебе не знаю? Я тебя, доктор, по германской помню. Это у тебя там были тысячи таких, как я, раненных, а для нас вы, доктора, были единственной надеждой. Степанычу об этом не скажу, дюже он вашу дворянскую кость не любит. Шашку видел в его кабинете? Это для таких, как ты. Живи! И друга твоего здесь оставляю, хотя его-то я хотел сразу забрать. За него тоже просил Степаныч и пообещал в шахту не спускать. Он ему здесь, на поверхности, нужен. А приказывать не хочу... Прощай.

— Спасибо, гражданин начальник.

— Это тебе спасибо.

Когда упряжки скрылись за сопками, Арцинов, повернувшись к Сибирцеву, скомандовал:

— Скажи-ка, что это он тебе нашептывал?

— Благодарил.

— Ой ли! Чтобы товарищ Сивков — и кого-нибудь, а уж тем более зэка, благодарил? Да ни в жизнь! Шагом марш в барак. И если что — сразу в шахту. Хлеба с собой возьми.

Сибирцев шел, и его не покидала мысль, что многие, оказывается, знали его прошлое. «Бежать надо, бежать! Но как?»

VI

Когда в конце мая в тундре, на вершинах сопок, стал сходить снег, Сибирцев отпросился у начальника лагеря собирать лекарственные травы. Тот сопротивлялся:

— Какие травы весной? Сдурел?

— Это, гражданин начальник, север. Почему, думаете, уже сейчас прилетают птицы? Чем они кормятся? Все сохраняется под снегом.

— А мне-то что от твоих ягодок и травок? Я этих гусей и уток стреляю и рад этому.

— Травка травке рознь. Вот в тундре растет золотой корень, который помогает мужчинам в любовных утехах...

— Как в утехах? — перебил Сибирцева Арцинов. — Что, прямо так помогает?

— Соберем, сделаем настойку на спирту, и можно принимать.

— Неужели вправду помогает?

— Гарантирую как врач.

— Иди и собирай! — Арцинов уже знал, что в середине лета придет первый пароход с новой партией заключенных и он на нем уплывет в отпуск, к бабам, и ему очень захотелось иметь этот золотой корень. Он не боялся, что Сибирцев убежит, — куда бежать? Вокруг на сотни верст болота и тундра. Так и по тундре далеко не убежишь: либо медведи, либо волки задерут.

— Иди, чего стал? — приказал начальник. — Я охранению скажу, чтобы не пристрелили тебя ненароком. Но о корне знать должен только я.

— Понятно, гражданин начальник.

В один из дней, отойдя в поисках трав и золотого корня версты на две от лагеря, Сергей решил обогнуть по берегу выступ черного сланца, козырьком нависающий над

морем. Почему он так решил, он не знал, что-то внутри толкнуло его пойти не как он всегда ходил — по верху, по скале, — а под скалой по узенькой кромке берега. Он спустился к морю и задумчиво пошел — небольшие волны, шурша, накатывались на прибрежную гальку. То, что он увидел, поразило его: под скалой была пещера, которую можно было увидеть только со стороны моря или идя по берегу. «Наверное, штормами вымыло», — подумал Сергей, а сердце вдруг защемило. Он, наклонившись, вошел в пещеру... и удивился: свод пещеры уходил вверх, под ногами захрустела мелкая, как песок, сухая галька, и воздух в пещере оказался сухой. Сергей пригляделся и увидел перевернутую, поставленную на деревянные подпорки, чтобы не сгнила, лодку! Сергей стоял и не верил своим глазам, а потом оглянулся, как бы боясь, что кто-то еще это видит, и, уже тихо ступая, подошел к лодке. Это была небольшую шлюпка, о чем говорили рымы на носу и корме, с тяжелым, из сплошного бруса килем и высокими, из плотно пригнанных досок, бортами. Дерево было очень хорошо просмолено, но смола была сухой, что могло говорить о том, что лодка лежит здесь давно. Сергей с замиранием сердца провел по дереву рукой и даже почувствовал его запах — запах смолы и соли, и никакого запаха плесени. На черном борту проглядывалась истлевшая надпись «Поль...». Сергей заглянул под лодку и увидел лежащие на бревнышках, какими топят большие печи, по-видимому, тоже, чтобы не гнили от соприкосновения с землей, весла, мачту и большой брезентовый дырявый мешок. Сергей с трудом вытащил тяжелый мешок и развязал понятный только для моряка гафельный узел. В мешке был свернутый парус. Сергей развернул его — парус был большой, из крепкой парусины, но, как и мешок, зиял дырами — лемминги изгрызли и мешок, и твердую парусину. Сергей огляделся. Глаза уже привыкли к сумраку, и он увидел в глубине пещеры выложенную большими плитками черного сланца пирамиду. Он раскидал сланец и на глубине с вершок обнаружил два металлических бидона, плотно закрытых крышками; с трудом открыл один из них и увидел банки с консервами, достал

одну — на смазанной жиром поверхности красовался герб Российской империи и надпись «Каша с мясом. 1909 год». Худой, изможденный, он тупо смотрел на банку, а потом начал смеяться, вначале тихо, а потом все громче и громче. И вдруг резко оборвал свой смех. Взял камень и стал бить по банке — камень делал вмятины и рассыпался, человек брал другой и опять стучал, пытаясь открыть, но банка только мялась. Человек бросил банку и заплакал. Заплакал от горя, что он не может ее открыть, и от счастья, что перед ним был не мираж, — перед ним были еда и свобода! Откуда была эта лодка, какое судно с названием «Поль...», какая полярная экспедиция оставила эту шлюпку и сделала закладку еды? Это для него было абсолютно неважно, важно было только то, что это был тот единственный, Богом подаренный счастливый случай, когда он сможет убежать! У него даже появилась дикая и радостная мысль столкнуть лодку на воду, поставить мачту с рваным парусом и, поймав ветер, уплыть туда, в море, вдаль, к свободе... уплыть навсегда. Он сел на гальку, схватился руками за голову и застыл, как тогда, в четырнадцатом, на острове. Но тогда он умирал от горя, а сейчас чувствовал себя самым счастливым человеком на Земле. Он понял — он убежит! Это Бог послал ему за все его страдания эту лодку...

— Саша, — ночью шептал на ухо Александру Северскому Сергей, — я ее нашел! Нашел!..

— Тихо ты! Чего нашел?

— Лодку с мачтой. И парус есть, но рваный, и закладка продуктов есть: каша с мясом девятьсот девятого года. Может быть, какая-то полярная экспедиция оставила? Помнишь, профессор Амосов рассказывал.

— Давай съедем.

— Чего съедем?

— Кашу с мясом.

— Ты сошел с ума.

— Да я сошел с ума только от твоих слов. Я готов сейчас же бежать туда и съесть все эти банки. А что ты предлагаешь?

— Лед с моря сойдет — и уплывем!

— Так поздно? Куда? По Ледовитому океану? Тысячи миль надо плыть до границы с Финляндией. А если найдут другие? А банки с едой?

— Прошу тебя, очнись и не сходи с ума. Лучше уж плыть, чем здесь сгнить из-за какой-то банки.

— Согласен. Но так хочется есть. Что надо делать?

— Сделай толстую иглу с ушком, достань шило и толстые нитки, чтобы можно было зашить брезент. И куски брезента надо раздобыть. Я их буду уносить и парус восстанавливаю.

— Ты разбираешься в парусах?

— Саша, я парусные гонки на Финском заливе выигрывал. У меня и яхта своя была. Пусть небольшая, но яхта. Я же тебе рассказывал.

— Да? Ах, эта еда. Неужели свобода? О господи!..

— Тихо ты. Раскричался. За месяц управимся и уплывем.

VII

Каждый день Сибирцев уходил в тундру за чудодейственным корнем для начальника лагеря и осторожно, хоронясь, пробирался в пещеру к лодке и зашивал парус. Каждый день они по кусочку, отказывая себе, собирали и сушили хлеб. К началу июля, когда лед оторвался от берега и поплыл по голубому и сверкающему от незаходящего солнца морю, они были готовы в любой момент сорваться, убежать и уплыть. Все было сложено в лодку, и даже принесены тряпки, кружки, мятая тарелка, немного соли, нитки и рыболовные крючки, загружены консервы, сухари, а бидоны наполнены пресной водой. Оставалось только найти способ обоим убежать из лагеря. Сергей выходил утром свободно, на то был приказ Арцинова, а Северскому выходить было нельзя, а если и выходил, то только в сопровождении охраны. Для него была одна возможность: убежать во время работы в порту. Там он построил полумеханический сваебой, и эки уже не стояли по горло в воде, а забивали сваи в дно моря, стоя на платформе. Александр отвечал

за его работу и мог в течение дня свободно передвигаться из порта в лагерь и обратно.

Как и кто догадался, что они готовят побег, они не узнали, но кто-то — может, за жизнь, а может, за маленькую пайку хлеба — донес начальнику лагеря, что двое эков готовятся к побегу. Арцинову было бы наплевать, что появилось еще два смертника, но когда он узнал, кто решился на побег... Первым, ночью, подняли с нар Сибирцева, и он еще подумал, что кто-то из охраны заболел, но когда его завели в кабинет начальника лагеря, сердце его тревожно сжалось.

— Ну и как ты хотел убежать? С ненцами, на оленях? Теми, что на озере Тоин-то стоят? А может, до Воркуты решил пройти триста верст? Нет, до Архангельска тысячу верст пешочком? — засмеялся начальник лагеря, а потом, покраснев от бешенства, крикнул: — Говори! Может, на пароходе, что через неделю сюда приплывет? Чего молчишь? Ты у меня все скажешь... Эй, ребята, заставьте его говорить...

Били жутко, с удовольствием, плетью, сапогами. Сибирцев терял сознание — его обливали водой, и Арцинов кричал в разбитое лицо:

— Ну что, сука, молчишь? Ты еще не знаешь, что представляет собой наш карцер? Думаешь, тебе Сивков чего-то пообещал, так тебе все позволено? Хрен тебе! Бросьте его в карцер. Завтра ты мне все расскажешь. Говно за мной вылизывать будешь от радости! — и приказал солдатам: — Сходите к башне и пройдите по берегу — может, они где-нибудь схрон сделали. Он же у нас свободно гулял. Догулялся, сука! Вот и верь после этого в добро!..

— Товарищ начальник, можно завтра с утра? Ночь на дворе, — спросил один из солдат.

— Какая, к такой матери, ночь! Ладно, завтра. Этого в карцер и тащите сюда его дружка — инвалида. Он должен знать, что Граф задумал. Заодно они. Они и там, с Мульды, вместе бежали. Я помню, читал их дела.

Привели Северского и тоже стали бить. Тот все отрицал, кричал:

— Куда бежать? Зачем? Чтобы волки съели? Я же благодаря вашей милости, гражданин начальник, в шахте кайлом не стучу. Зачем мне в петлю-то лезть? А Мезенцев? А ему-то зачем? Он тоже не в шахте. Ну еще года три-четыре, и, может, освободят! А так зверью в пасть, самому?.. Это кто-то из зависти, что вы к нам с добротой...

Били! Падал! Поднимали! Опять били!

— Только костыль ему не ломайте. Без костыля его сразу расстрелять придется. А он еще мне нужен. Инженеров-то новых только через неделю привезут. Если привезут. А если шахта за это время встанет? Сильно его не увечьте! Тащите его туда же, в карцер. Пусть вдвоем до утра подумают. Полезно. Не замерзнут — лето. Комарики погрызут, так это им даже полезно. Всё завтра как миленькие расскажут. А берег чтобы с утра проверен был. Эх, жаль, собак только с парходом привезут!..

Карцер был вынесен за пределы лагеря, чтобы не слышать плач, переходящий в вой, брошенных туда заключенных. Это была сложенная из камня маленькая тюрьма в тундре, с сырым полом и забранными толстыми решетками окном и входом. Ни стекол, ни дверей, ни нар не было! Голые острые стены. Зимой заключенные в нем замерзали, а летом их заживо заедали комары. Даже охраны, чтобы самим не страдать и не слышать воя эсков, у карцера не держали. Да и зарешеченный вход находился со стороны лагеря и был хорошо виден со стоящей в полусотне метров вышки охраны. Утром из карцера вытаскивали сошедших с ума или замерзших эсков. Кто выдерживал день — больше никогда не попадал в карцер. При одном упоминании падал на колени перед начальником лагеря и, рыдая, просил не отправлять его в карцер.

Когда Сергей ночью пришел в себя от холода и облепивших его окровавленное лицо комаров, он, кое-как открыв опухшие глаза, увидел своего друга и зашептал:

— Это Господь нам помог!

— Ты о чем, Сергей? Нам конец. Лодку они найдут, а нас расстреляют.

— Не говори гоп... — разбитыми губами прошептал Сергей и скривился в подобии улыбки... — Помоги мне снять левый ботинок.

Александр стянул ботинок с ноги Сергея.

— Там под стелькой, — прошептал Сибирцев. Северский оторвал грязную стельку и вытащил тонкую плетеную проволоку.

— Что это?

— Это пила.

— И что такой пилой можно перепилить?

— Решетку на окне перепилим.

— Сергей, заговариваешься. Посмотри, какие прутья — с два пальца.

— Это необычная пила. Мне ее раненый солдат подарил. Кстати, и твою ногу я ею же отпилил. А металл она режет — проверяли. Даже хотели у меня ее забрать, да не дал. Видимо, чувствовал, что пригодится... Вот и пригодилась.

VIII

Федор Степанович Арцинов, начальник лагеря, проснулся, как всегда, поздно, и, как всегда, болела голова — ночь пили спирт с заместителем, который оставался вместо него на период отпуска. Арцинов много пил, так ему опостылела служба и так хотелось в родные теплые края, к вину, фруктам и женщинам — дни считал до прихода парохода. Опохмелился и вызвал охрану.

— Ну, что там на берегу?

— Мы к башне ходили — там ничего не нашли. А так ждем вашего приказа: в какую сторону по берегу идти и как далеко осматривать?

— Мать вашу!.. Тогда тащите сюда Графа и этого инвалида. Извылись, наверное? Думаю, ночи с них хватит.

— Нет, товарищ начальник лагеря, молчали всю ночь. Даже удивительно.

— Может, сдохли? А ну бегом!..

Когда охранники вернулись и испуганно прокричали: «Их нет!» — Арцинов не поверил, шумно подскочил к столу, налил спирта, выпил и, отдышавшись, засипел обожженным спиртом голосом:

— Что ты сказал?! Куда они могли деться?.. А ну пошли, такую мать!..

Широкий засов и навесной замок на решетке входа были целы, зато толстые прутья решетки окна были перепилены, как срезаны, ровно-ровно и валялись перекрестьем на земле. На земле лежали окровавленные лоскуты ткани.

— Как это... они смогли это сделать? Чем? Что это? Она же срезана... Не рассказывайте мне сказки, что они имели пилу... Пилой такие прутья не перепилить! Я знаю! Что же это такое? Блядь! Суки! Бегом! Ищите! Они далеко не могли уйти. Смотрите, всё в крови — руки-то, видимо, все изрезали, пока пилили?! Может, пилу на станции нашли? А как пронесли сюда? Нет, полотном такую решетку не перепилить. Может, математик что-нибудь изобрел?

— Товарищ начальник лагеря, они же не первые бегут, и все через день-два сами обратно прибегают или погибают в тундре. Куда они денутся?!

— Бегом, козлы! Они мне нужны живые! Им была дана воля, а они убежали... Найти и живыми сюда привести! Живыми! Я их в шахту отправлю! Навсегда! Пусть там сгниют! Бегом!..

Когда берег расплылся в тумане, Александр Северский снял протез, вытащил кожаную стельку и, перевернув точеную, с расширяющейся чашкой для культы деревяшку, встряхнул протез, На дно лодки выпала смятая маленькая плюшевая обезьянка и... ордена. Северский снял ватник и прикрепил ордена к рубахе.

— Это Яшка, — показал на обезьянку. — С моим талисманом мы, Сергей, доберемся до любой точки на Земле. Хоть до Австралии!

— Я в этом не сомневаюсь. И ты все эти годы носил в протезе ордена?

— Да, Сергей. Как знал, когда последний протез делал с тайником. Эх, сейчас бы шампанского!

Сибирцев порывлся в кормовой банке и достал фляжку.

— На, хлебни — лучше всякого шампанского, у Арцинова из-под носа украл. Напиток свободы! Пьем, Саша, пьем!..

Северский отхлебнул из фляжки, скривился разбитыми губами, а потом развел в стороны руки и заорал:

— Свобода! Свобода!

— Видел бы тебя в эту минуту наш гражданин начальник, — засмеялся Сергей. — Дай мне фляжку, а то, не дай бог, уронишь. Я тоже хочу выпить напиток свободы.

Парус туго напрягся на ветру, и лодка устремилась в океан!..

Везло — ветер попутный дул и на небе ни тучки. Огромную, выливающуюся в море Печору обогнули по дуге, а дальше по берегу моря появились деревья — совсем радостно стало на душе. На восьмой день, заметив на горизонте дымок, свернули к берегу и, спустив парус, спрятались в свисающие с берега до самой воды кусты ивы. Мачта торчала над кустами, но надеялись, что не заметят.

По морю плыл, дымя черной трубой, пароходик и тащил две баржи: на первой были доски, мешки, ящики, какие-то железные механизмы и двое солдат в шинелях и с винтовками, а на другой сидели заключенные — сотни две плотно прижавшихся друг к другу людей. С пароходика несся лай собак. Баржи проплывали близко — метрах в ста от берега, и даже были видны глаза заключенных: одинаковые, с потухшими взглядами, которые равнодушно смотрели на воду и проплывающий берег. Взгляд обреченных людей. Наверное, это и был тот пароход, который ждал начальник лагеря Федор Арцинов. Вдруг один из заключенных увидел спрятанную в кустах лодку и торчащую над ними мачту. Он вскочил, замахал руками и... прыгнул в воду. Плавать он не умел, махал по воде руками, ватник быстро намок, и он кричал, захлебываясь: «Помогите!» Охранники выстрелили несколько раз, и заключенный исчез,

только шапка всплыла. А пароход с баржами уходил дальше, туда, к солнцу, на восток.

Когда он исчез за горизонтом, Сергей с Александром поднялись на некрутой берег и увидели правее реку, до которой они немного не доплыли и вдалеке маленькую деревню в десяток дворов. Деревенька явно была нежилой: крыши провалились, вместо некоторых домов стояли одни трубы на пепелищах. И вдруг что-то щемяще сдавило сердце Сергея Сибирцева.

— Сёмжа. Пойдем! — хрипло сказал он другу и, не разбирая дороги, прямо по сырой от дождя земле пошел к домам, но, не доходя и не останавливаясь, повернул и побежал за мертвый поселок, на взгорок, к видневшимся одиноким крестам. Могилу матери он нашел быстро — она единственная была не староверческой, без «крыши». Сергей стал на колени и, заплакав, зашептал:

— Мама, я пришел, я обещал, что приду, и я здесь... Мама, я всех родных нашел... А дед погиб. Ты его прости! Он тебя очень любил... У тебя внук, мама. Владимир, как папа... Я, мама, домой плыву, к семье. Я доплыву, мама. Обязательно доплыву. Мама, я пойду? Мне надо уходить. Они меня ждут, — Сергей достал из кармана рваного бушлата кусок застиранной в морской воде до белизны ткани и, насыпав в него земли с могилы, завязал узлом. — Мама, я отвезу эту землю на могилу к деду. Он будет счастлив. Я тебе обещаю: я обязательно доберусь. Прощай, мама...

Сергей обнял крест и так стоял несколько секунд, как будто мать живую обнял... Поднялся и пошел, не оглядываясь.

— Это, Александр, могила моей мамы. Здесь я и стал сиротой. И река эта — Мезень. А дальше Северная Двина и Архангельск. Сейчас наберем пресной воды и уйдем дальше в море, к Соловкам, а уже оттуда будем спускаться к Кольскому полуострову.

Сергей с Александром прошлись по мертвой деревне. Около одного из домов Сергей остановился и сказал:

— Здесь Ермила Саватеич жил, староста.

Он заглянул в проем отсутствующей двери: крыша упала внутрь и стояла полуразрушенная печь. Что-то заинтересовало Сергея, и он наклонился: между сгнившими половицами лежал царский рубль. «Ты смотри, — подумал, — чтобы у Ермилы — и что-нибудь пропало? Спрятал, наверное, от жены». Поднял, обтер кружок металла жесткой от мозолей ладонью и спрятал в карман. Нашли посуду и даже веревки с насаженными крючками для ловли рыбы. И — какое счастье! — пару твердых, как камень, покрытых зеленью сухарей и такой же каменный кусок соли. Золоту бы не обрадовались, как этой соли... А еще нашли топор, точило, два ножа с костяными ручками, котелок. Наловили рыбы, развели костер, помылись в реке, выдраивая свое тело и голову мелким, белым-белым речным песком, постирали одежду, которая от стирки в пресной воде стала мягкой и расплзлась по швам. Наварили в котелке ухи и с наслаждением наелись, а затем ушли на лодку и проспали много часов, а встав ото сна, веселые, подняли парус и уплыли от белого песчаного берега в белую ночь...

— Сейчас будем забираться в море, подальше от Двины, от Архангельска, пойдем к Соловкам, а от них вниз к Кольскому полуострову, — сказал радостный Сергей. Опять порылся в кормовой банке и достал фляжку.

— Неужели еще осталось? — с надеждой спросил Северский.

— По глоточку, — потряс Сибирцев фляжкой.

— Да здравствует напиток свободы. Когда мы доберемся до Финляндии, первое, что я сделаю, — напьюсь.

— Ну-ну, если у тебя для этого силы останутся, — тихо произнес Сергей Сибирцев и громко сказал: — Только не забудь про меня.

— Есть, капитан! — весело крикнул Северский.

IX

Финская пограничная стража, закрывшись от дождя и холодного ветра капюшонами непромокаемых плащей, шла вдоль берега моря в финской Карелии, отвоеванной в

гражданской войне у Советской России. Когда метрах в пятидесяти от столба, разделяющего советско-финскую границу, стражники увидели в утренних сумерках бьющуюся о прибрежные камни лодку, удивились.

— Наверное, унесло у кого-нибудь из рыбаков, — сказал один стражник.

— У наших рыбаков не такие лодки. Это, наверное, русская лодка, — ответил другой.

— Ну и пусть тогда ее добывает о камни...

— Давай все-таки заглянем в нее.

— Тебе надо, ты и смотри.

Стражник подошел к лодке и заглянул.

— Здесь люди! — крикнул он сдавленно.

— Как? — второй пограничник подбежал и тоже заглянул в лодку. В полузатопленной, со сломанной мачтой лодке лежали вниз лицом два человека в рваных одеждах.

— Они мертвы! Надо вызывать начальника...

— Подожди! — сказал стражник и, отдав своему товарищу винтовку, перелез через борт лодки и с опаской перевернул на спину одного из людей. Лицо лежащего человека было в свисающих лохмотьях кожи, а кисти рук были в кровавых мозолях. Солдат с опаской протянул руку к мертвому человеку.

— Он не финн. Смотри, какая одежда.

— Я же говорю — это русские. Пусть они лежат... Давай вызывать...

Со стороны советской границы появились двое солдат в шинелях, буденовках и с винтовками.

— Эй! — закричали они. — Это наша лодка. Она оторвалась во время шторма и прибилась к вашему берегу. Толкайте ее к нам, или мы сами пройдем и заберем ее к себе.

— Только попробуйте, — закричали в ответ финны. — Мы начнем стрелять. А уж вы, русские, знаете, что мы хорошо стреляем.

— Финские суки! — крикнули советские пограничники. — Ничего, недолго вам осталось! Все равно мы вернем себе всю вашу гребаную республику. Мировая революция победит! Вашего Маннергейма мы повесим!

— Пошел ты со своей революцией... и со своим Сталиным... Попробуйте суньтесь — мы вам опять дадим!..

Человек в лодке вдруг застонал.

— Он живой! — вскрикнул стражник. — Он живой!.. Давай, Юла, помоги мне его вытащить.

— Вот еще, буду я спасать русского.

— С чего ты решил, что он русский? А если даже и русский — он нуждается в нашей помощи...

— Вот еще...

— Я тебе приказываю, рядовой Юла.

— Слушаюсь, господин ефрейтор, — сказал ехидно и недовольно рядовой Юла, но ослушаться побоялся и полез в лодку. Когда стали, страхась, поворачивать второго, тоже, казалось, мертвого человека, рядовой Юла удивился:

— Вот доходяги, как пушинки весят. Смотри, какие награды на рубахе и как много!..

— Офицер, наверное. А награды русские. Я знаю — это их кресты. У отца такие есть, он воевал против немцев в русской царской армии. Беги, зови на помощь!.. А я постараюсь не пустить сюда русских. Быстрее!..

Через два дня в маленькой больничке городка Петсамо, на самой границе с советской Россией, пришел в себя один из необычных больных, найденных пограничниками. С лица, покрытого шрамами, глядели полные страдания голубые глаза.

— Скажите, вы русский?

— Русский, — прошептал больной. — Где я?

— В Финляндии.

— Слава богу! — прошептал русский.

— Кто вы? Как вас зовут? Как вы попали к нам? Кто ваш товарищ? Он офицер? У него так много наград. А ноги нет.

— Он жив?

— Да. Но без сознания. Кто вы?

— Мы русские. Я Сибирцев Сергей, граф. Мой товарищ, Александр Северский, летчик. Бежали из лагеря в России, в Амдерме.

— Где это?

— Около Новой Земли.

— Где? Не может быть! И как вы добрались до Финляндии?

— На лодке.

— На лодке? Такого не может быть! Где Новая Земля и где Финляндия?! Это невозможно, вы бредите!

— Значит, возможно...

— У вас есть в Финляндии родственники или знакомые, которые могут подтвердить, что вы — это вы?

— В восемнадцатом году я перевез на яхте свою семью — жену, дочь и своих друзей — сюда в Финляндию, в Перя-Куоккалу. Они должны быть там. Это же ваша территория?

— Да, это наша территория, — с гордостью в голосе сказал доктор. — А еще кого вы знаете?

— Ну... генерала Карла Маннергейма. Он в восемнадцатом вернулся сюда, к себе на родину.

— Маннергейма? О господи! Вы знаете самого Маннергейма!.. Извините, господин... граф, мне надо позвонить в Хельсинки... Отдыхайте.

Через три дня Сергей, проснувшись, увидел полные слез глаза красивой женщины, склонившейся над ним.

— Таня, — прошептал он. — Таня.

— Не надо волноваться, Сережа. Доктор запретил. Это я.

— Я все-таки доплыл! — прошептал счастливо Сергей Сибирцев.

— Ты вернулся, Сережа, — женщина упала лицом к его тонкой, невероятно худой груди и заплакала. Она плакала, подвывая, а он гладил ее по волосам бугристой от мозолей ладонью и тихо говорил:

— Ну что ты, Таня, все уже позади, все хорошо. Все сейчас хорошо...

Х

В Стокгольмской клинике имени короля Карла Великого шла операция, и время от времени в шведскую речь врывались русские слова: «Шить... Зажим... Тампон... Шить...

Еще зажим... Шелк...» Студенты медицинского факультета Стокгольмского университета следили за операцией сверху, из-за застекленного потолка, и восхищенно переговаривались.

— Это необыкновенный хирург. Смотрите, как он оперирует...

— О боже, какие у него длинные и подвижные пальцы...

— Говорят, он русский?

— Не только русский, но и граф.

— Правда-правда, нам рассказывал о нем на лекции профессор...

— Говорят, что он дружен с самим Маннергеймом?

— О-о!..

— Граф и хирург — такое возможно только у русских...

— А вы видели его лицо? Все в шрамах...

— Да ты что? А почему?

— Говорят, он бежал из русского концлагеря и два месяца в одиночку плыл на лодке по Северному океану. И эти рубцы — от мороза и ветра. У него и руки в рубцах, но он, вы же видите, оперирует, как бог...

— Да нет. Мне отец рассказывал. Он был не один. С ним был одноногий летчик. Герой — весь в орденах.

— Не ври! Как можно летать на самолете без ноги?

— Русские всё могут!

— И где этот летчик?

— Он уехал в Америку и стал там знаменитым американским пилотом.

— Еще бы — летчик без ноги!

— Господи, какие смелые люди!..

— Да, с русскими не надо воевать, лучше договариваться. У нас всегда была нейтральная страна, и потому мы живем лучше всех в мире.

— Ты плохо знаешь историю: Швеция стала нейтральной с тех времен, как русский царь Петр под Полтавой разгромил нашего великого короля Карла. А до этого мы били русских, мы всех били.

— Ничего подобного, мы с русскими еще раз воевали, когда русские разбили Наполеона. Тогда они отобрали у нас Финляндию. А наш король Карл девятый Юхан не поддерживал Наполеона, хотя был его маршалом Бернадотом.

— Может быть, правильно и сделал, а то русские забрали бы не только Финляндию.

— А может, наоборот — русский Петербург был бы наш.

— Подождите, их Сталин пошлет на нас свою армию, и от нашего нейтралитета одни воспоминания останутся.

— Да нет, вроде все не так было.

— А как?

— Да прекратите вы, дайте посмотреть!

— А он женат? — прозвучал заинтересованный женский голосок.

— Да, и говорят, что у него очень красивая жена. Кстати, тоже врач — лечит шведских детей. У них трое детей: два мальчика и девочка. Они богаты, но тратят очень много денег на помощь детям-сиротам... У них свой дом под Стокгольмом и прислуга у них русская: старик и женщина. Говорят, что он их каким-то образом вывез из России — переплыл из Финляндии ночью Россию на яхте и вывез...

— Да ты что? Вот это смелость!

— Профессор еще говорил, что у графа в доме много шпаг и сабель и они все принадлежат его предкам. Они сражались с нами под Нарвой и Полтавой...

— Да не мешайте вы... Смотрите, как он пальцами-то инструменты держит... Какая красота! Вот это хирург!

— А чего вы хотите — к нему со всей Швеции больные едут, только чтобы он оперировал...

— Какой интересный русский...

— Он не русский — он настоящий швед!

— Правильно, он швед!..

Эпилог

Здравствуй, дорогой Александр!

Господи, как же быстро летит время!

Посмотрел на календарь — неужели уже прошло десять лет со дня нашего чудесного спасения. Как много! И как мало! И уже прошло семь лет, как ты, Маша и Настенька уехали в Северную Америку, в этот новый, неизвестный нам, европейцам, мир. Ты пишешь, что у вас уже растет мой тезка, сын Сергей. Мы всей семьей очень этому рады. И мы очень рады, что ты занимаешься любимым делом — самолетами, работаешь у русского конструктора Игоря Сикорского и вместе с ним создаешь новый вид летательного аппарата — вертолет. Это здорово! Я помню, как во время мировой войны летали самолеты Сикорского — огромные, «Русский витязь» и «Илья Муромец». О них тогда много писали в газетах. Как все-таки плохо, что захват большевиками власти в России привел к бегству множества талантливых людей, а те, кто не успел убежать, — погибли. И мы с тобой хорошо это знаем. Ты пишешь, что деньги — долю от банковских вкладов покойного Аристарха Семенова — истратил на помощь русским эмигрантам, приезжающим в Америку. Позволь тебе сообщить, что мы с Таней сделали то же самое и потратили свою часть на помощь русским, чудом спасшимся от уничтожения в советской России. Эти деньги не наши, и лучшее для них применение — помощь своим соотечественникам. Немножко о себе. Я уже профессор Стокгольмского университета. Оперировать много и с огромным удовольствием. Столько прошло лет, а я никак не могу насладиться чувством свободы. Оперировать и не устаю и испытываю такую радость от того, что лечу людей... Иван (сын Анастасии) совсем взрослый, в этом году окончил университет. Инженер. Работает в фирме «Эриксон». Хвалят. Говорят, что очень умный. Все время с новыми идеями, а они здесь это ценят. Владимир учится в школе, и тоже очень хорошо. Хочет стать врачом. Хирургом. Дай Бог! А маленькая Маша дома. Такая непоседа. Мы

стараемся дома говорить по-русски, но чувствуется, что дети все больше и больше не понимают значения русских слов и, не понимая, вставляют шведские или английские слова, которыми, они считают, можно заменить русские, а я думаю, никогда этого не произойдет. Нельзя заменить русский язык. И как жаль, что так происходит! Таня работает врачом — лечит детей. Ее очень любят шведские матери. Мы все уже имеем шведское гражданство. А Маша с рождения. Что еще? Федор умер. Совсем старый стал и все вспоминал моего деда, жалел, что не может поклониться напоследок его могилке. Говорил, что там, в раю, ему еще послужит. С этим и умер. Фекла стареет. Не смогли они без России. И мне Россия снится. Первые годы — война и лагеря, а сейчас больше лес и березы. И такая тоска хватается сердце. А ведь здесь климат намного лучше, а — тяжело. И к деду хочется на могилку сходить, и к маме съездить туда, на север — крест подправить. Приемного отца увидеть, если жив. Только думаю, власть большевистская с такими, как он, быстро расправилась — классовые враги. Собственный народ — враг?! Но, видимо, уже не судьба! Иногда смотрю на глобус, вращаю и все никак не могу понять — как мы с тобой на лодке проплыли такое расстояние?! Страшно! Невозможно! А потом вспоминаю и думаю, что это были самые счастливые дни, месяцы в моей жизни. Погиб бы — пусть! Свобода! Ездили с Таней в Европу, во Францию и Германию. В Париже встретился с Голицыными — рассказал им о гибели их отца Николая Дмитриевича и младшего брата Николая. Тяжело. И встретился... с Петром Николаевичем Красновым! Он стал известнейшим писателем. Все-таки своего добился. Подарил мне свои книги об императрице Елизавете и Екатерине Великой. Он светится от радости, что занимается писательским трудом. Сходили с ним в ресторан на Эйфелеву башню — там тебя и вспомнил, твое описание Парижа, и еще вспомнил башню в Амдерме. Париж прекрасен. Обязательно поедем еще. А из Германии вернулись быстро — там что-то незревает, неприятно так, веселятся, как перед смертью — дико! По Берлину нацисты со свастиками свободно ходят

и кричат: «Германия превыше всего!» Инакомыслящих — в концентрационные лагеря! Ничего тебе не напоминает? Не весной — войной, порохом сгоревшим пахнет в Германии. Вспомнил мировую войну и вспомнил деда. Тане страшно стало, и быстро вернулись домой. Смотри, как назвал Швецию — «дом». По-видимому, и правда это уже дом. Может быть, соберемся к вам в Америку. Интересно слушать и читать вашего президента Рузвельта. Молодец — страну из такого кризиса вытащил. А в Швеции все спокойно. Социализм! Видимо, о таком мечтал Иван Меркулов. Я его часто вспоминаю. И всегда, с первого дня, представляю, что таким был мой отец. Такой же, наверное, сильный и смелый!.. А может, приедете к нам? Погостить, всей семьей. Мы с тобой на яхте поплывем на рыбалку — она здесь изумительная! А море!.. Приезжай! Все будут так рады вам! И поговорим по-русски, и выпьем по-русски, и вспомним Россию. Приезжай! Жду! Обнимаю и целую Машу, Анастасию и Сергея! Привет от Тани и всей нашей семьи! Вот Таня подошла. Машет вам рукой, как будто видит. Думаю, с вами, инженерами, это скоро будет возможно. Неужели тогда перестанем писать письма? Смеюсь. Никогда не перестану писать тебе письма, мой друг!

Любящие вас Сибирцевы

Содержание

| | |
|----------------------|-----|
| Часть первая | |
| Сирота | 5 |
| Часть вторая | |
| Хирург..... | 83 |
| Часть третья | |
| Война народная | 203 |
| Часть четвертая | |
| Противостояние | 282 |
| Часть пятая | |
| Каторжник..... | 346 |
| Эпилог..... | 395 |

Дмитрий Евгеньевич Ружников

Роман второй

Хирург

Верстка Е. В. Житинской
Корректор Ю. Б. Гомулина

Дизайн обложки Е. О. Шваревой



Подписано в печать 23.04.14. Формат 84x108 ¹/₃₂

Гарнитура Чартер. Печ. л. 12,375

Заказ № 10/05

Издательство «Геликон Плюс»

Изд. лицензия ЛР № 065684 от 19.02.98

Санкт-Петербург, В.О., 1-я линия, дом 28

<http://www.heliconplus.ru>